
Россия, Русь! Храни себя, храни!



Союз писателей России

Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

Основан в 1922 году

В НОМЕРЕ:

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Сергей МАНЬШИН. Бациллы диссидентства	3
Алексей СОКОЛОВ, Алексей БУРМАКИН. Время иных войн	86
Александр МОЛОТКОВ. Капитализм — православие — социализм	99
Андрей ИВАНОВ. Знаки последних времен	175
Иван САБИЛО. До выстрела	196

ПОЭЗИЯ

Валерий ХАТЮШИН. Голос предков. Стихи	8
Иван ТЕРТЫЧНЫЙ. На грани громов и лучей. Стихи	14
Юрий ВОРОТНИН. В небе Азия парит... Стихи	130
Валерий СУХОВ. Земли родимой поцелуй. Стихи	134

ПРОЗА

Владимир ЛИЧУТИН. Путешествие в Париж. Повесть. Окончание	19
Виктор МАНУЙЛОВ. Жернова. Отрывок из романа	137

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Евгений АНТИПОВ. **Пакт, которого не было** 207

ПИСАТЕЛЬСКОЕ БРАТСТВО

Николай РАЧКОВ. **Зажги свечу**. Стихи 220

Андрей ГРУНТОВСКИЙ. **Я долго слушал вечер**.
Стихи 225

Иван ЩЁЛОКОВ. **Осязание звука**. Стихи 229

Светлана ЗАМЛЕЛОВА. **Неприкаянность**. Рассказ 231

Веселин ГЕОРГИЕВ. **Высокий вяз**. Рассказ 247

Надежда СМИРНОВА. **Два рассказа** 254

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Геннадий ШИМАНОВ. **Не согласен!** 266

КРУГ ЧТЕНИЯ

Возвратиться к себе 276

Мой дед — казак 282

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

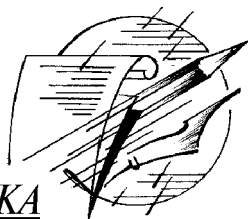
Владимир ДЕСЯТНИКОВ. **Дневник русского**.
Продолжение 285

БАЦИЛЛЫ ДИССИДЕНТСТВА

С тех пор, как рухнул СССР, прошло почти 20 лет. Одна шестая суши скукожилась в аморфное политическое образование, раболепно пресмыкающееся перед Западом. Как сорная трава, разрослись по всей бывшей Стране Советов либерал-русофобская идеология, терроризм, проституция и наркомания. Преступность и моральное разложение общества — это и есть закономерное следствие внедренного у нас либерализма.

Мы знаем, что в этом немалая доля заслуг Лондона и Вашингтона, но забываем о тех иудах, которые разьедали тело собственной страны изнутри. Они жили среди нас, общались с нами и в то же время считали нас недалекими «совками», а себя — прозорливыми общественными деятелями. Пора бы уже воздать этим диссидентам по заслугам.

Видимо, одним из самых известных диссидентов считается Александр Солженицын. Относиться к нему можно по-разному, но одно достоверно: он действительно был талантливым публицистом и (как сказали бы сейчас) «самопиарщиком». Тем более что трудился он отнюдь не только на литературном поприще. Малоизвестный факт, но его «Архипелаг ГУЛАГ» агенты ЦРУ пытались всучить каждому советскому гражданину, оказавшемуся по делам в США. Американские спецслуж-



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

бы через третьих лиц не жалели денег на финансирование издательств, печатавших книги Солженицына. Благодаря такой поддержке опусы, в которых он порочил собственную страну, размножались миллионными тиражами и рассматривались американцами как идеологическое оружие в борьбе против СССР и советского образа жизни.

Почему Александру Исаевичу не приходило в голову написать правду об американской политике, о негритянских гетто, индейских резервациях, о претензиях США на мировое господство и о планах нападения на СССР? Да потому, что он и не был писателем в русском понимании этого слова. Его мир был ограничен ГУЛАГом и наполнен ненавистью к стране, его якобы не заметившей.

Судьба его книг удивительно похожа на судьбу книги француза Астольфа де Кюстина «Николаевская Россия» (в оригинале «La Russie en 1839»). Надменный и чванливый француз, путешествуя по России, злобно высмеивал и страну, и порядки в ней, и ее культуру. По мнению Кюстина, у европейцев все лучше: и небо голубее, и травка зеленее, и лица добрее. А у русских — и характеры мерзкие, и лица неприятные, и культуры у них нет, и музыки — этакое жалкое подобие человеческой породы. И это написано в те времена, когда блистал гений Пушкина, творил Лермонтов, когда Петербург восхищал иноземцев своим величием! Но Кюстин этого не видел. В его трактовке Пушкин — литературная бездарность, Лермонтов пишет стихи ради денег, а в целом русские — дикий и варварский народ. Видать, француз никак не мог простить России разгром Наполеона!

Во время «холодной войны» на Западе книга Кюстина издавалась миллионными тиражами, и так же ее пихали в руки всякому, кто приезжал в США. Во время «либеральной» чумы, охватившей бывший СССР с приходом «демократов» и их американских хозяев, и Кюстин, и Солженицын стали печататься в неимоверном количестве уже на территории постсоветских республик.

Еще итальянский политический деятель Антонио Грамши, томившийся в гестаповских застенках, отмечал двоякую роль интеллигенции в обществе. В ней Грамши видел «культурное ядро», посредника между властью и народом, который зачастую страдает от недостатка патриотизма и склонности к инфантилизму. Поэтому нет ничего удивительного, что многие представители интеллигенции чтят Солженицына как литературного пророка, но никак не коллаборациониста. Позволю себе не согласиться с их мнением. У англичан есть превосходная поговорка «The majority is always wrong» («Большинство всегда неправо»). Когда масса, не утруждающая себя анализом того

или иного события, руководствуется лишь фрагментарными знаниями и формирует популярную в среде такой же массы точку зрения, такое верхоглядство умело выдается за эталон эстетической или политической мысли.

Так что же за явление такое — диссидентство? Откуда пришла на нашу землю эта беда? К несчастью, бацилла диссидентства пустила у нас глубокие корни задолго до появления СССР на карте мира. Самым известным хулителем всего русского был, как известно, Петр Яковлевич Чаадаев — русский дворянин, принятый в масонскую ложу. Он испытал огромное влияние французского мыслителя Жозефа де Местра. По сути, Чаадаев был светильником разума, питавшимся от чужого источника. Под влиянием Жозефа де Местра П. Чаадаев перешел в католичество, отрекшись от Православия, и постепенно превратился в ярого критика собственного народа и менестреля западной цивилизации. Он считал весь исторический путь развития России неправильным и отсталым, а в Европе видел спасение человечества. Никто ведь не отрицал наличия недостатков в Государстве Российском, но очевидные европейские пороки Чаадаев упрямо предпочитал не замечать.

До Чаадаева самым знаменитым официально признанным диссидентом был князь Курбский, бежавший в Литву и оттуда поливавший грязью Ивана Грозного, а заодно с ним и всю Россию. Это — отличительная черта всех заботливых правозащитников и радетелей за благо народное. Страдая от собственной никчемности, понимая или отказываясь понимать, насколько не востребованы в обществе их примитивные идеи, диссиденты находились в поисках тех, кто оценил бы их рвение и готовность плюнуть в лицо собственному народу. Прикормленные Западом, они добились своего.

Оглянитесь вокруг, и вы увидите следы их работы. Словно гниль, разъедали они изнутри устои нашего общества, расшатывали фундамент нашего государства и лили крокодильи слезы о своей несчастной судьбе. И вот мы видим не сильную и монолитную державу, а огрызок некогда могучей страны.

Были люди с мировым именем, которые, не в пример продажным диссидентам, любили Россию и русский народ всей душой, абсолютно ничего не получая взамен. Одни видели в России колыбель великой культуры, другие — последнее прибежище от всеразьедающей бациллы западного либерализма.

Императрица Екатерина II говорила о желании выдавить до капли свою немецкую кровь, чтобы стать русской. «Русский народ есть особенный народ в свете, который отличается догадкою, умом, силою. Бог дал русским особые свойства», — писала она.

Немецкий философ и культуролог Освальд Шпенглер в своем фундаментальном труде «Закат Европы» предсказывал моральный упадок и духовное загнивание западной культуры, которая, по существу, выродилась в технократическую цивилизацию машин и людей, превращенных в биороботов. Конструктивное будущее Европы автор видел только в духовном союзе с Россией. России и русскому народу Освальд Шпенглер придавал судьбоносное значение в мире.

«В немногие годы мы выучились не обращать внимания на такие вещи, которые перед войной привели бы в оцепенение весь мир. Кто сегодня всерьез задумывается о миллионах, погибающих в России?» — вопрошал Шпенглер, выражая свою обеспокоенность и любовь ко всему русскому. И как эта забота и эта любовь разительно отличается от притворной заботы диссидентов, дышавших на самом деле злобой ко всему русскому! Шанс культуры на европейском пространстве не погибнуть в тисках бездушной либеральной парадигмы Запада Шпенглер видит «там, где намечается Россия».

Соотечественник Шпенглера и его последователь философ Вальтер Шубарт в своем произведении «Европа и душа Востока» раскрывает свое видение места русского народа и России в лоне человеческой цивилизации. По Шубарту, именно России принадлежит роль примирителя Запада и Востока, того морального стержня, который не даст человечеству скатиться в духовную бездну.

Кто-то воспримет такую трактовку немецкого русофила с восторгом, кто-то скептически улыбнется, но нельзя не признать наличие в его словах бескорыстной любви к далекой России.

То же относится к французскому эссеисту Жану Жироду, также относившемуся с симпатией к России и русским. В одном из его произведений читаем: «Я не хочу умереть, не увидев счастливую Европу. Не увидев, как два слова, которые непреодолимая сила с каждым днем растаскивает все дальше друг от друга, — слова «Россия» и «Счастье» — вновь встретятся на моих губах... И вот, в день, когда я увижу, как вновь окрепший мир наденет, как ордена, слова «Россия» и «Счастье», я хотел бы умереть».

В том же духе размышлял Кнут Гамсун, норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии, пользовавшийся большой популярностью в России и Европе в самом начале XX века. Его перу принадлежит книга «В сказочном царстве». Сюжет книги — впечатления автора от путешествия по России в 1899 году. Всего через 60 лет после Кюстина!

К сожалению, книга Кнута Гамсуна не так известна на Западе и у нас, как клевета Кюстина. На то есть причины:

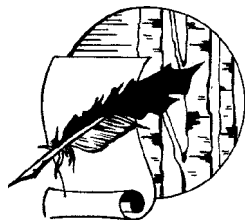
книгу Гамсуна американцы не множили и не раздавали бесплатно как раз по причине заключенной в ней правды о России. В произведениях Гамсуна русские — носители таких положительный черт, как широта души и аристократизм. При кажущейся аполитичности произведений Гамсуна, в них четко прослеживается мысль, что политика должна определяться высокими целями. По его мнению, такова политика России. Путешествуя по Кавказу и восхищаясь его красотами, Гамсун видел его будущее только в составе России. Насколько прозорливы были его мысли! Теперь мы видим, как с развалом СССР и началом провокаций Запада на Кавказе, его захлестнули волны террора и военных конфликтов.

Ценители всего русского из числа иностранцев стремились понять то, что наши диссиденты отвергали с безразличным лицом и нервной дрожью в руках. Но история сделала свой выбор. Гамсун, Шпенглер, Шубарт, Жан Жироду — писатели, ученые и мыслители с мировым именем. А Солженицын и ему подобные — так и остались диссидентами.

Василий (Фазиль) Ирзабеков, азербайджанец, принявший Православие уже в зрелом возрасте, в своей книге о Божественном начале русского народа пишет: «Кажется, нет ни пяди Русской земли, где не покоились бы мученики, великомученики, страдальцы за Православную веру, за Богородицу, за Христа и святых Его угодников. Бесконечные сонмы полчищ, во все времена идущие на Россию войной. Все это «мировое окаянство» шло против Христа, образ Которого и поныне пребывает незамутненным в сердце каждого истинно русского человека. Без Бога русский человек не мыслит и не мыслит себе подлинной жизни. А они все лезут и лезут на Русь, посягая не только на ее землю и ее богатства, но и на души наши, и детей наших».

У человека всегда есть выбор: вредить своей стране и злобствовать, как поступали иуды-диссиденты, или, признавая ее недостатки и искренне желая ей добра, стремиться к тому, чтобы страна твоя процветала и развивалась.

Но бактерии диссидентства еще не испарились в России. Все эти немцовы, сванидзе, алексеевы, илларионовы, млечины и т.п. продолжают свою гнусную работу. За что их и любят на Западе.



Валерий ХАТЮШИН

ГОЛОС ПРЕДКОВ

* * *

Пой, соловушка! Лето пришло.
Жизнь земная еще не угасла.
Разлилось голубое тепло.
Песнь твоя бесконечно прекрасна.

Пой, соловушка! Ветер утих.
Вечер дышит густым ароматом.
Тайну мира никто не постиг.
Я в нее проникаю на миг
с этой песней твоей и закатом.

Славный лирник, влюбленный поэт!..
Словно ангельский голос мне слышен...
На Земле Богоизбранной нет
ничего вдохновенней и выше.

* * *

Что ж, я тоже не был на Босфоре.
И нисколько не грущу о нем.
Лип и кленов радужное море
взор мой греет ласковым огнем.

В ледяной воде играют блики
запредельных золотых лучей,
и мерцают листья, словно лики
безвозвратно отсыявших дней.

Буйством красок северная осень
будоражит ненасытный взор.
С новью наших осеней и весен
не сравнится никакой Босфор.

* * *

Покуда мать жива —
ты не один на свете
и есть тебе к кому
приникнуть в горький час.
Пускай верны тебе
друзья, жена и дети,
но в жизни только мать
одна лишь не предаст.

Когда уходит мать,
душевного разлада
и с миром, и с собой
уже не избежать.
Слабеет свет в пути
и рушится преграда
меж смертью и тобой,
когда уходит мать.

МСТИТЕЛЬ

Зачем спасти Россию нам?
И муторно, и неохота...
...Трусит по снегу Росинант —
хромая кляча Дон Кихота.
Наездник стар, угрюм и сед.
Прогнили ржавые доспехи.
Но все ж ему покоя нет
в чаду отъявленной потехи.
Одним на смех, другим на страх,
с кривым копьём ночной дорогой
он сквозь веков разор и прах
трусит на кляче хромоногой.
Печальный рыцарь и поэт,
грозит Божественной расплатой.
Верхом объездив белый свет,
он мстит за боль страны распятой.
Ему с пути нельзя свернуть.
Его судьбе не быть иному.
И озаряет грозный путь
огонь содомский за спиною...

* * *

Мы живем в растерзанной России,
наши чувства, как в анестезии,
охладели от большой беды.

Над судьбой своей — уже не плачем,
боль и слезы глубоко мы прячем,
только — раньше времени седы.

Мы уже на всё глядим бесстрастно,
и давно в России всё нам ясно.
Мы о прошлом больше не грустим.
Стиснув зубы, кулаки сжимаем,
и врагов мы поименно знаем,
и до дней последних — не простим.

* * *

Любовь несчастная моя...
Другой не будет.
В сетях земного бытия
кто нас рассудит?

Моя любовь казалась мне
тоской поэта.
И все ж в душевной глубине
я ждал ответа.

«Нет, со своей тоской души
ты просто скучен.
Во мраке хохота и лжи
кому ты нужен? —
Себе внушал я, говоря: —
Не жди признанья.
Ты отдаешь себя зазря
ей на закланье.
И безответны будут вновь
слова живые...»

Моя несчастная любовь...
Любовь к России.

* * *

Птичий гомон весеннего леса,
ароматы листвы молодой...

Мчится с ревом и свистом железо,
раскаляя асфальт под собой.

Жрет железо и воздух, и сушу,
убивая и слух наш, и взгляд.

А соловушка трогает душу,
и березы о прошлом шумят...

* * *

Судьба нас всех по кругу гонит.
И в этой спешке — все сгорим.
В летящем под землей вагоне
глаза в глаза — вдвоем стоим.
Мы под землей летим по кругу.
Под свист и шум. Куда? Зачем?
Без слов глядим в глаза друг другу,
нигде не связаны ничем.
Летит вагон. Чужие люди,
уйдя в себя, не вспомнят нас.
Никто на свете знать не будет,
что видел я лишь только раз
ее глаза... На остановке
я через круг сойду во тьму,
с чужим плечом столкнусь неловко,
став безответным ко всему.
Среди толпящихся, галдящих
мы не расстанемся никак.
Сжигает всех, во тьму сходящих,
летающий свет, свистящий мрак.
Ждем неизбежную разлуку
мы, отраженные в стекле.
И всё еще летит по кругу
небесный взгляд в подземной мгле...

* * *

В чаду безумных выборных комедий
густеет сонм сирот, бомжей и вдов.
Чем выше у страны число трагедий,
тем больше у министров орденов.

И поделили нас, и разделили.
Кто был никем, тот стал в России всем.
Чем больше на экране всякой гнили,
тем веселей тому, кто глух и нем.

Одни бездушно и бесценно правят,
другие молча смотрят и жуют.
Одни взрывают, грабят, режут, травят,
другие ржут и радостно поют...

ПЕЧАТЬ

Их отъявленный блуд
врос в большую беду.
Торжествуют и жрут
у страны на виду.

И потоп, и пожар,
и паскудный бедлам...
А Чубайс и Гайдар —
Божья кара всем нам.

Их эфирный галдеж,
их всемирная вонь,
их ехидная ложь,
их содомский огонь...

Русофобский угар,
смердный культ кошелька...
А Чубайс и Гайдар —
их печать на века.

* * *

Мы стали безвольны, никчемны, смешны.
Близка к эпилогу печальная драма.
Торчат на экране убийцы страны,
лжецы и подонки не сходят с экрана.

Когда выживанием занят народ,
ему не важны ни страна, ни свобода.
В безликой России великий разброд.
Иссохла Россия от быдла и сброда.

Пивная гульба и ночная пальба,
кавказцы, менты и свои обезьяны...
Не сдавшихся русских заставит судьба
из каменных джунглей уйти в партизаны.

Разбитым не выжить без новой войны.
Иль всё еще мало плевали нам в морду?!
Без русской земли мы не будем нужны
ни новым хазарам, ни Богу, ни чёрту.

ОГОНЬ 2010

Страна и в дыму, и в огне.
В России мы все погорельцы.
Известной безмозглой шпане
пора уложиться на рельсы.

Нам трудно и горько дышать
в больной почерневшей России.
На вражью всевластную рать
идет наступленье стихии.

Москву окружает огонь,
сжигая и небо, и сушу.
И вся либеральная вонь
со страху выходит наружу.

* * *

Ушла жара, и закатилось лето,
как чья-то жизнь, похожая на сон.
Прохладный вечер — стойкая примета
того, что шум осенний предрешён.

Он где-то рядом, хоть еще не слышен,
еще легки, прозрачны облака,
безмолвный лес, как прежде, неподвижен,
вода в пруду бесплотна и гладка.

Но сроки вышли. Огненное лето
нам навсегда запомнить суждено.
Оно, быть может, яркая примета
иных времен, стучащихся в окно...

СТУПЕНИ ЛЕСТВИЦЫ

Лес в ожидании прощанья.
Померкла сонная листва.
Душа в расцвете увяданья
за землю держится едва.

И нет уже тоски по лету,
иссяк его последний день.
И так легко к иному свету
взойти на первую ступень.

Обиды, слезы, сокрушенья
и прегрешенья — с плеч долой!..
И всё ж земное притяженье
не даст подняться ко второй.

ГОЛОС МОИХ ПРЕДКОВ

Это ж сколько ушло поколений
и сожглось отстрадавших сердец,
чтоб для ясных души озарений
я пришел в этот мир наконец!
Чтобы эти души озаренья
воспылали из тьмы вековой,
чтоб убитые мраком забвенья
наконец встали рядом со мной.
Чтоб отважно, спокойно, сурово
голос предков из праха восстал,
чтоб заветное русское слово
я жестокому свету сказал.
Да, трудились они не напрасно
до меня на российской земле.
И страдали они не безгласно,
и не сгинули глухо во мгле.

Иван ТЕРТЫЧНЫЙ

НА ГРАНИ ГРОМОВ И ЛУЧЕЙ

ВОРОНЕЖСКАЯ ЗАРИСОВКА

На Южном полюсе, поди, седая мгла
И вечная морозная пустыня...
А тут черемуха безумно расцвела,
Как чья-то непомерная гордыня.

Растет трава; вослед цветку цветок
Спешит на свет из тесноты и мрака.
И копошится муравей у ног,
И на припеке греется собака.

В такие дни, в такие вот часы
И дураку последнему понятно,
Что время положило на весы
Изрядный кус надежды благодатной.

И, гляючи в окно на теплый мир,
Как не прийти к веселому итогу:
Хорош Кейптаун и неплох Каир,
Но и Воронеж тоже, слава Богу!..

* * *

Дымчатый сумрак вокзала,
Смутный и медленный шум...
Этого вовсе не мало
Для необыденных дум.

Кактусов колкие чащи,
Взгляды притихших детей...
Это вполне подходяще
Для усмиренных страстей.

Музыки тихой участие
На незнакомой волне...
Для невозможного счастья
Этого хватит вполне.

НОВЫЙ ГОД

Сияющее бездорожье.
Со всех сторон идущий свет.
И вдруг почувдится тревожно,
Что ни Земли, ни Солнца нет.

И вновь — воображенью встряска:
И вот во всей красе видна
Не виданная мной Аляска —
Заманчивая сторона!..

А оглянусь — уже под ивой
У речки Рыбинки стою,
И брат, красивый и счастливый,
Подсвистывает соловью...

А вот еще одна картинка,
Нечаянная, родилась:
Скользит, подтаивая, льдинка
Оконная — у самых глаз...

И кажется: еще немного,
Чуть-чуть — и ясно разгляжу,
Как я нехоженой дорогой
К себе из детства ухожу,

И вижу все, что потеряю,
И что, теряя, обрету...

Зачем я зренью доверяю,
Счастливо шурясь на свету?..

* * *

Полнеба еще голубеет,
Полнеба погасло давно,
Тягучей прохладой веет
В открытое настезь окно.

Вот туча сближается с тучей...
Вот яростный проблеск из тьмы!..
А вот и волною гремучей
Накрыло дома и холмы!

А вот и порывом воздушным
Взлохмачен ивняк у реки!
И этим порывам послушны
И нива, и пики куги!

...Полнеба уже голубеет,
Полнеба — мрачней и мрачней...
И ястреб растерянно реет
На грани громов и лучей.

* * *

Мгновенные машины.
Свистящее шоссе.
Холодные осины,
Стоящие в росе.

Сорвавшись,
Лист осины
Скользнул наискосок
И летнюю картину,
Как бритвою рассек.

* * *

Как много света над широкой пустошью!
Поодаль — старый, выморочный сад.
Лишь суслики вокруг, да мышки шустрые,
Да чибисы печальные свистят.

Какая даль с холмища открывается,
Белеет незатейливо жилье...
И к этому невольно прилагается
Присутствие случайное мое.

Чего я жду? Что вдруг да примерещится
Ребячий гам? В черемухе овраг?
А может, вдовая неловкая помещица?
А может быть, обиженный батрак?

Или вконец умученный бессонницей,
Один в большой избе живущий дед?..
...Неужто свет над пустошью — не солнечный,
Совсем не с неба этот странный свет?..

СЧАСТЛИВЫЙ

Не тяготят зыбучие туманы
И день-деньской дрожащий серый пруд,
И ветерком продутые карманы,
И еженощный постоянный труд.

Подбрасывает некто мне гостинцы:
То яблоко, прикрытое травой,

То книжку о старинном датском принце,
То паутинки блеск над головой.

Пройдет, шумя, за лесом электричка;
Ворона пролетит недалеке...
Какая это славная привычка —
Идти неспешно к утренней реке!

Мне так понятны вздохи старой мыши.
Не тяготят хула и брань. Отнюдь.
Когда ты тих, тебя всегда услышит
И старый друг и... просто кто-нибудь.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ

ПОВЕСТЬ

6

Утром Киреев явился на завтрак с зеленым лицом. Не прирагиваясь к колбасе, он страдальчески смотрел на нас, азартно жующих, будто уже попрощался с жизнью и только ждал момента, когда мы закончим еду, чтобы оплакали его и проводили на погост. Но не дождался, обреченно застонал и стремительно сорвался из-за стола. Мы не приняли страданий Киреева близко к сердцу, занятые собою; каждый из нас, наверное, был полон философических раздумий, готовясь к парижской встрече с местными мудрецами. Я прислушался к себе, в утробе, к счастью, было полнейшее равновесие. Афанасьев с ухмылкой проводил Киреева взглядом и сказал:

— Киреев первым кинулся на парижские баррикады с открытым забралом, чтобы вскоре мы отправились следом... Братья мои, не забывайте о тленности плоти своей и вечности духа.

Толя уже был слегка захмелен, в голубеньких глазенках, густо обрытых морщинами, маревил странный покой, будто уже заранее знал о нашей участи.

Окончание. Начало в №3 за 2010 г.

ПРОЗА



— А я могу сказать вам, кто будет следующий после Киреева, — сказал Афанасьев и с намеком посмотрел на соседа Курчаткина.

Все повернулись к Афанасьеву, но тот сделал в воздухе замысловатую фигуру пальцем, ухмыльнулся и промолчал.

Курчаткин, мерно двигая рыжей бородою, будто подметал стол, хрустел листом салата, как кролик, и навряд ли чего слышал. Взгляд за толстыми очками был розов и остраненно задумчив. Курчаткин сейчас витал в иных мирах, наверное, готовил речь о преимуществе «социализма с человеческим лицом».

Уже с утра по гостинице наперебой искали Толю сполошливые чернявые девицы, восклицая: «Где Курчаткин?.. Покажите Курчаткина». Отблеск его французской славы падал и на нас. Мы тоже кричали: «Где Курчаткин?» и невольно приглядывались к очередной пообщищенной тощей курочке неопределенного возраста, пробегающей мимо, будто примеряли дамочку под себя; все-таки Франция, а значит, тут и девки-то другие, и любовь иная, французская, замысловатая, с легким развратцем, да и внушали нам, варварам, прибывшим из-за железного кордона, долго и терпеливо, почитай лет двести с гаком, что «у Парижу все не так, как в России, здесь — цивилизация, культура, туалеты с подсветкой, Вольтер и Робеспьер, даже любовно-страстные болезни, прихваченные от французской «пышки», ароматны, как липовый мед, а у нас — ни пить, ни любить по-человечьи, и, как уверял великий вождь, — «к северу от Вологды дикость, полудикость и крайнее невежество». И вот наш Курчаткин с первых минут чудесно вписался в европейскую «цивилизацию стандартов», словно бы здесь родился, иль был заранее вписан в особый гостевой список под номером два вслед за Окуджавой. А ведь такой скромник-укромник, этаким советский положительный тип «человека в футляре»: ни пить, ни курить, ни сплясать азартно, ни спеть застольную, в диссидентстве не замечен, на Красной площади не буянил, никогда голоса не возвысил этот трудяга, застегнутый на все пуговицы; говорили, что родом из деревни, может и крестьянского кореня, да и все писания его были о русском мужичке, терзаемом бессмысленными страхами. Но Курчаткин-то «прославился», о нем заговорили в Европах как апостоле русской демократии... Уже позабылось, о чем вещал Курчаткин во Франции, но уверен, что выступал он много и охотно, наверное, с особым толком и, конечно же, славил перестройку, а впечатление у меня составилось такое, будто он молчал все эти десять дней, набравши в рот воды. Это как в русской

сказке про мужика Догаду. Жена-старуха вспоминает: «Не помню, была—нет у него голова, но бороденка-то точно болталась».

...Киреев с курлыканьем ушел, и мы снова деловито засновали ножом и вилкой по колбасе, усердно показывая хорошие манеры. Меня впереди ожидала поездка в Сент-Женевьев-де-Буа и, невольно прислушиваясь к себе с подозрением, я отчего-то решил, что следующим Париж неизбежно накажет меня.

Ехали на русское кладбище в предместье Парижа втроем: Ярошенко, Толя Афанасьев и я. За шофера был сублильный худошавый месье Серж Лапен, профессор-славист, выходец из России, предупредительный и спокойный, хорошо знающий Францию.

— Пшеница — стеною, снаряд не пробьет. Ребята, во Франции урожай семьдесят центнеров по кругу. Нам до них, как до Марса... Гербициды, пестициды — до рвоты, удобрений — по колено. Издержки цивилизации? Зато сытно. Не надо за каждую корочку горло соседу рвать... Вот так, старичок... Хочешь хорошо жить, и к цианистому калию привыкнешь... Если малыми лозами. Это и наш путь, да. А-то у нас слишком много земли и слишком мало воли, — процедил Афанасьев, вальяжно развалясь на заднем сиденье.

— Ну да, а я вам что говорю? — откликнулся Ярошенко, прилипший к стеклу, за которым пролетала ухоженная, начищенная, намытая и припудренная французская земля, пахнущая «шанелью номер 6». — Ек-макарек... Можете мне поверить. Последний настоящий каравай в мире, это у нас, на Курщине. Безо всякой химии... Хлебом пахнет за версту. Голова кружится, как от вина. Ну и что в результате имеем? Один мужик с сошкой, сотня — с ложкой. Горбатит деревня, как при царе Горохе... Те же барщина и оброк. И стоило из-за этого жилы рвать в семнадцатом? Анекдот... Вот едем на кладбище к Бунину, который мужика русского в упор не видел. Он от родного каравая бежал на синтетическую булку, похожую на мочалку... От родного воздуха сметнулся, от лаптей и онучей, которые дурно навозцем припахивают. А после рыдал: «Какую страну потеряли...»

— А я люблю запах навоза, — встрял я в монолог. — Раньше и коров больше для навоза держали. Без него — смерть...

— Не знаю, как вы, но я родился в Москве и люблю запах коньяка, — сказал Афанасьев. — Коньяк пахнет женским потом, обойным клейстером и дубовой корой. — Он достал из-за пазухи охотничью фляжечку и сделал глоток.

— Насчет женского пота еще поспорить надо... Так вот пришло время, и я, Ярошенко — быдло, рвань и деревенская тупая скотина, по мнению Ивана Алексеевича, какого-то лешего прусь за три тысячи верст к его костям, словно за этим только и ехал в Париж. Вы понимаете меня, ребята? Ведь не для того, чтобы удостовериться, что он там лежит... Конечно, он там лежит. Иль, чтобы похвалиться за рюмкой в кабачке ЦДЛ, что стоял у могилы нобелевского лауреата? Казалось бы, на черта он мне сдался, старички? А вот еду поклониться в ножки... А все потому, что мы, вахлаки, «дядевня», любим Бунина, да и давно простили дурака. Хотя, какую страну профукал этот капризный бездомный барин, этот великий русский, любивший только себя и девочек... Жалел, что мужиков не секут, видишь ли, почтения к нему должного нету. Ведь в Австралию собирался бежать, чудак, будто там его ждали. Жить хотел хорошо, когда всем было плохо... Война шла кругом, а ему чтоб топлёное молочко с кофеем в постелю, да хрустящие бублики... Ничего, скоро придет время, когда всех наших вспомним, от шелухи обдерем, с песочком почитим, чтобы блестели, как образа, да и в иконостас. Пора всем назад, в Россию. Хватит, наобижались друг на друга! А то русским Ванькам далеко ездить на поклон. Иван Алексеевич, Ваньки вас любят! — Дурашливо воскликнул Ярошенко, дернулся спиной, криво осклабился, топорща усы, хрипло захрюкал, мне показалось даже, что заплакал, упершись лбом в стекло, но когда поворотился в нашу сторону, словно бы ища поддержки, серые глаза его сухие, но с грустной поволокою.

Перед нами был выходец из Бунинской «Деревни», тот самый «Николка Серый», что, по мнению Бунина, «сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда попадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность, вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко». Бунин даже науку-антропологию привлек себе в службу, чтобы оправдать отвращение к русскому простонародью: «А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметричными чертами... среди русского простонародья, сколько их, этих атавистических особей, круто замешанных на монгольском атавизме! Весь, Муром, Чудь белоглазая... И как раз именно из них, этих самых русичей, издревле славных своей антисоциальностью, давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бугунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской социальной революции».

Оказывается, как глубоко проросли в среде «культурников» бесконечные претензии к своему кормильцу, верящих в неукоснительность, вечность своего порядка. И блазнь эта достала своим корнем до самых глубин их тщеславного сознания; казалось и конец мира не сокрушил бы этого заведенного раз и навсегда сословного устава. Но вот в часах что-то хрупнуло — и стрелки замерли. (Боже мой, примерно такие же чувства мы испытали уже после девяносто первого, когда надломилась поначалу, а после покатила под пропасть такая ровная, предсказуемая жизнь, в которой все было расписано на десятки лет вперед. Только в семнадцатом пострадали бунины, а теперь — вся крестьянская православная Россия, то простонародье, которое всегда ходило под хомутом). Вот, наверное, возрадовался бы нынче Бунин, увидев новый либеральный порядок, когда нет еврейского погрома, но есть всерусский слом... Наверное, глубоко русским человеком полагал себя Иван Алексеевич, — и к этому были все основания, — но, однако, так легко (легкомысленно) повторял все мысли из развратных уст чужаков, потоковников бесу, петербургской пресыщенной богемы (вроде бы брезгую ею), правившей бесконечный пир во время чумы. В тяжкие минуты «непонятной» мести не спросил же Бунин себя, укоряя за напрасную гордыню: а кто же кормит тебя, милейший, чью хрустящую булочку вкушаешь ты утрами и запиваешь молоком с земляникою, чьи тафтяные чулочки натягиваешь на ноги, кто протапливает тебе печи и скребет полы, справляет тарантас в дорогу, чистит лошадей и везет до благословенного Парижа, чтобы там прожигал ты, фасонясь, денежки, заработанные с людского пота. А куличики те, над которыми ты обильно плакал, имея сущность самую божественную, однако с навоза выросли и состряпаны были закорелыми, морщиноватыми, ржавыми от земли руками... Не было бы «темного» простеца-человека, то не явилось бы миру и бездонно чувственного русского языка, не запонадобился бы никому и гений Бунина, иссох бы он с закатом жизни и забылся навсегда, как летняя утренняя роса, если бы вообще мог появиться Иван Алексеевич, как писатель, без русской деревни.

Если бы русский Ванька век свой дожидался волшебной лягушки, то любимая орловская земля так и оставалась бы под татариним, французом иль немцем. Но откуда в Буinine, русском родовитом человеке, этот нигилизм, эта спесь и себялюбие даже в отчаянные для России дни, когда своя едальная кишка ему была дороже стомиллионного крестьянства?.. Какое помутнение нашло в интеллигентские умы, с какой

отчаянностью цеплялись благородные за свой владетельный закон, только чтобы ни пяди земли и блага не уступить темной избушке, крытой соломою. «Все мне, только я-я-я! Только мне плохо. Только мне дай-дай. И не возникнет в моей скверной душонке, что не мне плохо, а людям от меня плохо!» — так примерно запишет позднее в дневниках слепой писатель Борис Шергин, выходец из поморян...

Мы спешили под Париж в Сент-Женевьев-де-Буа, а чувствами-то оставались в России, и, вспоминая Бунину, тем самым невольно тешили в себе образ родины, картину хоть и неприятельную для непосвященных, а может, и вовсе грубую и печальную для кого-то, но удивительно близкую сердцу многим русским, хотя бы иной и ни разу не видал ее; поведая в подробностях, и сразу увидит русский себя внутри ее, а не снаружи, и невольно вздохнет с грустью и непонятым сожалением, словно бы утрачено было навсегда что-то самое ценное; и все до самой мелочи сурового быта покажется таким родным, сто раз пережитым, будто они век назад сидели за одним высокobenным столом на лавке-конике вдоль стены, хлебали пшеничный кулеш из общей мисы, и загадочная примороженная луна заглядывала в окно к мужикам, отправляющимися спозаранку в лес по дрова... Вдыхает хлебная квашня на печи, гоня по избе тестяной кисловатый дух, крохотный моргасик на засторонке печи, заправленный зверным салом, задыхаясь, едва пробивает густые предутренние сумерки, чудно шевелящиеся тени по стенам, русые головенки на полатах, будто капустные кочешки, теленок трется в загородке, кряхтит старый дед на лежанке, отыскивая места измозглым костям, ледяная броня на крохотных стеколках, куржак на дверях, обложенных соломенными жгутами, розовые рваные лоскутья пламени на поленьях, — и та же, как и нынче, русская сонная бескрайняя равнина, как сторожевая засека, пасет за стенами от вражины. Какое-то тупое оцепенение разлито по таежным увалам; вот накатит на деревеньку волною и возьмет в полон всякую мечтательную, дерзкую, энергическую душу, и захоронит навсегда, не дав и капли надежды, и радости; казалось бы, за что любить эти худо обряженные сиротские земли, — но ведь на самом-то деле и Бунин, и этот молодой литератор Ярошенко, после армии выскользнувший из колхозного хомута, может, и до сего дня косятся друг на друга и брюзжат, но по-своему, в чем-то близки в родственном чувстве к русской стороне, краше которой не сыскать на всем белом свете, хотя и смотрят на отечество под разным углом и разным освещением...

«Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так

беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу...» — с обидою и грустью проговаривался Бунин, отвечая на претензии обвинителей... Вот это внешне ничем не выдающееся, почти неприметное для глаза мистическое чувство национального, которому даже не дать особенного объяснения, не обрисовать в материальном виде, оказывается особенно притягательно и соединяет души крепче арестантской штанги, хотя бы эти люди никогда не встречались и относились друг к другу с крайним раздражением. Русаки породю, — и все тут! Даже и русские разбойники — это свои разбойники, к ним и претензии по иному, заниженному аршину. Вот почему так тосковал Бунин по родине и отчей земле... Не по русским людям, кого и близко не мог поставить рядом с собою, находя в каждом человеке множество неизлечимых язв, но именно по особой палитре русской природы.

Только Ярошенко жил в этой низкой темной изобке, крытой соломою, а Бунин лишь осторожно приближался порою ко крылечку, звал с улицы хозяйку или хозяина и тем временем с ужасом, отвращением и непонятым интересом, который испытывает человек ко всякой скверне, вглядывался в сумрак сеней, откуда наносило чем-то кислым, дурным, терпким, отчего у барина воротило нос. Но вот возвращался в свои покои и торопливо заносил впечатления в записные книжки, уже заранее зная, что увиденное сгодится, станет его как бы стороною собственной жизни. Даже эти приторно терпкие кислотатые запахи чужого изжитого тела станут его запахами. Такова удивительная сила таланта... В отличие от Толстого, который до самой смерти мечтал поселиться в хатенке под соломой (лишь бы в ней было тепло) и жить, как простой деревенщина, у Бунина подобной «заразной хвори» не было, он остерегался ее и пробовал осязть землю в белых лайковых перчатках.

...Когда-то мужик, чувствуя к себе презрение, чуть не испроломил Бунину голову, и писатель едва спасся бегством; другой раз его, знаменитого уже, обласканного литератора, крепко обложили матом и грозили вилами; однажды чекисты чуть не забрали в кутузку к допросу, и этого случая Бунин тоже не мог вспомнить без слез и отчаяния от собственной беспомощности, — так унижена была его самолюбивая душа; и конечно, оскорбленный писатель, уже навсегда запомнив к себе небрежение, незалюбил земляную низкую Русь, не подозревая того, что не «высокая порода», не «белоперчаточники», для которых и писались сочинения, но потомок этого косного темного мужичонки станет впоследствии читать его и боготворить, и отправится к его могилке. Неугасимую тос-

ку по Орловщине, которой был постоянно пожираем Бунин, мог бы понять, пожалуй, лишь русский человек с русским сердцем, — и никто иной.

Бездомность Бунина пытались постичь многие любопытные, это чувство в него, наверно, вошло с рождения, как некая корпускула яда, впрыснутая с материнским молоком, иль насланная по ветру, он ее пытался оправдать нелюбовью к быту и собственности вообще. Но это объяснение не несет в себе полного откровения и не лишено интеллигентской фальши... Любопытно сравнить: тяжело больной чахоткою, бездетный Антон Павлович Чехов скупал земли и усадьбы по России, словно бы этими обретениями цеплялся за жизнь, пытался отодвинуть смерть. А Бунин бегал по Европам, чтобы сыскать себе угол, и не мог остановиться надолго, хотя даже перекасти-поле однажды цепляется за песчаный бугорок железной колючкою, чтобы прервать свое непрерывное кочевье. Бунин так и не смог укорениться до конца дней; он примерял к себе все новые Палестины, но, очаровавшись ими, публично признаваясь в любви к ним, никак не мог оборвать пуповину, связывавшую его с пажитями, волчьими буераками и дубовыми лесами Орловщины, и потому невольно скоро остывал к приюту. Он словно бы слышал чуткими ушами остережение Свыше, что если дерзнешь на подобный поступок, душа твоя сразу окаменеет и вместо текучих, исполненных любовью, ароматных, хмельных, как виноградное вино, слов потечет с пера на бумагу немочь, бледно-голубая с прозеленью кислая сыворотка. До самой смерти в нем была корча от любви к родине и страха перед властями, и страх перевешивал в последнюю минуту, когда уже ждал поезд домой... Бунин, может быть, и догадывался, что придется в России держать ему ответ, и понимал свою вину, публично не признаваясь, чтобы не сронить себя в глазах поклонников; он, может, и хотел бы держать ответ, но только перед праведным судом, где бы его таланту и славе отдали должное и зачли в оправдание, может, хотел бы и покаяться, чтобы облегчить душу, — и не мог переломить самолюбивой природы. Бунин не догадывался, что уже давно прощен мужиком, как напроказивший по недомыслию ребенок, и уже тайно возлюблен простецом-народом (а значит, и властями), и возвеличен.

Мсье Лепен молчал, стиснув руль; его как бы и не было в машине. Но он, конечно же, все слышал, все мотал на ус, чтобы составить полное представление о пришлецах. Наверное, в Париже ждали других, желанных гостей, единомышленников, а против воли наслали чужих, крестьянской кости; вроде бы и письменники, бумагу и чернила переводят, с

фигой в кармане к властям, а вот навозцем-то от наезжих припахивает, и никакой французской «шанелью» крестьянского запаха не перебить. Одно слово: деревня, скобари, почва... Да и кто для них Бунин? — да так, белая кость, барин, что крепостных девок таскал к себе в покои, чтобы ублажить плоть; он чужим потом напивался... А ведь был он «всечеловеком» (по Достоевскому) и, живя в Одессе, страдал и плакал, когда слышал о еврейских погромах, в синагогу ходил. «Окаянные дни» Бунина для новых декабристов стали «альфой и омегой», политическим манифестом, обвинительным актом на грядущем суде, когда Советы непременно выведут к эшафоту под виселицу... А тут наезжие покушались на славу великого писателя, апостола белой эмиграции и нового вольномыслия, держали Бунина себе за ровню и хлопали по плечу. «Окаянных...» тайком провозили в Россию, передавали по рукам, как бывало ленинскую «Искру», читали, укрывшись с головою одеялом, подсвечивая фонариком, испытывая от запретного сладкое томительное чувство, смешанное с боязнью наказания и похожее на мазохизм, на душевную чесотку, когда чем больше чешешься, тем больше хочется. Страх Бунина, его душевный надлом, его тоска и злоба, его самолюбие и честолюбие, разочарование и небрежение не только к мужику, но и к собрату по литературному цеху невольно переливались со страниц книги в сердце новых культурников, что теперь перечитывали запретные тексты, как шифровку, на новый лад, придавая каждому слову едкости и злости и тем невольно оправдывая свою застарелую неприязнь к «этой стране». Невольно закрадывается сомнение, что не особенный русский талант Бунина, но «Окаянные...» и стали тем паровозиком, что вытягивал прозу на Нобелевскую премию. Ведь за «Окаянных...» власти в Союзе давали притужаловку и принудиловку, а порою и срока. Бунин, презиравший «образованцев и культурников», как насквозь фальшивых людей даже в их притворной любви к народу, — именно для них-то и стал «буревестником», зовущим в новую революцию... Если бы предполагал, для кого он стал «авторитетом», какая черствая публика зачитывается им в панельных московских кухнях, то Иван Алексеевич так бы глубоко прикопал свои разрушительные заметки, что и вовек бы их не сыскать самому ловкому политическому шулеру...

Никогда не думал я вспоминать поездку в Париж, хотя в прежние времена писать путевые заметки было модно, похвально и прибыльно. Да и сохранились в голове лишь какие-то обрывки, странные клочки от увиденного, и склеить

их в одну цельную картину — труд напрасный и неблагодарный. И спопутчиков тех лет расспрашивал, чтобы вызнать подробности, уточнить главное, но и у них почти все виденное выпало в пустоту; только и застряло, как ходили на Сен-Дени смотреть проституток, и Толя Афанасьев ловко склеивал одну большеглазую красивую девочку, одетую под скромную провинциальную учительку, — в длинное черное пальто и шляпку с короткой, по брови, вуалью. Он болтал с ней на английском, и путана даже рассмеялась однажды, и на бледных щечках выступили на миг милые розовые ямочки, и друг наш даже приобнял ее за плечи, будто уже сговорился в цене, но тут же и вернулся к нам; иль не сошлись в деньгах, хотя и снимал клиентку самую дешевую (не по советским деньгам оказалась «парижская бабочка»), иль побоялся показаться в невыгодном для великой страны свете (а вдруг «заложит сексот»?), иль просто шутил, веселил нас, старался показать перед «московскими скобарями» практические познания забурной жизни. Еще запомнилось приятелям, как тот же Афанасьев водил в «порнуху», сунув югославу, что стоял на входе, баночку черной икры, словно бы за тем и стремились мы в таинственную Францию, чтобы узнать лишь чрево ее и запомнить лишь пороки ее. В полупустом зале сидели с десяток негров, сосущих пиво из жестяных банок, да пара лысоватых, морщинчатых стариков; часто хлопала дверь в туалет, находящийся возле экрана, — это «африканеры» зачем-то постоянно спускались туда, как в преисподнюю... Какая-то липкая грязь была во всем, какая-то яма, куда в зловонье и нечистоты и погрузились мы, чтобы испытать на крепость то божеское, что еще сохранялось в душе... Вот оно, «чрево» Парижа, — изврат, содом и гоморра в совершенной степени, о которых не догадывались прежде ни Золя, ни Мопассан. И совершенно позабылся сам смысл поездки — конференция и «парижане» — что деятельно окружали нас в те десять дней... Странное любопытство «культурника» ко всякой пошлости, стремление хотя бы на время, но угодить на дно, испачкаться, потрафить дьяволу, отступить от Бога, чтобы после тщательно отмываться от этого «низа» и в этом отмывании снова находить особое удовольствие; если не в игорный дом, то к проституткам, иль в «порно», в скабрзные магазинчики, разжигающие похоть, тайное сладенькое удовольствие от «запретного». Может, любопытство наше было и ненапряжным, наверное, надо было однажды хоть краем глаза увидеть «логово дьявола», чтобы после бежать прочь лишь при одном упоминании?.. Так мы оправдываем обычно всякое отступление перед пошлостью.

Но ведь что-то заело сердце, защемило душу, какая-то об-разовалась теча, похожая на таинственный родничок, иначе, зачем бы я взялся вдруг бередить память, если вся поездка действительно была напрасной, не стоящей выеденного яйца.

Афанасьев сидел полуразвалился, хмель оставил его, и на-пало полусонное оцепенение. Я украдкой подглядывал за Толей, будто пытался в какую-то внезапную минуту застичь его истинного, выявить из-под уловистой сетки частых морщин. Нижняя губа его выпятилась над седой бородкой, лицо устало обвисло, и Афанасьев напомнил мне и знаменитого американского писателя, ловца рыб, покончившего счеты с жизнью, и прекрасного французского актера. Вдруг Толя поймал мой взгляд и сразу ожил, будто подключили к высокому напряжению, и голубенькие глазки взялись искрой. Выудил из внутреннего кармана фляжечку, протянул мне (я отказался), и отхлебнул добрый глоток. В сущности, Анатолий был моего возраста, но шея у него была обтянута черепа-шейей кожей, как у древнего старика. Его интересно было бы написать с натуры, — и этот просторный череп с мелкой се-дой щетинкой, и нос клювиком, и монгольские скулы, и на-висшие над глазами тяжелые надбровные дуги, из-под кото-рых натекало яркой голубизною, и ядовито искривленные губы, когда Афанасьев начинал говорить.

— Мы едем по бывшей славянской земле на единственное русское кладбище. Это все, что от нас осталось во Франции. Потому и тянуло всегда, и тянет, — нарушил молчание Гу-бин, как-то подался вперед всем телом, будто выпрастыва-ясь из заскорузлой оболочки, и на миг припал к окну. Мне было странно слышать эти слова и немного стыдно, будто это я покушался на чужое, предъявлял свои права. Но эта нелепица и возбуждала, потому что невольно затрагивала недоступное пониманию, темное, древнее, к чему я прикос-нулся уже через добрый десяток лет. Но Губин споткнулся и не стал пояснять дальше. — Русское кладбище стало лесом. Сосны, березы. Очень действуют на нервы. Да что говорить, скоро сами увидите. Ты во Франции, а тут береза, царапает по сердцу.

— Березы и в Канаде растут... Значит, и Канада наша? — с ехидцей, как-то булькая горлом, засмеялся Ярошенко. Его хрипловатый смех высыпался изо рта колечками. — Толя, ты знаешь, как переводится слово «береза»? Береза — это ло-вушка для медведя. Бер и ез...

— Бер — это медведь, славянский языческий бог. Значит, береза — жена бера, — включился я в шутейную игру, чтобы оборвать монолог Афанасьева; вдруг показалось, что своим

многословием он разжижает сам смысл поездки, разбавляет ее остроту и крепость. — Но буква «З» часто перепадает на «Ж» или «Г», то выходит «берега», «бережа» — охранительница славян-русов. Кстати, Берлин — это медвежье логово. А «Бер» — по-немецки и медведь, и береза, и кустарник.

— Из березового вичья хорошие получаются розги для дураков, — холодно осек Толя, внешне не выказывая досады. — ...И вот идешь по кладбищу, как по историческому мемориалу. Стоит крест, и на табличке: «Гардемарин Иванов Владимир Иванович»... Другая эпоха. Ну, что-то слышали краем уха о белом движении... И чужие люди вроде бы нам, на той стороне воевали, а ведь родные, вот в чем штука... Помню, мы час истратили на поиски могилы Георгия Иванова. Жил, оказывается, такой замечательный поэт. Было темно, и уже закрыли кладбище. Человек, который водил меня, попросил вспомнить какое-нибудь стихотворение, и я прочитал: «За столько лет такого маянья По городам чужой земли»... та-та, — Толя замялся, забормотал, смутившись. Наверное, ждал подковырки от нас. — Подзабыл ведь... Помогите... «И мы в отчаяние пришли, Отчаянья в приют последний, как будто мы пришли зимой С вечерни в церковке соседней по снегу русскому домой». А ведь здорово, правда? Это было написано перед смертью, там, во Франции. В пятьдесят восьмом... И кому был нужен такой поэт? От этой тоски, что никому ты не нужен на чужбине, и родина недоступна, волком можно завывать, братцы... Я прочитал, сопровождавший меня слезу пустил. Потом пошли на могилу Шмелева. Красивая могила, висела лампада. И шел снег. И опять выпили. Растрогались. Народу не было, поляк, как тень за нами, пожилой такой охранник... Потом подошли к могиле Гиппиус-Мережковских, потом к могиле Сергея Булгакова, философа, протоирея, потом Добужинского, художника, потом прошли к Алексею Михайловичу Ремезову, потом к могилам моряков русских...

— Трагедия? — спросил Афанасьев риторически, ни к кому не обращаясь. — Кому-то захотелось поиграть в революции, сорвать свой гешефт. И в результате?.. Ну, для чего же поссорились русские до дикой кровищи? Итог-то, братишки, какой? — Толя снова добыл фляжечку и пригубил.

— Вот здесь ты, старичок, прав, — назидательно проскрипел Ярошенко. — Суетиться не надо и не треба жадничать, когда хлебаешь из общей миски. Скажет батько, таскай мяса, тогда и лови свой кусок... Вот сморкались против ветра, топились к республике, Бога забыли, даже великие князья Николая предали, красные банты на грудь повесили, вот

теперь и лежат в чужой земле. И разве некого тут винить? Да себя винить. — И поспешил добавить, видно почувствовал суровость приговора. — И все-таки пожалеть их надо... Это будет по-русски.

Увы, но человек долго, слишком долго взрослеет духовно, он слишком плотяной, приземленный, на ногах у него земные вериги, в голове дурная блазнь, он худо верить в добрые помышления ближнего; ему куда проще считать, что, если сам скотина, если в тебе бурлит темное кочевье пороков, то и ближний свинья свиньей. И если и ведем какой счет, то по страстям земным, но не по лестнице усилий, лепесткам доброделания. И первый шаг по улучшению, исцелению себя — это признание того, что твои ближние даже в своей посредственности куда лучше, куда нравственнее, возвышеннее нами усвоенных представлений о них; потрудись, поскобли грязь ты найдешь там позолоту... Тут, видимо, требуется какое-то особое усилие, особый личный духовный напярк, чтобы увидеть в человеке хорошее, когда даже и церковь порою не в помощниках.

Помню, как в молодости мне попались «Окаянные...» Бунина, это было после хрущевской оттепели. (В природе оттайки, неожиданные потепления зимою не сулят ничего хорошего для земли, оживают всякая гиль, гада и тля). Мои глаза, мое сознание по моей духовной неразвитости ни разу не споткнулись на крайнем презрении Бунина к своему народу, как к ничтожному скоту, «роже нынешней» (а значит, и ко мне), но с чувством какого-то злорадства, сладенького любопытства и удовлетворения воспринимались ехидные строки о Блоке, Есенине, Клюеве, Шмелеве, Горьком, Маяковском, где русские писатели волею эмигранта стаскивались в мусор, падаль, ничтожество в угоду читающей публике. И как-то не приходило на ум пушкинское остережение мещанской публике (а значит, и мне), охочей «до чужой спальни»; дескать, врите, сурово отчитывал великий поэт, что они, великие, такие же, как вы; они даже грешат по-особому, не как вы. Но особенное мстительное чувство, похожее на потрясение, испытал я, когда дошел до описания Ленина, что «на своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках, и когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык... В черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе в своем красном гробу он лежал с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице...» Эта мрачная картина как бы явилась подтверждением и невольным оправданием моего тайного

возражения властям, будто бы нарушающим человеческие заповеди. И все же это было совсем иное чувство, не похожее на то, с каким встретили хрущевское время московские «культурники и образованцы», свившие уютные «червилища» при партийных журналах и при ЦК, так называемая элита, все эти окуджавы, евшушенки, вознесенские, арбатовы, гайдары и др. Они ратовали «вернуться назад к истинному Ленину», «к социализму с человеческим лицом»; их, раньше меня читавших Бунина и прочую запрещенную литературу, гулявших по европам, как по заулкам Переделкино, нисколько не покоробил ужаснейший облик вождя, они не заступились за своего кумира, даже не попытались публично линчевать эмигранта-писателя, но истово сочиняли стихиры бетонной глыбе с вечно протянутой рукой, запечатленному в камне мифическому образу, совершенно утратившему связь с живой землей. Они упорно покрывали его золотой фольгой, серебряными паволоками, накрывали голову то терновым венцом, то царскою короною, накидывали на плечи то рыцарский плащ, то тогу пророка, и у того алтаря курили сладкий фимиам. «Уберите Ленина с денег», — завывал на стадионах Андрей Вознесенский, чтобы через несколько лет в одночасье отречься от кумира, предать его, своего учителя и кормильца, гневной анафеме, и с тем же площадным пафосом возопить, что не место мертвецу у Кремлевской стены. Ведь Бунин-то в своем неистовстве к Ленину, в крайнем отращении к пролетарскому вождю был искренен совершенно, как глубоко оскорбленный, униженный в своих барских чувствах человек. Для «оттепельщиков» же Ленин в любых обстоятельствах был и будет всегда некоей тайной «черной кассой», тем секретным «общаком», откуда можно почерпнуть прибыль и благ. Мне же тогда хотелось вернуться не к «истинному Ленину», но к истинной России, в которой место Ильича было невразумительно пока и туманно. Он был виноват в униженной жизни моих родителей, родичей, земляков, русской деревни, — и этого было достаточно для меня, чтобы смотреть на Ленина через «мелкоскоп» недоверия и злорадства, кропотливо сосчитывая все протори и убытки, совершенные этим эгоистическим человеком.

С того времени минуло, наверное, лет десять, когда в Ухте, городе политических «сосланных», я случайно познакомился с историей болезни Ленина, с заключениями врачей, анатомов, немецкого профессора, который привез из Германии специальную машину, и мозг вождя был разрезан на тысячи долей с тем, чтобы «наука могла изучать этот феномен гениальности до тех пор, пока существует на земле человечество».

У Ленина оказалась крайняя степень склероза, мозг был настолько произвесткован, закупорен солями, что в сосуды нельзя было протянуть человеческого волоса; по мнению специалистов, человек в подобном положении должен бы вопить от боли бесконечно. Прочитав подборку статей, я уже не услышал в себе прежнего злорадства и некой мстительности, как после книги Бунина, но мне стало глубоко жаль человека, с которым так безжалостно распорядилась судьба во дни его воистину мировой славы, когда многие народы склонили перед ним головы, а европейские знаменитости почитали за великую честь свидеться с русским вождем. Ленин воссел на трон особого рода, не выкованный из золота и не украшенный алмазами и сапфирами, но выставленный из людского почитания, поклонения, изумления и ужаса (так благоговевуют перед идолами), когда слезы и кровь, льющиеся у подножия, уже не воспринимались как слезы и кровь человеческого страдания, но как целительный елей и бальзам, а неисчислимое горе, принесенное России, затмевало грядущим счастьем поколений... Простонародье взирало на Ленина вроде бы с открытой душою, но с закрытым умом, чтобы не подпустить в него и капли сомнений и яда и не разрушить мечтаний. Наивные простецы-человеки, — они упорно не хотели видеть и знать, что подпирают трон Ленина служивые зла, люди мстительные, авантюрного склада, мелкие и черствые, часто небольшого ума, но крупного честолюбия, хитрости и зависти.

До меня вдруг дошло, что грешно смеяться над больным, над его страданиями (даже если ты полон к нему презрения), ибо неведомо, что подстерегает тебя в свой час, какие хвори будут насланы судьбою. Из человека, принесшего несчастье миллионам, Ленин сам стал глубоко несчастным, а в русских (православных) правилах пожалеть и посострадать. Кесарь в одну минуту обернулся в простого смерда, как и его дед, безвольного и бессловесного, в некую тряпишную куклу для чужой игры, когда все розы славы, весь фимиам, льющийся со всех сторон мира, уже не способны были умягчить боли, вернуть ум и здоровье, пробудить в душе Божье, так глубоко спрятанное. И то, что Ленину пришлось мучиться, как всем обычным смертным, невольно умягчало мою сердечную черствость к нему. (Примерно в таком недуге кончала земные дни моя бабушка, мезенская мещанка). Болезнь дается человеку в испытание. Нельзя твердо сказать, что столь трагический конец был наслан Ленину в наказание, как бы ни хотят некоторые увериться в неотвратимости наказания... Увы, добрый человек, что и полный негода, страдают от од-

них хворей, и часто Бог наоборот милует отступников, насы-
ляет им мирного, благостного конца, чтобы взять в жестокий
урок на том свете...

Мы возвращались с чувством исполненного долга и непо-
нятной вины.

— Последний раз были у Бунина, — с тоскою глядя в окно,
сказал Афанасьев.

Лицо у него посерело, сжамкалось еще больше, теперь по-
ходило на глиняную маску, сквозь которую пробилась упру-
гая седая щетина. Поперечная сизая морщина, вдруг взяв-
шись ниоткуда, разрежала лицо наполю, будто ударили са-
белькой, и сейчас должна высочиться кровца. Мы были по-
ровенки, но сейчас Толя выглядел перед нами изжитым стар-
цем, столько было в нем усталости. Обычно усмешливые глаз-
ки порозовели, набрякли от близкой слезы. Мне стало не-
вольно жаль Афанасьева, я участливо подернул его за рукав,
как-то не принимая его переживаний.

— Да ты что, Толя... Казацкие сабли еще не затупились.

— Старичок... А сколько жить-то осталось? Всего ниче-
го... лет двадцать... Ну, тридцать... Уже пора готовиться, со-
бирать пожитки, — приятель ухмыльнулся иронически, ос-
калился, улыбка вышла кривой, горькой, прощальной. Слов-
но бы не договаривал полностью, скрывал от нас тайную
весть, чтобы не огорчать. Пошарил в потайке, достал фля-
жечку, потряс. В посудинке не взбулькнуло. — Вот всегда
так... Только приготовился, а уж в бурдючке иссякло. Иссох
родник.

— На обеде поставят, — утешил Ярошенко.

— Ага... Вот так всегда: надеешься, ждешь, строишь пла-
ны... А ведь обманут. Дадут пошла за сорок центов ведро...
Только парижских бабочек отмывать от панельной грязи.
Одна изжога.

С востока приползла черная туча. В машине посмурнело, в
боковом стекле отражалась голова Афанасьева, лежащая на
спинке сиденья, как в гробу; бледное, как опока, лицо, ис-
писанное тонкими морщинами, будто старая фреска... Кто
тогда предполагал, что через несколько лет Толи не станет.

Его отпевали в старинной московской церквушке, в верх-
нем приделе, и надо было тащить гроб по высокой каменной
лестнице. Писатели заносили домовину, как Христов крест
страстей. Впереди, подставив плечо, шел Проханов, я сует-
ился сзади и неловко старался пособить, раскорячивал руки,
но получалось как-то невпопад. Голова покойного покачи-
валась, отплывала в небо, вот уже сравнялась с маковицей

храма... Казалось, гроб, подпираемый земными токами, вот-вот взмоет под облака. Потом отплывающий навсегда друг наш лежал одиноко в ящичке, усталое, изжитое лицо его стало шафранно-желтым, словно присыпанным толченым песком жаркой пустыни, и в каждой морщине, проступившей особенно резко, скопилась какая-то вековая пыль...

— Даровому коню в зубы не смотрят. Вино на радость нам дано, вино хулить грех, — сказал я, чтобы сменить настроенье. — А Бунина любили, любят и будут любить. К нему не зарастет народная тропа, пока не погаснет небесное светило.

— Куда хватил... Ты забыл, куда приехал, старичок? — усмехнулся Ярошенко. — Срок придет, выкинут на свалку и не охнут. Французы — хуже хохлов, когда насчет денег. Правда, Толя?

— У них не заплатил — выкинут. Любого. Хоть Бунина, хоть Пукина. Умер человек — кладут в гроб, закрытый наглухо. В морге выпускают кровь, все внутренности, чтобы происходила хотя бы частичная мумификация. Это же Европа. Коммунальная кухня. Иначе запах тления забьет запах роз. Могила не как у нас, а нечто вроде склепчика такого, кирпичами обложена. И все это будет в сохранности. Пока... Ваше дело придти к могиле и положить цветы. Когда подвянут, их уберут. У них нет цветов, как у нас. Вот вы заплатили за могилу, за год близких известят, что приближается конец оплаты, и вы должны снова заплатить, иначе гроб вытащат и сожгут. И эту баночку с прахом будут какое-то время держать, а вдруг родственник явится. Пушкин, ему скажут, вот останки... Это же Европа, мы их не понимаем.

— А зачем понимать? И не надо понимать. Немцы пришли—ушли, а жизнь продолжается. Это мы в Ленинграде миллион закопали в блокаду, — скрипучим голосом поддразнил Ярошенко. — Ну и что? Немцев победили, ну и что? Сейчас иного старика спроси про войну, и что тебе ответит? А лучше бы, скажет, нас немцы завоевали... Дожили, едрить твою...

— Вот и французам непонятно было наше сопротивление. Потому боролись с фашистами лишь компартия и националисты-консерваторы, люди де Голля, католики, почва. Они готовы были умирать за дело свободы и спасли честь Франции. А остальные сидели в норках, дожидаясь, кто победит. Оккупация, а чтоб булки и молоко — вовремя. Во-я-ки... Наполеона забыли, об еврея споткнулись. Одним словом — тоска, — желчно протянул Афанасьев, откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза, лицо пожелтело, как бы покрывшись

манкой, короткий волос отливал черным серебром, упругая щетина на скулях под косым светом из окна напоминала скользкий рыбий клецк. — Сейчас бы на грудь принять, острограммиться, — протяжно вздохнул Толя и вдруг улыбнулся своей мягкой талой улыбкой и сразу помолодел.

Мсье Лапен встрепенулся, дернулся плечом, будто жал ремень безопасности и спросил:

— А вам-то чем евреи не нравятся?

— Отчего же... Нравятся. Великий библейский народ, умный, красивый... Особенно девочки хороши, изобретательны в постели по части спортивных упражнений: пояс с колокольчиками, плетка-треххвостка, наручники, — ответил Афанасьев без обычной ухмылки.

Мсье пристально взглянул в зеркало проверить, не смеются ли над ним.

— Очень забавно, — сказал он. Голос у него предательски дрогнул. — У вас, наверное, большой опыт?

— Старичок... Откуда? Только из русской классики. Великие знали, о чем писали. — Толя ловко сменил пластинку; он, наверное, догадывался, что во Франции еврейский вопрос лучше не трогать; вот так, к слову, совсем случайно, не задумываясь, по простоте сболтнешь лишнего, а после не отмыться... Извозят в смоле, вывалиют в перьях, своей рожи не признаешь. Но этот проклятый вопрос, неразрешимый за тысячелетие совместной жизни, возникает особенно часто и вдруг, когда ты, наивная тетеря, даже и не помышляешь о евреях, словно бы это необходимые соль и перец нашего быта, острая приправа к серым будням, закуска к водке...

Этот профессор ровными повадками, разговором, всей своею призраченностью был словно бы чекистской выделки и за всю дорогу никак себя не выказал ни голосом, ни взглядом. Этакий залоснелый смуглый сухарь, чем-то внешне напоминавший Курчаткина. Но уши-то топориком и зубки острые, с таким не зевай, будь настороже (как я нынче думаю).

...Сейчас даже как-то неловко вспоминать ту давнюю поездку к Бунину, ее странную развязку, самую неожиданную и нелепую. И не то чтобы стыдно стало, хотя «без стыда рожи не износишь», но после невольно пришлось корить себя за несдержанность, полоротость, за то, что повел себя в извечной русской наивной манере; сначала сболтнем сгоряча, как водится, первое, что придет на ум, и лишь после, остынув, запоздало прислушаемся к своим словам; спохватимся, язычок-то приструним, да уж и поздно, братцы. Только и воскликнешь: «И — эх, простодыра, опять тебя повело не в те

ворота, уселся не в свои сани, завязал бы ты роток в тугой платок». Но ведь никакая наука тут не впрок, сколько бы ни попадай впросак; знать, не исправить русскую натуру, как и «горбатого к стенке не приставишь», «какой рожен, такой и заморожен».

И тут мсье профессор спросил, дескать, какие писатели нынче в чести, на какую литературу в России особый спрос. Вопрос был задан безадресно, наверное, из чистой вежливости, иль чтобы загладить бестактность Афанасьева, но зачем-то в разговор влез я; мне бы лучше слушать да молчать, но черт, постоянно дозорящий за левым плечом, коварно подтолкнул меня за локоток. А может, купился я на русский говор на чужбинке; неожиданно затронул он какие-то тонкие дрожащие струны, на которые душа наша особенно притяглива.

— Крестьянская корневая литература в почете... Народ русский впервые в истории стал сам о себе писать. Прежде дворянин со стороны подглядывал за мужиком, из окна кареты и барской усадьбы, в дверь людской и ворота каретного сарая. Думали — это и есть вся правда. Олишнем человеке, о мелком чиновнике, справляющем шубу, о девице легкого поведения с Невского... И вот после революции крестьянин вдруг развел из сажи чернил и взялся за перо. И знаешь ли, с той поры неплохо получается, а временами не хуже классики... Никто не ожидал от народа такой прыти. И Бунин не верил до самой смерти... Думали, гож темный, раблепный русский мужик только за плугом, да быкам хвосты крутить, да водку пить, в лесу копытиться да в шахте горбатиться, а он вдруг взялся сочинять и такой красоты картины выписал, так глубоко душу свою вывернул, такой страстной натурою показал русского простеца-человека... Э-э, чего там говорить. Никакими талантами не обойден Богом русский человек, за что бы ни принялся. Только бы воли ему на земле... Прошлое обрезали и будущего не дают. Одни сказки... Тот же «Тихий Дон» и Толстому бы не осилить. А тут какой-то казачок, едва шерстью губы опушились... Лев Николаевич вставал на колени, чтобы мужика разглядеть в подробностях и умильаться, он даже хотел в его избушку на печь заползти да там и опочнуть в последние дни. Но чтобы сердце русского мужика понять, надо, оказывается, возгордиться им, да любовно посмотреть из-под околыша снизу вверх, как на развесистый дуб, да неспешно перевести глаза к самому подножью его, к узловатым тысячелетним корням, и тогда только восхитишься мощи исполина, его красоте и, повязав свою гордыню и мелкое тщеславие, невольно почувствуешь себя молодым боковым отростком, роднею ему...

— Насчет Шолохова спорно... Есть мнение, что он списал у кого-то... Сам бы он не смог. Шолохов был слишком молод тогда, чтобы...

— Да что вы говорите... Почитайте его первые донские рассказы. Да там уже весь Шолохов состоялся; язык, стилистика, поэтика, музыка, драматизм, народные характеры... Это завистники громоздят нелепости, бездари... Сами ничего толком не умеют, только отрастили большой указательный палец, но меж тем нагло отнимают у русского народа возможность творить, его природный неисчерпаемый талант...

Душу мою будто опалило, и поначалу ощутил я такую горечь и тоску, ну хоть вой, будто не Шолохова, а меня обложили шакалы, но тут же свежим ветерком провеяло головушку и стало в ней как-то прохладно, пусто и беззаботно; это накалила на меня такая стихия, когда никакой остерег уже не остановит. Понесло меня, по-нес-ло!.. Такое знакомое сладкое чувство вольного полета и какого-то бесстрашия...

— Скажите, кто эти завистники? Ведь и большие писатели мирового класса подвергают сомнению...

— Будто сами не знаете... Кто любит кусаться и чесаться.

Я не успел закончить мысль, как Афанасьев толкнул меня в бок, чтобы остудить.

— В баню ходят, кто чесаться не любит...

Уже очумелый, беспонятливо взглянул на соседа; тот, искривя губы, крутил пальцем у виска. Но эта ухмылка меня не остудила, но еще пуще раскипятила.

— Русский дух, русское чувство, русский народ в его гармонии и величии всегда были в изгоне и при царях, и при вождах... Уселись насыти и неясны на крестьянскую горбину, а слезать не хотят. С чьих рук кормятся, туда и гадают... Написал бы Шолохов, к примеру, подобный роман о татарах или евреях — тогда другое дело, он бы стал велик сразу и без всяких сомнений, но он казака недобитого поднял на щит, деревенщину. Разве можно с подобным примириться? Да никогда... до скончания века. Чужебсы из своих лишь шкурных интересов без устали станут пилить и шпынять, искать оговорки и опечатки, подвергать сомнению и поклепу, — на этой скверной работенке выбивая себе хлеба сытный кус... И не только Шолохова, но любого энергического самобытного русского писателя. Сам русский народ, его присутствие Европе поперек горла; и проглотить бы рады разом, да боятся подавиться и вот мечтают содрать с него медвежью шкуру, распялить ее на просушку и выделку, да разрубить ту тушу на полсти, да пропустить через мясорубку, да накрутить кот-

лет... А в ту шкуру завернуть какой-то другой мелкий фанфаронистый народец и пустить его на выгул на великие пространства... А, каково?

Я торжествуяще, одиноко засмеялся. В машине, ровно шестелющей колесами в невидимой аэродинамической трубе, стало как-то грустно, словно бы мы навсегда отрывались от земли, подгадывая на асфальте подходящую кочку, чтобы взлететь.

— Это уже физиология, старичок, — с ухмылкой поправил меня Афанасьев. — Сравнить Россию с котлетами. Не выйдет... Слишком долго надо крутить фарш. Пока крутишь — сдохнешь; вот и будет тебе форшмак, а по-разбойничьи — «пичмур».

— Это образ... Но я же прав?

— Мечтать не вредно. Мечты человека греют, — подвел итог Ярошенко. — А вы знаете, убитая медведица без шкуры напоминает голую женщину. Смотреть, ребята, страшно, волосы на голове встают дыбом. Вот представьте, лежит перед вами огромная голая баба, груди, ляжки и все такое. Ступни пятидесятого размера. Жуть...

— Русь — баба... Русь — медведица... Это не ново... Конечно, не ахти что, но куда лучше, чем котлеты «по-личутински», — съязвил Толя.

— Чего-чего? — по-нарошному вскинулся я голосом, чтобы придать легкость и необязательность тягостному разговору, возникшему по моей вине. — Да уж лучше котлеты, чем баба, которую все хотят покрыть. Придумали... Русь — женщина, амазонка, с которой шуры-муры. А на поверку-то обернется мужиком с дубьем абы с рогатиной. Насадит вахлак на рог — и охнуть не успеешь со своей котлетою в зубах. Подавишься... Раззявились, отвесили губу, спешат наперегонки и слюни вожжами...

— А кого из нынешних писателей можно бы перевести во Францию? — вдруг перевел мсье Лапен нашу бестолковую словесную канитель в деловое русло. — Ладно, с Шолоховым пусть литературоведы выясняют. А кто нынче в первой обойме, за кого бы можно ухватиться? Я со стороны что-то ничего подходящего не вижу на горизонте... Наверное, вас цензура давит? Все в стол пишете?

— От вкуса зависит... Кому попадя, кому попова дочка, а кому и бабочка с Сан-Дени за двести франков, — Ярошенко обернулся к Афанасьеву, подмигнул. — И от настроения тоже... Пессимист пьет коньяк и плюется: клопом пахнет. Оптимист давит клопа и говорит: «Наполеоном» пахнет... А вообще-то в литературе все время идет пересортица, усушка,

уценка, выбраковка товара. Того — на прилавок, того — в кладовку, того — в цеховский буфет, а кого и на свалку. Су-ровая жизнь, безжалостная битва титанов с секретарями... Кто кого поборет. А разве в вашей долбаной Франции не так? Да один к одному. Может и хуже, раз упали под доллар... А если по правде, лучше тех писателей, кто приехал нынче к вам, в России, пожалуй, и нет... Живые классики... Старички, иль я не прав? — Ярошенко с издевкою хихикнул в усы.

— Мы же не в буфете ЦДЛ... Там за бутылкой русской водки все классики. ...А здесь вино другого разлива, иные и вкусы, — поправил я Ярошенко. — Есть, например, прекрасный исторический писатель Дмитрий Балашов, создатель целого свода романов о государях российских. Так вы же никогда не переведете на французский...

— Ну почему же...

— А все потому же... Даже вы, специалист по русской литературе, не слышали о редком писателе, открывшем нам древнюю Русь в драме и красоте. Если вы ничего не знаете, так что говорить о других...

— Я что-то слышал о нем, но как-то не задавался целью, — мягко поправил меня профессор. — Прошу меня извинить...

— Вот видите... Это же не случайность, — наступал я. — А все потому, что Дмитрий Балашов — воистину русский писатель, он создал героические русские типы. Вызволил их как бы из небытия, из тьмы веков, из пыли забвения, из безжалостного улова, куда погружается все, возвратил силою сердечного таланта и совестной души... Не квелих, безвольных, амбивалентных людишек, по-рыбьи разевающих рот, думающих кишочками и прочими отростками... Он заполнил историю страстными людьми... Написал с любовью и восхищением созидателей, бесстрашных воителей, русских государей, усилиями которых Русь разлилась во все стороны света по Божьему благословию и стала великой. А разве Европа может любить великую Россию? Она ей завидует, боится ее... Европа совсем другая, чем мы, она упала под его величество мамону и лижет дьяволу пятки. Европе чужды, непонятны наши страсти, наши чувства, наш Христос. Она только и видит тот день, когда можно будет вскрыть сонную жилу России и выпустить кровь, напиться ею. У вас в чести лишь деньги и те, кто при деньгах, у вас на вершине банки и все, что прильнуло к ним, чтобы слизать золотую пыль и насытиться ею. — Я вдруг загорелся против воли, говорил, все более возбуждаясь, и потому витиевато. Мне захотелось в чем-то очень важном переубедить «мусье», перетянуть на свою сторону, в союзники, словно бы от разговора могло что-то

мгновенно измениться во всем мире коренным образом именно в эту минуту, пока шелестит колесами автомобиль, пытаюсь оторваться в занебесье, а не в далеком будущем... — У вас на западе любят переводить лишь те книги, в которых Россию с удовольствием мажут детем и валяют в перьях, выводят ее темной, бранчливой, гулящей, тупой, бездельной, ленивой, склонной к бессмысленным и ужасным бунтам, — то есть во всем порочной. Той самой медведицей, с которой нужно содрать шкуру.

Мсье Лапен попытался вяло, глухим голосом перебить меня:

— Ну, почему же... Франция разная и всякая. Поэтому ее и любят... Я в этом убедился... Нельзя же всех под одну гребенку...

И замолчал, как бы призывая меня к откровенности. Он следил за собою и слов на ветер зря не кидал.

— Франция-то, может, и разная, да переводчики-то из одного племени, чаще всего те, кто из России в свое время смылся и, не добравшись до Израиля, застрял в Париже.

Голова у нашего водителя нелепо дернулась, будто шею внезапно перетянули удавкой, машина невольно сбавила скорость. Тут и Париж обступил нас. Я понял, что сказал что-то недозволенное, повел себя полным идиотом «в цивилизованной Европе», оступился на ровном месте. И оттого, что повел себя глупейшим образом, я захихикал противно так и, окончательно потеряв голову, с каким-то блаженным чувством полной свободы бросился в омут. А, значит, хоть и на короткое время, но стал самим собою, вольным, не зажатым фальшивыми условностями и надуманными интеллигентскими приличиями.

Вот сейчас вспоминаю прошлое с каким-то недоумением, словно нечаянно угодил в какой-то обман, будто вышел на таежный полустанок на мгновение, а поезд мой вдруг попылился дальше, оставив меня в растерянности и тоске... Увез меня прежнего, а я, нынешний, трепещущий, словно лист на ветру, от этой обнаженности чувств, растерянности и страха, — догоняй состав. Да уж где там!.. Словно не с нами и случилось; осталось нынче разглядывать последний качающийся на стыках вагон как сквозь осенний слоистый туман, едва пробиваемый солнечными сполохами. И так вся наша жизнь — от перегона к перегону, череда расстаней, нанизанных на вервь, как бусы, как лепестки молитвенных четок...

В пору моей писательской молодости, когда я был еще робким циплаком, обсуждали мои литературные опыты на Со-

вете по прозе в Союзе писателей России. Вызрел я запоздало и трудно, словно бы меня прихватило северными морозами, в тридцать три года вышла лишь первая тощая книжица. И вот в Москве говорят обо мне мудрые литературные дядьки-пестуны и то приласкивают по головке жальливо, то норвят, будто пробудившись, продрать против шерсти. А я, сидя у двери как-то кособоко, сжавшись в комок, то краснею, как набедокуривший шкода, когда прихваливают меня, то жамкаю потные от волнения ладони, уросливо вскидываю голову, когда продирают с песочком. И вот говорят, де странный какой-то прозаик, никаких у него примет нынешнего дня, ни комсомола, ни партии, ни телевизора, ни электричества, словно прибыл человек в столицу из каменного века.

А был на том совете Владимир Цыбин. Дали ему слово, а он вдруг без всякой причины побагровел налитыми щеками, загорячился, как бы в омут кинулся с крутояра, замгнул глаза, и выкрикнул: «Знаете, да если бы у нашего молодого товарища в повестях были партия, комсомол, электричество и телевизор, — все эти приметы времени, то его книжку надо бы выкинуть в корзину». Она тем и хороша, что там есть вечность! А вечности приметы не нужны!» Похвала была странной, даже и нелепой в эту минуту, она подвергала сомнению всю мою советскость, раскрывала мою двойственность, которую я не особенно и затушевывал в тексте (хотя внутренний цензор и сидел) мою идеологическую ненадежность. Все как-то сразу стушевались от неожиданной прямодушной реплики Цыбина, как бы очнулись от учительского наваждения, торопливо закрыли совет и стали поздравлять меня с успехом...

И вот минула с того дня (будто воробей склевал) четверть века. Как-то встречаю я в писательском буфете Владимира Цыбина, чудесного русского поэта (царствие ему небесное). Сидел этот добродушный человек одиноко, словно бы выпавши из сна, навряд ли кого видя в эту минуту, хорошо причастившись, с каким-то бабьим, расплывшимся лицом, жидкими волосенками по-над ушами, беззубый, и только глазенки пронзительно сияли влажным голубым светом, придавая всему выражению умильность и умиротворенность. Такая «физиогномия» часто бывает у добрых пьяненьких русских людей. Я подтянулся со жбанчиком к его столу, мы выпили водчонки, и я, стараясь укрепить дружество, припомнил ему тот случай. Цыбин еще более расслаился, словно ему вручили премию от самого Господа Бога, и переспросил изумленно:

— И неужели я так сказал..? Что если бы в повестях были комсомол, партия, электричество и телевизор, то место книги в корзине?

— Да, так и сказал, — в который раз подтвердил я, добавляя в рюмку.

— Значит, я такой молодец был?

7

Со временем все ветшает: и мы сами, и события, и чувства. Но зато обретает какую-то особую остроту внутреннего зренья, это открывается духовное око, тот самый третий зрак, связывающий нас со вселенной, отчего все минувшее, если оно застряло в памяти, оборачивается с новой, неожиданной стороны, прежде закрытой. Через третий зрак человек наполняется разумом. И, вспоминая случившееся в молодых летах, мы невольно вздыхаем с печалью: «Эх, какой я был дурак... Кабы мне нынешний ум (имеется в виду разум), то разве совершил бы я столько ошибок? Да прежде, чем ступить ногою в неведомый речной поток, я трижды и четырежды промерил бы воду близь берега палкой...»

Тогда после русских могилوک угодили на обед. Мне досталось место за столом напротив Окуджавы. Вдруг обнаружилось, что и он в нашей делегации, но как бы свадебный генерал, специально доставленный «у Парижу» другим рейсом, чтобы придать конференции иное качество. Он скользнул по мне равнодушным взглядом и занялся едою. Я впервые увидел знаменитого поэта вблизи, и мне, конечно, льстило. Еще в студентах в общежитии на Васильевском острове, завешиваясь клубами сигаретного дыма, мы пели под гитару: «Последний троллейбус по улицам мчит...», «Возьметесь за руки, друзья...» Наивные неприхотливые дети сурового, но и вечно-го времени, — сироты, детдомовцы, псковские скобари, «дембелы» из армии, работяги с ленинградских заводов, выходцы из простонародья, заполнявшие тогда университеты, — мы пели с восторгом, с каким-то внутренним всхлипом, как блаженные, наполняясь друг к другу нежностью и дружественностью; нам казалось, что будет вечной, никогда не иссякнет переполнявшая нас доброта, никогда не порвется тончайшая духовная нить, только крепнущая с каждой песнею... И глаза наши пощипывало то ли от едкого табачного дыма, то ли от близкой слезы.

То давнее юношеское впечатление я невольно переносил сейчас на этого низкорослого человека в сером пиджаке с

заплатами-налокотниками, торопливо работающего столовским инструментом, и оно не совпадало по мерке, отслаивалось. Вот он поел и отвалился на спинку стула, глядя куда-то поверх голов. Невзрачный бухгалтер, подзаросший серебристой неряшливой щетиною, сидел напротив. Треугольное лицо с блестящей лысиной, полушарие высокого лба, жесткая скобочка усов, темные, какие-то мохнатые глаза, как у жука (может, из-за черных густых ресниц), рассеянный взгляд. И все-таки он мне напомнил чем-то испуганного мышонка, которому угрожают.

Оставалось года четыре до того дня, когда Окуджава окончательно вылезет из скрытня, заявит: «Патриотизм есть и у кошки» и подпишет «расстрельное письмо». Когда либералы собьются в один гурт напоподобие клина и, раскачиваясь под звуки гитары, под песню «Возьметесь за руки, друзья» примутся усердно и жестокосердно таранить в паутичатые трещины советской стены изнутри и снаружи и выламывать из нее по кирпичику. И станет понятно, кого Окуджава призвал взяться за руки, чтобы не погибнуть поодиночке; увы, не тех, кто поклонялся России, но лишь людей своего стана, враждебников, кто видел в Советском Союзе лишь «эту страну зла». Как в последние времена, они явили свой истинный лик и напористо бесстыдно полезли во власть. Еще Христос предостерегал: «Берегитесь их... Они будут видом как наши, но они не наши, и по делам их вы узнаете их».

Тут к столу подошел худощавый черноволосый клерк, я сначала и не понял, кто он такой, и в полупоклоне стал объясняться с Окуджавой; поэт сидел на стуле, полуразвалился, сыто и надменно. «Наверное, так и должны вести себя знаменитости, ведь это бремя славы, этот крест, взваленный на горбину судьбою, так тяжело нести», — подумал я. Речь пошла о том, кого из певцов надо пригласить во Францию на гастроли. Клерк называл фамилии, а Окуджава коротко и как-то сердито выплевывал через губу: «Не надо... Это г...» И тут же предложил своих. Клерк, не возражая, лишь понятиливо кивал головой, торопливо поправлял в записной книжечке, не разгибая спины, угодливо принагнувшись над Окуджавой. Нынче-то я понимаю, что тогда оказался невольным свидетелем сговора, когда диктовала условия сторона приглашаемая, и желание Окуджавы было непререкаемым, перевешивало волю ЦК. А я-то, простофиля, темень стоеросовая, оказавшийся за бугром, уверен был, что в Европы засылают лишь тех, кто в Советском Союзе в славе, и вот слух о них самовольною преодолел заставы и кордоны и там, в чужих землях, очарованные слухом французы, непременно хотят видеть зна-

менитых русаков, но обнаружилось, что Парижу, Риму, Лондону, Нью-Йорку и т.д. навязывают лишь своих «друзей», кто в их кругу, их неразрывной спайке, где свои понятия о красоте, вкусе, эстетике, засылают товарец со своей тайной биржи, со своими ярлыками качества, и уже закреплена «бронь», и в тот круг посвященных не попасть с заднего хода, ибо составлена своя товарная система ценностей, которую не поновить, тем более, если ты засветился в неблагонадежности к элите, кругу посвященных, иль дал хоть крохотный повод усомниться в твоей верности, будь ты хоть семи пядей во лбу, хоть бы и обладал ты певческим иль поэтическим талантом...

Ходили по Москве слухи, что когда Андрей Вознесенский решил уйти от старенькой жены, то все пути в европы сразу были перекрыты; в отчаянии поэт притек к Окуджаве, упал на колени, твердо обещал быть верным Зое Богуславской по гроб жизни, и лишь тогда он был прощен, и вся безбрежная красота мира, вся благодать его вновь вернулась к нему, как по взмаху волшебной палочки... Такова была сила «князя избранных» при жизни его и безмерна печаль их по смерти его, и искренне горе городского мещанина, что, привстав на цыпочки, с любовью всматривался в смутный облик застенчивого барда, украшая свои серенькие дни гипнотической музыкой чаровника Окуджавы...

...Окуджава поднялся от стола и, так и не взглянув на меня, пошел прочь, шаркая гамашами, со спины — худенький инфантильный подросток со старческой шеей, чем-то напоминающий Чарли Чаплина.

...Ночью в холодной парижской гостинице мне приснилось, что я бегу к реке, проседая босыми ногами в весенний крупичатый снег, царапающий до крови кожу, а мать кричит вослед, потрясая ремнем: «Володя, куда ты бежишь?! Вернись, говорю! Утонешь — лучше не возвращайся!..»

Это было особым знобким, но и веселящим, омывающим сердце ребячьим удовольствием, символом торжества и особого посвящения в братство отчаянных, — прострочить босиком по Чупровской улице от нашего дома до угла проспекта Ленина. Еще река стоит, еще широкая поскотина под углом в редких рыжеватых проплешинах, еще длинные переливчатые сосульки висят с крыши, роняя звучную капель, и хрусткий наст намерзает по ночам, когда можно по сверкающим подмороженным снегам шагать ранним утром во все концы света, не проседая ногою, как по деревянным мосткам. Небесная синь слепит глаза, и солнце, словно хватчен-

ное с боков изморосью, оранжевое, как апельсин с картинки, уже неохотно скатывается в запад за иззубренную щель дальнего леса и, отчаянно зацепившись за вершины елинника, повисает, как елочная игрушка. Значит, на подскоке белые ночи, когда перламутровый свет, сочащийся отовсюду, надолго повиснет на оконцах, как прозрачная паволока, и ожидание неизбежного счастья, задержавшегося где-то невдали, на подступе к Мезени, будет тревожить сердце, придавая черствой затрапезной жизни особой хмельной сладости и неясной мечты. Весной каждая букашка играет, все живое в природе наполнено ератиком, сполошливой любовью, томлением. Отмякнув от зимней спячки, освободившись от снежного оцепенения, щедрая плодильня матери-земли с нетерпением ждет счастливого опростания... И бабы-вдовы особенно шалеют в эти ночи, мечутся в постелях, поскуливают, затыкая рот кулаком, как покинутые изыбшие собачонки, тревожно вскидываются середка ночи, вглядываясь в тускло светящееся окно, а днем сполошливо хохочут иль беспричинно плачут, иль бездельно орут на сорванцов своих, никак не желающих понять тоскующую материну душу.

Господи, сколько писано-переписано об этом времени детского неприхотливого счастья, никаких полков не хватит, чтобы уставить книгами, и общими чертами так похожи воспоминания, будто списываны с одного черновика, с преж времен утраченных исповедальных листов, как бы явленных на небесах для зоркого взгляда и восторженной души, и каждый раз под писательской художной рукою вроде бы угасшие впечатления вдруг изливаются с какой-то новизною в подробностях, с иным чувствием в мелочах, с иным взором на мать—сыру землю, и от того картины детства, на первый взгляд как бы схожие, однако рознятся по духовной наполненности, интонации и музыке. В сущности, мы мало, худо развиваемся внутренне, какими-то скачками, когда припрет и уже невмочь дышать, и если и живет в нас что-то доброе и полезное, то оно оттуда, из детства, и почерпнуть в помощь душе мы можем лишь в той не мелеющей кадце...

Вот недавно читал роман «Провинция слез» Владимира Пронского о военном лихолетье, русских вдовах-колотухах, их мужестве и самопожертвовании; Боже мой, как все сходится с моим детством, вроде бы канувшими в пучину лет впечатлениями, но волею писателя вдруг восставшими из небытия; я как бы вновь возвратился в ушедшие годы, вернее сказать, — нагнал ушедший от меня поезд с нажитым грузом, и в душе возникла печальная сумятица, постоянно позывающая к слезам; казалось бы, все другое на страницах книги, — иной воз-

дух, иная музыка грусти (простите за красоту), иные очертания природы, иной уклад, иные песни и побрехоньки, иные воздуха и дали, но в этих безыскусно вызванных из небытия образах, порою выписанных унывно и излишне подробно, я как сквозь прозрачную воду, вижу на дне реки времени черты родного мне исконного русского насельщика, издревле обитавшего и в Сибири, и на Куршине, и в моем родном Помезенье... Сколько прекрасных черт, какое многообразие натур обнаружил Пронский в крестьянском половодье, где все вроде бы на одно каржавое, изветренное лицо, сшиты на одну грубую колодку, обитают в угрюмом и затхлом военном мире, но как выпирает каждый селянин в своем горе и бедовании из серой массы своими углами, норовом, задатками, обличем, судьбою. Вот этой пестроты русской деревни, стоящей в основании нации, которую отметил барин Тургенев, к сожалению, не смог разглядеть в свое время Бунин, охотно призатонувший в гибельном омуте либерального «ячества». Вот будто бы угодил человек ногою в развилку затонувшего в реке дерева, случайно загнал сапожок в склизкую рогатину, и порою рвется он наружу из последней силы, — так хочется ему глотнуть свежего воздуха, хочется солнца, — но, увы, водяной тянет обреченного назад, под глинистый крещ.

...Я помню, как народ после войны стремился сохранить в себе доброту, перемогая невольную жесточь, скупость и свару, теребящую сердце, и лишь в этой вседневной милости видел единственную возможность выжить. Исполнялась заповедь: «Кинь добро назад, оно очутится попереди». Окаянные пороки, что ныне немилосердно царюют в России, не извне к нам насланы вселенским колдуном, как думаем мы порою, но они из нашего нутра поскачили наружу, сорвались с цепи из темнички, где были придавлены стыдом и совестью, и сейчас выказали себя во всей дурной бесовской славе. Какая тьма разлилась тут, какая, вроде бы, непобедимая тьма вокруг! И Божье небо даже плохо видать из-за смрада... И слабые возроптали, осердясь на Бога, но не на себя: «За что нам такое наказание! Господи, за что!?» Но зато теперь мы знаем, сколько в нас беса, знаем его силу и страсть, знаем, с кем придется ратиться на будущих годах. И сейчас его нужно загнать обратно в неволю; но кто добровольно поспешит за решетку? Эта битва изнурительная меж Богом и дьяволом и достанет в ней места всем; чтобы совладать, нужен длинный кнут, и железная решимость припереть беса к стенке и загнать назад в крепь, свое стойло, где ему и место...

...Вот и снова отвлекся я от сюжета; повело мысль мою вроде бы в сторону — и не обуздать сомнений; но куда бы,

братцы, ни скинулся умом, на чем бы ни заострил взгляд, а повод-то, а интерес-то сердечный один — Россия. Бог ты мой, как нынче снова несладко отечеству, ловко так подгадали бисовы дети, поймали на повороте русскую кибитку, да и в овраг ее. Пока барахтаемся, продирая от снега слепые очи, а уж анчутки-то в карете, попробуй, залучи их назад в крепь. И сколько снова потребуется мужества от народа, чтобы стряхнуть с горбины незваную досаду и выпрямить плечи; но откуда его взять, этого мужества, если сослепу пока не знает русское племя, куда и по какой нужде побрести надо...

Снег на севере в конце апреля еще высокий, по колена, сахаристый, жгучий и продирает голяшки до самых моселков. От какой-то странной блажи, овладевшей твоей пустой головенкой, мчишься переулком как бы на одном дыхании, задержав воздух в глотке, проседая в едучую искристую зернь, похожую на алмазное крошево, летишь заполошно, запрокиня голову, как жеребенок-сеголеток, и снег дробью отскакивает от пяток, осыпает спину; и вот выскакиваешь на досчатые мостки проспекта, уже теплые от солнца, обвеянные внешними воздушными, шелковистые, как домашние тканые половики, ластящиеся к наколевшим плюсам, похожим на листовничные колодки, и тут невольный торжествующий, скорее звериный рык выдирается из горла. Ты прыгаешь козлом по тротуару, скачешь от восторга, вопишь, несешь какую-то околесицу на весь околоток, вглядываясь в дальний конец переулка, где перетаптывается, примеривается к бегу, твой приятель, и подзуживаешь его дразнилками или нелепою частушкой: «Меня милый не целует, говорит: потом-потом. Я иду, а он на печке тренируется с котом!»

И от бурных ног, стучащих по половицам, как коровьи копыта, словно обваренных кипятком, вдруг по всем скудным ребячьим мяшишкам проливается какая-то благодатная волна жара, словно бы ты только что сполз с русской печи. И так вольно, легко, празднично становится сердцу, будто неведомая благодать пролилась, прокаливая по дороге, во все самые тайные укромные его, будто омыли тебя живой водою, и ты стал неожиданно новым, и отныне не станет для тебя впереди уже никаких рогаток. С тех пор минуло много лет, но телесные жилы, уже закорелые, потерявшие прежнюю упругость, отчего-то помнят именно этот давний детский восторг.

...Еще снегу полно, еще поля под бело-голубым саваном, еще лишь сиреневые воздуха над ивняками, и один Бог знает, когда еще тронется нынче река, но весна тобою уже встречена, и можно «переходить с саней на телегу», окончательно закиня на чердак опостылевшие тяжелые, словно бы камен-

ные, валенки с загнутыми, как у лыж, передами. От того и мчишь, отчаюга, босым по сугробам, ибо не терпится поторопить пересменку времен, почуять полузабытую легкость ног, игривость растущего отроческого тела и, вместе с надоевшей одежкой спровадить прочь и опостылевшую сиротскую зиму, долгую темень, стылость комнаты, вечерний мрак, наледь на окнах, керосиновый тяжелый дух от крохотного моргасика, — все эти приметы тюремки, всеилой неволи, непонятно кем навязанной на нашу судьбу. Это кровь под вешним солнцем ярится и играет, отзываясь на зовы растущей плоти... Взрослые с ужасом смотрят на наши дурацкие потехи, им мнятся всякие напасти и хвори на детские глупые головы; матери и бабки уже и призабыли отважные забавы, кочующие из поколения в поколение.

О закалке на русских северах тогда не было понятия; сам суровый быт расставлял на всем жизненном пути такие испытания, такую нужу и стужу наваливал на крестьянина, что специально тренировать его на долготерпение было бы смешной барской наклонностью. Вот и с обувью и одеждой всегда было туго, особенно после войны. Мужики-поморцы шили для промысла сапоги-бахилы из нерпичьей иль лахтачьей кожи, но без подошв, плоскопятые, на медвежью колодку, просторные, выше колен, чтобы можно было толсто намотать на ногу холщовых портищ иль надеть вязаные шерстяные головки. В море охотники-зверовщики от простуды особенно береглись: со студеным рассольцем много не побалуешься, скоро сторишь от сухотки иль огневицы. Морозной стужи не так боялись, как сквозняка... Мужики, особенно молодяжка, любили ходить грудь нараспашку, иль мчать с гиканьем в возке, иль санях-розвальнях, когда хмельное попадет на губу. И в этом раже, когда сам черт за брата, голубые слезящиеся глаза застит ветер, закорелая шея торчит из фуфайки бурым окомелком, сивый от инея чуб на вспотевшем лбу, овчинный треух на затылке, и махорная сосуля прилипла к губе. Дед Мороз (языческий Бог Сварог) подбивает в пятки, не дает застояться, вливает в грудь задору, бесшабашности и особенного веселья, особенно если ты счастлив и в избе твоей, и в подворье полный лад и обиход. Морозный скрип под ногою, как небесная музыка, слышен на весь околоток. По здоровью и мороз; конечно, если ты недужен и у тебя сухотка, если тебя кашель мучает, то каждая минута на воле тебе за муку.

Но со сквозняками, братцы, опасно быть на «ты». Тут не только тепло напрасно выносит на ветер; но случайная тонкая струйка в подоконье избы иль через плохо прикрытую

дверь становья по безалаберности твоей шекотнет неслышно в твою грудину, и скоро окажешься в гробовой колоде под крышицей. Если в зиму подшитые валенки с ноги не снима-ли и в доме, и на улице, то с весны во дворе мужики и жонки чаще всего бродили в галошах; были галоши хлевные, избя-ные и нахорошо, для выхода в люди, — не затасканные, без навозных пролысин, с зеркальным блеском и алой байковой подкладкой. Да если пододетый носок шерстяной, самовязанный, с пестрым цветным узором, — одно загляденье. Невольно ножкой-то пофертишь да и залюбуешься... Да и подумашь: «Эх, кабы к этой-то женской ножке да мужичонку бы какого, хоть бы и завалящего. Ой-ой, хоть бы и временницей кто залучил..!» И вспыхнет щеками бабенка, невольно оглянется, словно бы кто дозорит за спиною, и, не сыскав ничего примечательного, тут же и потускнеет взором, и только блуждающая улыбка будет недолго тлеть на лице. Как все-таки мало человеку надо, чтобы почувствовать крохотную усладу сердцу...

О чем я пишу?! Куда-то все загоняет меня на сторону, на сладкие травостои и возвращаться на утоптанную дорожку-тележницу приходится силком. Но отчего-то тешишь себя мыслью, что труды не напрасны, и вдруг обыденная картинка, списанная с природы, покажется кому-то сердечно близкой до слезы, до жома в горле, и вольется в душу, как нектар в пчелиные соты. А иначе к чему все изнурительные труды, если не слышать задушевного оклика? Да и писатель разве не труждается, как пчела, что деловито снует с взятком от человеческих цветущих лугов к своему домку-книге; только с целебного цветка животворный принос, а с зловредного ядовитый...

Ну а мы, юнцы, с начала мая по конец сентября беспечно шатались босиком, натаптывая тропы и переброды; своя неизносимая шкура на ногах каши не просит, лишь за лето задубеет она, забронзовеет, покроется цыпками, ссадинами и синяками, желтыми медалями от язв и заусенками, тонкими больными заедами и кровоточащими трещинами от няши, ветра и воды, и не было, пожалуй, пушшего наказания для нас, как перед сном, под суровый окрик матери кое-как, для близору ополоснуть ноги в ненавистном тазу... Вроде бы не слыша надсадной воркотни матери, наконец-то блаженно раскинешь в окутках моселки, а они, натруженные за день беготнею, гудят, как провода в морозный вечер, и тягучее, вязкое томление от набитых пяток растекается до самой макушки, и весь ты мелко, беспричинно вздрагиваешь, как бессловесный щеня, не понимая, что ты уже весь в омуте сна.

Бегая босиком, мы ощущали мать-сыру землю тончайшими нервными волоконцами, опутывающими наше тело, как воинские брони, будто кованая кольчужа иль монашья власяница; эти невидимые чувствилища, словно корни древесные, с самого появления на свет соединяют нас с природой — великой таинственной роженицей; если материнская пуповина обрезается при рождении, то питательные сосуды, по которым перетекает в нас духовная кровь земли, меркнут чрезвычайно долго, а порою их и вовсе нельзя зашить. Мать-земля не только нянчит нас в своей охапке, кормит и одевает, но и вселяет мужества и любви. Но чувство таинственного, необъяснимого родства с землею и праздничной слиянности с нею бывает лишь в детские годы, еще до разлуки с нею, до первой долгой дороги от родимого порога, и этой полноты семейных отношений позднее трудно, почти невозможно повторить, как бы ты ни стремился. Остается лишь отражение, тоска по минувшему, что мы принимаем за зов земли, и праздничная грусть воспоминаний. Увы, но жизнь незаметно ослабляет родовые скрепы и почти сводит их на нет; земля с ее вселенской терпимостью и вселюбовью как бы заканчивается у околицы города, отпрядывает от него, и с хребтов бетонного вавилона великая мать-дева-рожица-плодильница всего сущего уже видится нищенкой, прощачкой, у лона которой остаются лишь заскребыши, убогонькие, кому не хватило таланта уцепиться за асфальт.

Наверное, только юроду, блаженному подвластно войти в одну и ту же воду, но для этого надо иметь особое младенческое свойство души.

Как сейчас понимаю, для нас эти глупые забавы были означены торжеством детской души над плотью, уроком мужания и первым, пусть и крохотным, но подвигом. Мы сами подвигали себя к сверхусилию, которого никто от нас не требовал. В своей будничности оно особо и не запечатлевалось в сердце, занимало нас ровно столько времени, пока не заслонял новый интерес, оно не становилось памятной вешкою в медленной, до тоски неторопливой жизни, у которой не виделось строго очерченных границ, но то, что каждое поколение повторяло эти опыты, невольно намекало о какой-то особой задаче, которую ставила перед детьми северная земля, скорее суровая, грубоватая, немилостивая, чем жальливая, больше похожая на старбеню в домотканом синем костыче, чем на бабу-чаровницу в парчовой кофте-коротене; родина не баловала нас, не тетешкалась, не одаривала сладкими жамками и слоенками, и сдобными калачами с изюмом, не ус-

тавливала скатерть-самобранку яствами, но расстилала пред очию неохватные стылые сыри, гибельные болота и скрытные лешие суземки. Самой судьбою нам сызмала было заповедано притереться моселками, любовно притерпеться сердцем к русскому лукоморью, чтобы на нем жить по заповедям, плодиться и строить род... А мы, вот, побежали на сторону, как опойные, полные невнятной смуты и гордыни, словно бы русальница позвала нас из-за окоема чаровным сладким голосом. Поманула, насулила — и обманула... Теперь-то: ах да ох, остается лишь потирать ушибленные боки, утирать сукровицу на губах от жестких удил. А где она, та воля, та необыкновенная «жизня», о которой мечталось глупой голове? И где те чаровники-кудесники, что сулили нам золотые горы, поманывая в иные края? Все источилось, ушло в прах, и златые горы превратились в потухшее уголье, источающее лишь кислый запах гари, иль убежало, торопясь, за горизонт. А нам, вот, догоняй на перекладных! Эх, если бы каждый из нас не стремился из своего дома на волю с какой-то замороженностью, с замрелыми пустыми глазами уставясь на окоем, а укоренился бы на родимой отчине, то и русская земля была бы обихожена, обмилована и не имела бы нынче вид нищенки-кусошницы.

В конце апреля дети уже с нетерпением ждут вешницы, когда Мезень пробудится от спячки, подымет уже посеревшие, сизые в промоинах покрова, и вода, томившаяся в неволе долгую зиму, незаметно подточит запруды, заподымается, покряхтывая и похрустывая, разминая окоченелое тело, сбрасывая обветшавшую рубаху; а после-то и давай она шириться во все концы поднебесного мира, поначалу робко, нерешительно затапливая промоины и шары, овражцы и калтусины, и вот в одну паркую ночь как-то вдруг разольется во все луга, подкатит и под наш городок, на своем пути подтапливая деревеньки, что с умыслом встали когда-то о край реки на низких бережинах.

Днем половодье торжественно и спокойно, льды сплавляются к морю чинно, замороженно по едва погудывающую небесную музыку сопелок, накр и дуделок, плывут, как брачующиеся лебеди, скашивая диковатый взгляд на свое отражение в воде, а гладь реки, будто стеклянная, недвижимая, и в этих призатуманенных легким дыханием зеркалах покоятся бело-яровые пуховые облачки, и полузатопленные пониклые деревья, и розовые берега, и лишь по трепетливой дрожи вынырывающего из быстрины гибкого ивняка можно уловить стремительность, беспощадность и гордоватость неумной вешней воды, мчащейся к Белому морю.

Эта стихия воды, неохват и неоглядь, неподвластная человеку разумению, невольно притягивает к себе мещан, и кто бы в эти дни куда бы ни шел, как бы ни был занят неотложным делом, но все равно выхватит минуточку, чтобы заулками выйти на угор, дохнуть хмельного духу, омыть лицо влажным, щекочущим ветерком с реки и тут же деловито присмотреться к разливу. А по реке-то кроме мусора, сенных одоньев с лугов, разлапистых выворотней несет и елушник — строевой лес с катищ, да и топляк нет-нет да и вынырнет из воды, как любопытный тюлень, показывая лоснящуюся морду.

И тут какой-то мезенский мужичонко вдруг спохватится, что напрасно теряет время, и воровато пооглянувшись, нет ли близь местных властей, споро спихнет карбасишко, где лежит уже загодя приготовленный круг пеньковой веревки и связка кованых пробоев, и споро выгребет на струю, догонит уплывающее в море бревно, загонит топором железное ухо, просунет ужище и, зачалив поживу, давай скорее вертаться, закодолит на берегу добычу, и снова на охоту. И все тут опамтуются, засуетятся словно бы знак им дан, что не зевай, не лови ворон, путина началась, и с этого дня впрягайся, поморянин, в новую лямку, чтобы без роздыху изо дня на день, пока стоит под угором высокая вода, напромышлять лесу, разделить на чурки и поскорее «оттартать» на свое дворище, подальше от чужих глаз. А колченогие и косорукие, вернувшиеся с войны, у кого в заводе нет лодчонки, бродят с багром вдоль реки, черпая через голяшки худыми поршнями, как-то скоро разделив длинный берег на паи, чтобы не завелось вздору, ловят случайное бревнышко, притиснутое течением к урезу воды и выкатывают повыше, чтобы не унесло. Кому залучилась пожива в тенеты — и тому нечаянная радость...

Эх, кто бы знал, какое это лихо на северах — дрова, эта забота — наиглавнейшая; весь отпуск на них уплетает добрый мужик, чтобы поставить на заулке костры; по заготовленным поленицам во дворе и о хозяине судят, каков он, — урядлив иль лентяй, так себе, спустя рукава человечешко... Любая вдовица, идя переулком, невольно бросит взгляд за прясла и, увидев приосмугленные солнцем березовые дрова, уставленные в сажени, обязательно протяжно вздохнет с невольной завистью и с мыслью, а за что ее-то, несчастную, так Бог покарал. За мужиком-то, как за крепостью, никакая беда не собьет с ног. Ведают, сердешные, что без истопки в долгую обжорную зиму и на печке не спасешься, околеешь, очокуришься; у кого лошаденка под рукою — тем меньше заботы, можно податься через болота в дальние борки и там навалить березы. Но у кого нет сивки-бурки, тем придется

тащиться с чунками в калтусины и, елозя по пояс в снегу, рубить ольховник и корявый ивняк, а с трудом увязав на санки эту непокорную грудку растопыренных, неукладистых кривулин, тащиться по раскатам промороженной до льда иль переметенной снежными сувоями дороги, проклиная густую житуху. А вдовицам особенно не сладко; бредет, изгорбясь, такая женочка, увязанная по самые брови серым полушалком, с трудом перебирает заочневшими ножонками, упираясь грудью в смерзшуюся шлею, и слезы сами собою «кап-кап», застывают соленым виноградьем на застиранной фуфайчонке и в углах горестно приопущенного рта. А дыхание тяжелое, натужное, с хрипом, как у запаленной, заезженной лошаденки. И я, тщедушный, колготюсь в ляжке изо всех силенок, и заглядывая матери в глаза сквозь слипшиеся закуржавленные ресницы, не нахожу в них ничего, кроме горячей тьмы, и не знаю, как утешить...

А ввечеру вдруг забусит сверху, давай кропить мелким сеевом, и тот дождь-ситничек, обложивши мир, как бы принакрыв его серыми марлевыми покровами, делает его особенно своим. Такая парная погода скоро съедает остатки снега, делает его неживым и даже теплым, похожим на манную крупу, пересыпчатым, бродным, и со дна такой вязкой кулижки прыскает вода-студеница, обливая трубы штанишонок, чавкает под голыми ступнями земля, еще не проснувшаяся, знобкая. Пока не пришла пора светлых ночей, когда и читать можно, не зажигая керосинового моргасика иль вонючего жирника, но и темь, уже не такая плотная, приотступает за таежные перевалы, за синие елушники; там, на границе неба, словно бы пробуют ковать вышние кузнецы, ворочая щипцами на наковаленке темно-сизый брус, и от него расходятся, потухая, разбежистые крылья желтого окраса, разлетаются малиновые брызги, отражаясь в дремотной воде разлива.

Это наступает время сорванцов; в каждом околотке свой табунок. Не помню, был—нет в нашем верхнем конце вожак, уличный заводила, пригрубый сердцем мальчишка, но смекалистый, себе на уме, что ноздрею угрозливо пыхает при всякой остратке со стороны. Давно ли, кажется, война миновала, но жесточь ее, ее суровые правила, так схожие с арестантскими, нас не коснулись, как и не попало в поморье на Мезень тюремных привычек, той липкой грязцы, что обязательно существует в лагерных поселениях, где без пахана, без коновода, наверное, не обойтись, — так уж составилась веками тот замкнутый обиход спрятанной за решетки стаи.

Курили мы? — да; вытряхнув на газетный лоскут табачок из подобранных «бычков», иль закрутив из украденной у ма-

тери махорки (хранилась в доме клопов травить) козью ногу, похожую на самоварную трубу, и пустив ее по кругу, иль намяв сушеного моха и сенной трухи, — ловили блаженных минут. Тут главное форс показать, так глубоко затануться махрою, чтобы, задерживая в себе струю, призакрыв глаза, на одном долгом вдохе прохрипеть по слогам: «Ап-те-ка», и лишь потом выпустить клуб горького дыма. И это считалось ребячьим геройством, неким посвящением в уличную дружину. Характер вылепливался, как пчелиные соты, из множества мелких, в общем-то не примечательных вроде бы поступков, может, и негодных для воспитания доброго человека, но каждый из них давал повода мальчишке погордиться собою, выделиться из табунка: далеко заплыл, глубоко нырнул, насобирал в лесу больше всех грибов-ягод, наловил рыбы на реке, подстрелил птицу, быстрее всех пробежал на лыжах, натаскал с чужого огорода репы, заполз за колосками на колхозное поле, проскакал на коне, сломя голову, заработал на сенокосе больше всех трудодней, сплавал на карбасе с отцом в море по камбалы иль за дровами, вытесал топорнице, прыгнул с крыши и т.д. Всех возможностей показать себя и не перечесать. Но учеба в этот разряд не попадала, о ней на воле старались не говорить, она была сущим наказанием; мир грамоты с его казенным распорядком, дисциплиной, муштрою, «долбежкой» унылых книг никак не совпадал с природою, с ее рассветами и закатами, невольно замыкался в стенах школы и к улице не приставал никаким боком... Еще ценилось, например, кто изощреннее матюкнется, дальше цвиркнет слюною через губу, иль прицельнее кинет битую в лунку, иль больше выигрывает денег в пристенок. Прилежность к урокам была несовместима с улицей, невольно отодвигала ребенка от природы, воздвигала стену отчужденности и неприязни. Мать-земля требовала постоянного внимания, неотступной сыновьей привязки, и потому отнимала все время, которого всегда не хватало мальчишке.

Мать спрашивает с подозрением, видя, что я сдираю с гвоздя залатанную шкуренку и нахлобучиваю кроличью шапенку:

— Ты куда опять собрался?

— Да так... Пойду побегаю.

— Какая беготня, на ночь глядя? — запахивает на окнах занавески с подзорами, сквозь которые сочится серая муть. — Только обувку трепать. Не напасешься на тебя, — мать с тоскою обегает взглядом унылое бедное житьишко, и ни на чем не задерживается ее взгляд.

В ночь ей, телефонистке, надо идти на службу; она отодвигает занавеску на стене, где висит темно-синяя форма с пет-

лицами. Я, переминаясь, с усердием вглядываюсь в босые ноги, будто норовлю высмотреть в них что-то необычное, забавно перебираю пальцами, потом осторожно, плутовски, стараясь не шуметь, выискалываю на крыльцо; ветер с воли подбивает меня под лопатки и несет через улицу в сумеречные поля, где серыми заплатами лежит водянистый снег.

Мать выскакивает следом, простоволосая, с обвисшими полами кофтенки, какое-то время еще бежит, потрясая ремнем, а запыхавшись, останавливается и запаленно кричит вдогон:

— Вернись!.. Я кому сказала, паразит. Куда босой-то?.. Куда?..

В надрывном голосе слышны слезы, я невольно застопориваю, оборачиваюсь, меня раздрает внутри надвое, нет, не страх, а что-то другое, — жалость к матери и воля, что влажно дышит мне в затылок, как громадный мохнатый зверь. И этот ласковый зверь побарывает во мне всякую опаску перед грядущим наказанием... Это все случится «еще когда-то», очертания наказания туманны, через час мать уйдет на почту на всю ночь, а «потом и суп с котом...» Снег хрумкает под пятками, отскакивает лепешками, как от лошадиных копыт, и только ветер свистит в ушах...

— Во-ло-дя, вернись! — вопит мать на весь околоток. — Утонешь, скотина, домой можешь не приходиться!

Вот этот вроде бы нелепый возглас до сих пор стоит в ушах...

Через вязкое польцо по рыхлым снежным полянам выбегаю на угор, принакрытый подвяленной летошной травой, словно бы толстые выбеленные войлоки настланы. Сейчас надо попрыгать, притерпеться к наступившей за зиму земле. Бросаю пальтошонку под ноги, перетаптываюсь по одежке, а глаза тем временем по-охотничьи, напряженно рыскают по сумеречной воде, приступившей к изгороди, словно бы ищут потерю. С разлива то наносит холодом, как из погреба, то вдруг наплывает теплая струя, будто кто влажно, протяжно дохнул в лицо, радый твоему приходу, — важливый, добродушный, грузными плечами под небосвод, с непролазной чащею волосни, разлегшийся во всю ширь весенней реки, как на постели. Лды уже пронесло в море, иль посадило на мели, и они тускло светятся пятнистыми боками, как утомленные коровы. Им с месяц, поди, лежать на поскотине, потиху изживаясь до белесой плесени, истекая водой-снежницей. Полузатопленные кусты обвесило старой травичкой с пустошей и болот, на каждой ветке болтается своя сивая борода, торопливо купается в стремительной воде, словно бы лесовые человечки, спасаясь от водополя, зовут меня на

помощь. В той стороне заливает чернотой, там мрак копит-ся, и только пригнувшись, можно увидеть, как зеркально, с пролысинами блестит вода, несясь во весь опор. Ага...! А что там? От растопыренной ветки легко оттолкнулась луговая крыса, и, оставляя за собою длинные усы, настороженно поводя ушами, наладилась в берег. Она плывет, не чуя смерти, не видя засады, и в тот же миг весь берег словно бы оживает, как бы из неведомого схорона, из самой матери-земли прорастают человечки с хвостягами и палками, и каждый, уставя дульца глаз, замороженно следит за зверушкой, будто примагничивается к себе. И в моих руках обломок старой жердины, я чувствую, как все напрягается во мне каждой жилкой, каждым суставчиком, это оживает охотник-промышленник, добытчик и кормилец, а ночная вылазка к реке уже не просто ребячья забава, но взрослое и нужное дело. Я вижу усатую мордочку, взъерошенный мокрый загривок, бусинки испуганных глаз, я выцеливаю добычу, с яростью, навскидку один батожиной, будто предо мною таежный зверь и мне на один удар надо испроломить его голову; сноп брызг окропляет лицо, я невольно запруживаю глаза... Ах-ах, а где же добыча моя?! В груди становится парко, я торопливо шарю вокруг растерянным взглядом, но вижу кружева растревоженной воды с пролысинами лунного света и зыбкие черные разводья. И тут же справа раздались частые хлопки, будто бабы-портнойницы бьют вальком по белью, кто-то счастливо засмеялся, удовлетворенный добычей. И снова все стихло у реки, затаилось, как бы ушло в норы, в засады. Я представил, как опростоволосился, как мой промысел исчезает в чьем-то кармане, — и на миг зависть сменилась невыносимой горечью потраты, но вскоре и это чувство досады перетерлось азартом охоты.

Босиком я бегал до десятого класса и никогда не болел простудой. Потом без обувки ходить показалось зазорно, пришлось надеть ботинки. И в то же лето я заболел, слег в июльскую жару от жестокой простуды, зная, где-то просквозило. Температура через два дня ушла вместе с горячкою сновидений, но я с неделю, наверное, валялся в постели с необъяснимой тоскою, чувством, досель неведомым мне; еда казалась отвратительной, жизнь — странной и ненужной; я опустошенно вглядывался в разводья на потолке, в потеки, трещины и сучки, отыскивая в них какую-то правду, которую прежде зачем-то скрывали от меня, а тут она вдруг явилась пред очии в мучительной непререкаемой определенности: впереди ждет мрак, ничто, пустота; будут мальчишки попрежнему бегать по лугам, шляться в лес, ходить в кино, а

меня не будет. Последнее отчего-то больше всего и огорчало: будут мужики сдержанно покашливать в темном зале, наискивая в кармане пачку «Прибоя», а жонки шикать на «куряк», будут девчонки подвизгивать на задней скамье под квадратным окошечком в стене, откуда вылетают в пыльном голубом луче невидимые пока картиннки, а парни подхихивать, когда на экране зайдутся в поцелуе нездешние герои. А меня не будет, да-да, не будет. И ничего не изменится в мире, не нарушится ход его в каждой мелочи, лишь не станет меня...

Я, истончаясь, как бы уплывал в липкие простыни, превращался в стену, потом в тончайшую пленку, очертания бывшего себя, потом в ничто. Я вздыхал тяжело, приподнимался через силу, чтобы разрушить наваждение, услышать ток крови. Тягуче скрипела пружинная кровать, раздраженно подходила к постели мать, щупала лоб. Ладонь была шершавая от стирки, как терка...

Однажды, не сдержавшись, жестко приказала:

— Хватит валяться. Помереть решил?.. Если хочешь — помирай.

Голос показался таким грубым, что я от обиды закрыл глаза; неожиданно выкатилась слеза, может быть, первая слеза в жизни, потому что прежде, как помнил себя, никогда не плакал. Так люто я вдруг себя зажалел... Мне стало горько, что мать не понимает моих тайных мыслей, моих страхов, что видит меня, быть может, в последний раз, а говорит так холодно, так беспощадно, будто чужому. Мать, наверное, не заметила моих слез:

— А ну вставай... Разлегся, как барин. Поди на гряды картошку окучивать. Сегодня гряда, завтра гряда. Приду с работы — проверю...

С этими словами сдернула с меня одеяло, я зябко вздрогнул, опустил на пол худые ножонки: голова вскружилась, и узкие ступни, странно побелевшие за зиму, картофельного цвета, словно бы от ватной куклы, увиделись где-то далеко внизу в плывучем мареве, отдельно от тела. Я встал на пол, придерживаясь за никелированную дужку кровати. Меня качнуло, повело на сторону, на лоб высыпала холодная испарина. Я боялся отцепиться от кровати и тупо, почти ненавидя, наблюдал, как мать прибирает перед зеркалом голову, подсовывает валик, начесывает в копешку волосы на затылке, натуго стягивая пряди на висках, потом наводит черным карандашом брови, крашивает помадой губы, затеняя горько приопущенные углы рта, обильно посыпает щеки желтоватой пудрой. И меж тем искося в зеркало подсматривает за

недорослем: наверное, видит мое невзрачное тельцо, узенькие плечи, застиранную майчонку, слезшую с плеча, лохматую красивую головенку. Я решил унырнуть обратно в уютную намятую постелю, похожую на беличье гайно, на берложку, на скрытную, куда можно затаиться от всех. Мать предупредила мое намерение, не оборачиваясь, скрипуче прикрикнула:

— Я что тебе сказала!.. Не понял? Чтоб сделано было... И Ваську из сада приведи.

И ушла. Я выполз на крыльцо. На воле было, как в натопленной бане. На глянцевои небе висело раскаленное солнце. Глаза слепило. Привыкая, посидел на теплой ступеньке, шевеля растопыренными пальцами. Стало дурно, к горлу подкатила тошнота, показалось, что умираю. И от внезапного испуга, что скоро меня не будет, и все станут рыдать и убиваться по мне, внутри меня странно все сшевелилось и, пока незаметно, позвало к жизни: костька прильнула к костьке, жилка к жилке, суставчик к суставчику. С этим вроде бы несоместимым чувством страха перед грядущим небытием и злорадством над ближними я отыскал мотыгу и потащился в огород. Картофельник показался огромным и беспощадным ко мне, и я сразу возненавидел его. Весь мир ополчился против меня в своей непонятной жажде столкнуть меня в могильную ямку. Чего такого худого я сделал людям, чтобы они наслали для меня смертной муки? Разве мне одолеть когда-нибудь материн наказ? Разве хватит сил ископытить гряду, замежек которой теряется в туманной дали, аж у жердевых покосившихся прясел, обросших развесистыми ивняками и корявым болотным березняком? Да ни в жизнь...

(Боже мой! — вспоминаю я нынче уже с другим умом, — с каким неимоверным трудом мать отбирала у болота эти две тощие полоски земли, по пояс зарываясь в торфы, рыла канавы, пытаясь отвести воду, только чтобы из последних сил засадить гряду крохотными картофельными обрезками, этой сморщенной кожицей, сквозь которую едва просвечивали белесые и синеватые рожки отростков, — сама картошка была уже съедена. И вся натуга эта. Все страдания вдовы лишь для того, чтобы вытянуть нас, ибо в детях оставался весь смысл ее земного существования... Сама умри, но дай ребятишкам жизни... И неужели, — не верилось мне тогда, — что из этих вот серых бесплотных шкурок, в которых плотской плодильной силы-то совсем не осталось, по осени вырастет рассыпчатая картошка, мы сварим ее в чугунике прямо в мундире и, горячую, станем нетерпеливо выхватывать из горшка, обжигаясь перекачивать в ладонях, а первая шкур-

ка настолько нежная, лохмотья кожеры столь беззащитные, сладкие и сытные, что и чистить нет никакой нужды. Щепоть крупной серой соли на столе, крохотная краюшка мякинистого хлеба и потрескавшаяся картофелина... Но сколько в этой еде было удовольствия. Ну прямо пир Богов!)

Картошка уже кучерявилась, надо было срочно ее окучить на днях, пока не изрослась. Я прошел рядок. С трудом мотыжа землю. Обливаясь потом, со стоном повалился на травяной замежек; все мое обиженное существо восставало против этого урока, похожего на мучительную пытку. Как же ненавидит меня мать, — вопило во мне, — как же ей хочется сжить меня со света, если больного, едва живого сына выдрала из постели. Какая-то картошка ей дороже моей жизни... Моя рука вяло безвольно ползала по траве, пальцы наткнулись на кашку, бездумно сорвали мохнатую розовую головку и, вырывая по тоненькой граммофонной трубочке, я стал высасывать из хоботка нектар. Первые капельки показались солеными, словно бы цветок окунули в мои слезы, потом живая сладкая водичка помазала слегка небо... (Господи, нынче-то вспоминаю я, — как мы мечтали тогда о сахаре, где только не искали, чтобы утолить моления детской души по сладкому, как высшему земному наслаждению: какие там шоколадки, мороженые и сгущенки, и дорогие «конфеты» в серебряных обертках, да хоть бы тягучей ириской иль слипшейся подушечкой-монпасье из магазинной бочки неожиданно одарила бабушка).

И вдруг как укололо: «Лежень, я, лежень. Ну, чего я лежу?.. Сколько ни валяйся, ничего доброго не высмотришь в небе, там все на своем месте, без изъяну, но и на огороде-то ничего не прибавится. Мать вернется с работы уставшая, а тут... А солнце-то уже припустилось на воробьиный поскок. Иль мне заленилось лежать бездумно, иль устыдился я своей неработи, иль утратился грядущей свары, — но только во мне что-то необъяснимо стронулось, какое-то особенное усилие произошло в душе. Я поднялся и прошел борозду, потом, через силу, еще; пот ручьем хлынул из меня, заливая глаза, будто я весь состоял из одной только воды иль попал под внезапный ливень, голова неожиданно стала светлой, легкой. Какая-то неведомая сила вела меня с непонятным упорством, уже бессмысленного, от плетня к плетню, от рядка к рядку, к дальнему замезку, под кудрявые кусты ивняка, в благословенную тень, где темным облачком висел гнус. Не помню, как прикончил урок, но приползши в комнатенку, я повалился в изнеможении на кровать и будто пропал для всех... Очнулся ночью, все спали, белая ночь стояла на дворе и, ка-

залось, что все в мире погрузилось в волшебное оцепенение; мать спала, повернувшись лицом к порогу, молодая, красивая, светло-русые волосы разметались по подушке, лямка сорочки скатилась с обнаженного плеча, казалось, что сквозь неплотно задернутые ресницы мать участливо подглядывает за мною и, задавливая невольную улыбку, ласково пришептывает: «Ну что, дурачок... Умирать-то расхотелось?»

Утром я поднялся совершенно здоровым.

Не стоит обманываться, что сразу же, в ту белую северную ночь дошел до меня весь смысл материнского урока. Много лет понадобилось, чтобы эта народная наука, показавшаяся мне тогда жестокосердной пыткой, открылась нравоучительной стороною, чтобы я наконец-то понял целительную способность труда и поверил до конца дней, что человек является на белый свет не для наслаждений, но для бесконечного труда. Пока человек работает — он жив. «Терпение и труд все перетрут». «Только в труде найдешь ты радость свою». «Трудишься, — наставляли послушников монахи, — и жизнь твоя протечет незаметно». Если бы мать тогда не употребила надо мною силу, если бы не настояла на своем, преодолев сердечную жалость, и позволила бы мне и дальше растекаться в постели изнемогающей плотью, уже находящей истинную радость только в покое, то, как знать, я, наверное, и не поднялся бы.

8

Призабылось, с какими же чувствами и мыслями отправился я в Париж на конференцию, даже смысл нашей поездки померк, призатуманился во времени. Помню лишь, как над улицей Герцена возле писательского клуба пронизывающий майский ветер полощет, выворачивает изнанкою длинное красное полотнище, натянутое на веревках, с призывом более чем странным: «Революция продолжается!» По радио подгуживают настойчиво: «Есть у революции начало, нет у революции конца...» Поразило, что во Франции толмачили о том же, словно бы Париж и Москва связаны тайным духоводом, по которому пульсируют мысли, чувства, желания и надежды сообщников заговора.

Залез в дневники. Странно, но о Париже — ни единого слова, хоть бы намек какой. Будто и не бывал там. Но много тягостней, какой-то неизбывной грусти о родных северах: «На реке холод. Руки ознобит, до кости пробьет всего. Столоначальник и горожанин, сытый продлавною, кто добывает себе рыбки с «золотого крючка», навряд ли поймут когда, с

какой тягостью достается поморянину рыбий хвост. А куда без него? Я живу лишь неделю в деревне Сояне, но что варить? В магазине хлеб да сахар, никакого приварка, крестьянин беспризорен, никому не нужен, сиротой на родине, и вся жизнь его под окриком и запретом. Сколько же сверху неправды, лжи и непонимания сущности человеческого бытия. Как-то замкнулись все во своем, отодвинулись, живут совсем чужие, не стремясь понять ближнего и проникнуться его заботой... Сто восемьдесят километров по реке, отхлестали с другом спиннингами воду, руки отваливаются. Добыли всего две рыбины. У реки можно и с голоду помереть... Хозяйева нужны. Чтобы деревня — хозяин своей реки и озер, и леса, и земли; мир, община, сам крестьянин только и могут распорядиться землею по ее назначению. Запретами лишь загоняем болезнь вглубь; характер становится подозрителен, уходит в прошлое открытость русской природы» (Сентябрь 86 года). Это деревенские впечатления.

А вот дневниковая запись свойства политического из тех же дней: «Еще год назад, впервые увидев на экране повенчанного на царствие Горбачева, я сказал: «Пришел шиш антихристов с метою на лбу». В любом государстве за этот лишь родовой знак никогда бы не выбрали подобного человека в лидеры. Уж больно явственна эта кровавая печать. Что же гадкого засекречено за нею? Я даже засомневался поначалу, — не сам ли антихрист явился в мир: обаятельная улыбка, обходитель, сладкоголос, уважлив, речист. И многие были в восторге, когда Горбачев посулил благ через полгода, потом через год, некоего земного рая. Он лжет, сказал я себе, выслушав несколько речей правителя. Человек без царя в голове, манекен с пластинкою внутри, на коей записана чужая программа действий, человек кошачьих манер и лисьих интриг. Иногда Горбачев оскаливается, и виден внутри жесткий, упрямый, своевольный помпадур, не останавливающийся ни перед чем ради своего умысла и замысла».

Да, в Париже настойчиво толмачили о революции в России, но с какой-то легкой ухмылкой, с небрежностью в словах, словно бы это было для них каждодневным, обычным делом, — устраивать социальные потрясения. Худосочные очкастые «вбьюноши» внушали нам, что Россия в застое, погрузилась в болотину, от нее миазмы на всю Европу, России нужен свежий ветер, который бы перешерстил, выворотил бы изнанкою сонное царство; что только свежие дрожжи дадут движение стоялому тесту, и тогда выпечется добрый каравай.

Откуда эта необязательность речей с зашифрованным внутренним подтекстом, этот дерзкий кукиш в кармане, ко-

торый выпирал из «спинджака», наподобие револьверного дула каждый раз. Когда кто-то из нашей делегации начинал всерьез толковать о величии России, ее историческом божественном предназначении, о ее глубинных смыслах, обязательно вспоминая Тютчевское: «Умом Россию не понять...» В глазах хозяев невольно прочитывалось: «Понимать Россию не обязательно и смешно, а верить — бессмысленно и глупо». Меня оскорбила, нет, скорее удивила эта беззастенчивость, эта самоуверенность, с какою вдруг начали наставлять, словно бы для того и вытащили нас, дремучих, в Париж, будто нам не хватает своих учителей, своих мучительных уроков, которые мы извлекли из русской истории. Мы собирались поделиться своим опытом, но нас не хотели слышать из-за своей фанаберии.

«...Нас весь двадцатый век куда-то гонят, Россия надсадилась, Россия устала догонять, — примерно так говорил я. — Для нас смертельно торопиться, гибельно догонять кого-то, подражать кому-то, превращаясь в чужебеса. «Наши одежды не по им, их одежды не по нас. Каждый своей верой живет», — учили древние. Не надо бояться медленной, оглядливой поступи. Черепаха обставит в конце концов самого быстрого бегуна, каковой сыщется в мире. Нас уверяют, что времени мало остается, что мы отстанем от передовых стран и будем в вечном хвосте. Какого времени мало осталось, для чего? Если скоро закончится живое время и придет конец света, то настала пора сосредоточиться в своей душе и смиренно готовиться к судному Дню, сосчитывая грехи. Ежели живого времени еще много, а глубину этого источника знает лишь Бог, тогда тем более надо двигаться с осторожностью, неторопливо, ощупью, приглядчиво, а не бегом и в растопырку, вглядываясь в исторический опыт наших предков, кто уже ушел вперед нас, в вечность. Россия — не Европа и не Евразия. Россия — это огромный материк, которому нет подобия в мире, особая северная земля, выковавшая россов, русов — особый сорт людей с необычным составом души. И Европа лишь придаток, пристройка к нему, слепая кишка великой России. Россия в силу судьбы и природы не может двигаться мерной поступью, но лишь рывками, толчками. И вот этого-то никто и не хочет понимать, примеряя русский сюртук на свои щуплые плечи и полагая наши мысли об особости русских за большую кривизну ума. Русским не выжить без крепкого государства; без него нация растечется по огромным пространствам и превратится в плесень. И потому нам опасно, даже страшно и губительно раскрываться настежь, распахивать ворота, чтобы каждый иноземник заезжал без

спроса в наш двор и нагло перетряхивал, вывозил наше добро. Пусть будет всегда открыто гостевое крыльцо: «Милости просим, гости дорогие, всегда рады вам»... Но только разумный изоляционизм поможет нам собраться в кулак. А нас снова толкают в революцию...

Хватит экспортировать смуты, переделки и перетряски. В начале века уже случилось, — притащили из Европы марксистскую революцию, посчитав русских за тех дураков, над которыми, глумясь, можно ставить великие эксперименты. Спасибо, до сих пор аукается, расплеваться не можем. А вы, французы, разве не познали на своих плечах революционную гибельную тяжкую ношу? Ваша Великая революция семьсот восемьдесят девятого года унесла с собою цвет нации, уничтожила четверть населения, погрузила всю Европу в гибельный омут войны, извратила характер народа, вынесла со дна на поверхность всякий мусор и пену. И вот, презрев личный опыт, вы снова нам предлагаете кровь и горе...»

Примерно в таком тоне было мое выступление. Казалось бы, коммунисты из Союза должны возмутиться, утыкивать меня в боки, обрывать, дескать, чего ты мелешь, милоч, не белены ли объелся, позабыл, чему тебя консультировали на комиссии, провозжая за рубеж? Но поднялись-то на дыбки хозяева: «Мы в знак протеста покидаем это заседание. Мы не позволим, чтобы пинали Великую французскую революцию!» Вдруг выяснилось, что французы за истинного Ленина, за власть Советов, но против тирана Сталина. Дался им этот Сталин (спасший их от Гитлера), будто он съел их мясо и выпил их молоко. Воистину, «заставь дурака молиться, он и лоб расшибет». Позабыли, наивные, свою анархию, гильотину, маньяков, реки крови, баррикады, трупы на улицах, нищету океанную, голодомор, слезы людские и сплошную голь. История ничему не учит. А может, сидели с нами за столом правнуки революционных ростовщиков, кого беды обошли стороною? Поначалу мы оторопели, вызов-то был неожиданен и тем более непонятен; ладно бы за столом с французской стороны сидели комиссары в кожанках и пыльных шлемах из Страны Советов; тех, как ни корми, а они все в «Капитал» Маркса смотрят. Да-а, братцы мои, «все смешалось в доме Болконских». Какой-то чин из наших принял смущенно и льстиво увещевать, дескать, вы не так, господа-товарищи, поняли выступление, переводчик неточно перевел. Наконец-то смирили, утишили французов, переняли всю вину на себя, утешили гордоватых, успокоили ломоватых. Объявили перерыв. Теперь на меня никто не глядел, зал как-то мигом опустел, и я остался один, разгоряченный, с пылающими щеками, с плен-

кой на глазах, как у щени, и в чем-то бесконечно виноватый... Да и то, куда вылез с откровениями? Ведь никто не тянул за язык, чтобы исповедоваться в стане врага, открывать истины.

Свести же, как оказалось, французы не исповедуют; это русские дураки и дурки носятся с нею (совестью), как с писаной торбой, и ставят ее выше всякой правды, кроме Божественной. А я вот сунулся со своим уставом да в чужой монастырь, укорял себя, остывая; постепенно мутная пелена спадала с глаз, и я стал хоть что-то видеть вокруг себя.

Тут-то и подошел ко мне представительный осанистый мужичина, видом православный батюшка. С окладистой русой бородою и серыми теплыми глазами. Лик его притягивал к себе, просил почтения, но я-то, увы, был внутренне «разобран», растерзан и готов был «кусать» всякого. Он представился, вроде бы, Вагиным (я сразу и позабыл фамилию), работником «Континента», пригласил безо всяких обиняков сотрудничать в журнале. Я был накален и не желал слышать доводов:

— Ваш журнал печатает лишь евреев-диссидентов, — отрезал я.

— Откуда вы знаете?

— Раз говорю, значит, знаю...

Даже в горячке я зачем-то хранил в уме, что человек напротив меня — из чужого, вражьего мира и с ним надо «держаться ушки на макушке». Слово бы весь Париж сейчас сбежался в эту залу, подглядывал из всех щелей, наставив микрофоны, чтобы завербовать меня, перетянуть на свою сторону. Перестройка и перессорка, перетруска и перетряска жестко встряхивали страну, предсказывая грядущее землетрясение; но чем больше булгачили «диссиденты», вопили с каждого перекрестка, возбуждая к себе жалость, тем сильнее русские наполнялись к Западу враждебностью, видя в той стороне дирижера наших нелепых кладбищенских попрыгунчиков, пугающих смиренного прохожего. Считалось в народе: подпасть под диссидентство — это навсегда утратить русское лицо.

Эта боязнь старинная, отсюда, из этих страхов, возникли на Руси мифы о дьяволе-фармазоне; продавший фармазону получает вскорости всяческий успех, деньги и власть, но по смерти взамен теряет православную душу свою... Оттого к диссидентам у нас было необъяснимое чувство брезгливости, как к людям корыстным, добивающимся сварой и криками какого-то своего тайного интереса.

— Вы ошибаетесь, — мягко поправил он, умиряя добрым тоном. — Вы, наверное, не читали... А у нас публикуются и русские писатели. Хотите, я вам дам с собою в гостиницу каталог наших изданий?

Это была тоненькая книжечка в мягкой обложке. В гостинице я перелистал синодик, и на следующий день, когда в зале мы снова остались одни, сказал:

— Я оказался прав... Из русских лишь Абрамов, Яшин, Солоухин.

Не странно ли, но именно трех искренних коммунистов, кто в ЦК партии всегда считался своим человеком, печатал «Континент», ловко используя их правдивые критики на своей стороне холодной войны.

Инакомыслие среди народов живет всегда, без него, разумного сомнения во всем, нет искры развития, нет духовной полноты, человеки остаются бессловесным покорным стадом; не нами заповедано — лишь в сомнении ты найдешь истину. Но трезвое инакомыслие, лишненное всякого своекорыстия и жульничества, не покушается на родовые заветы (даже мысленно не помышляет о подобном), оно неколебимо стоит на праотеческих заповедях, любви к отечеству и поклонению своему народу, почитая его великим. Диссидентство же, что приползло в Россию из Европы в конце восемнадцатого века, несло в себе самые отвратительные черты чужебесия и вульгарного низкопоклонства, опиралось на пренебрежение к матери—сырой земле и отвращения к церкви... Хотя нахваливать Запад и дивиться Европе во времена пресловутого гуманизма, душевной и телесной грязцы было чудно и дико, когда даже французское дворянство не имело обычая мыться, в головах под париками было безвыводно вшей, и потому, сияя бриллиантами и золотом, обнаруживая самые изысканные манеры, зная постоянно чесалась и, объевшись, портила воздух, словно бы бесы постоянно потешались для посмешки; при королевском дворе открыто предавались чревоугодию и любострастию, французский искусный разврат поселился не только в Париже, но и стал модным в других христианских странах, поколебав и там всяческий стыд и честь. Потом заработала гильотина, запели соловьи революции, масоны, рассуждая о свободе и равенстве, торопливо расчищали себе место во власти, сооружая пирамиду из неповинных голов. И этому надо было учиться России? — вольности вершить пороки, рубить головы королям, давать право и суд ростовщикам, осмеивать Христа, а простой народ, прикрываясь необходимостями революции, гнать на убой? Дух вольтеррианства и либеральных свобод для избранных на практике оказался смраднее свинарника, и даже государыня Екатерина, охочая до новин, скоро отвернулась от парижских вольных каменщиков с их сумасбродными сокрушительными идеями, однажды прозрев очами и

увидев в хитросплетениях масонов погибель российской земли. Еще в семнадцатом веке породу подобных людей, слепо поклоняющихся Западу, называли «хлебогубцами» и «чужебесами».

Вот почему я смотрел на русского иностранца, как на вербовщика чужой разведки, я уже был полон русского духа, со всех сторон на меня нацелились прощупывающие глаза; мне почудилось, что я один в стане врагов, готовых подкупить меня за мзду.

— А это что за тип? — указал я, заметив у выхода чернявого низкорослого человека, что, принагнувшись, будто бы завязывая ботинок, украдкой прислушивался к разговору.

— Это наш редактор... Хотите, мы вас пригласим читать лекции в Лондон? Нам нужен только ваш домашний адрес.

— Если хотите знать мой адрес, — отрезал я, — откройте справочник Союза писателей СССР, а он у вас есть. Там вы найдете все, что понадобится.

С этого разговора будто невидимая стена установилась между мною и делегацией, меня словно бы жалели, иль виноватились передо мною, отводя взгляд; строгий «наставник», невидимо наблюдающий за встречей во Франции, опечатал меня клеймом, как изгоя, отвергнутого из «цивилизованного» общества.

Быть может, человек приятной православной наружности хотел протянуть руку помощи, чтобы разомкнуть цепь нелюбви, а я не понял его? Чего теперь гадать... Но с того случая он больше не попадался на моем пути. Знать, Господь меня хранил... Я желал России добра и благоденствия, а отщепенцы, утеклцы и эмигранты всех мастей всячески наискивали ей худа, подкапывая лазы и мышинные переходы под свалявшейся ветошью перестройки.

9

Всякие решительные перемены в любом обществе начинаются с брожения и хаоса, броуновского движения выпавших из связки людей, когда каждый мечется сам по себе, в желании выжить, под чью-то власть подпасть, иль сорвать гешефта, пользуясь всеобщим смятением; ведь даже в такие тяжкие времена «кому-то война, а кому-то и мать родна»; человеки сыскивают друг друга по крови, по «запаху», по задаткам, по силе, по любви, по чувствам и мыслям, ибо в этой всеобщей растерянности самое насущное, — отыскать себе подпорку, державу, чтобы не потонуть под грузом беды...

Нация из-за безрассудных мечтаний, самодовольства и гордыни особенно беззащитных людей вдруг из пчелиного роя, связанного одной родовой задачей, превращается в миллионы растерянных особей, пытающихся найти свою «мамку», прильнуть к ней, густо облепить, отдать ей свои возможности, ибо человек так устроен природою, что ему надо обязательно пожертвовать собою, посвятить кому-то свои силы, свою судьбу. И вот постепенно в хаосе смятенных «мурашей» отыскивается свой атаманец, свой семейный водитель, свой родитель, теперь есть к кому приклониться, кому тащить хлебные крохи, создается своя «новая семья», занимающаяся первое время лишь тем, чтобы воздвигнуть свою оборону, выставить городки и клетки.

А ведь давно ли по России были открыты пути во все концы великой земли; езжай, родимый, куда душа попросит; помню, сколько голошенили, что народ русский попустился зря мотаться по стране, бездельно едет, куда глаз положил. Знать чуяли, что скоро край приступит русской воле, везде навалят засек, кругом встанут заставы, ростовщики и менялы, чиновники с печатью, таможенники за мздою, бандиты за головою, бесы за душою, — и перекроют все дороги. Осталось последнее: чтобы не потерялся случайно поднадзорный, не выбился из овечьего стада, не заплутал, не задумал что насупротив, — чип-клеймо в ухо. Надоел — пошлют смертельный сигнал на убывание за ненужность иль за строптивость. Иль прикажут сурово: если нет денег, то и не высовывайся, сиди, где родился; а коли даже дома не пригодился, то и помирай, не томи своим печальным видом душу успешным братанам Абрамовичу, Авену и Вексельбергу с «золотыми яйцами».

Все так и случилось...

И если охватить взглядом тех, кто «успел к столу», выписался в реальность, то это звенья одной цепи «семей» от районного чиновника и до самого Кремля, но меж каждой существует зазор, несмыкание, место для возможного раздора, метельного ветра, электрической искры. Но все же ловкие и удачливые, разглядевшие в шестерке грядущего туза и поставившие на него, сумели нарубить заплоты и выставить стены, куда изгою вход воспрещен. И оттого, что вся страна разделена на улы, загородки, «общаки» и «семьи», и вольные пути все перекрыты, а из каждой удачливой сытой скрытны смотрят в глазок с подозрением, завистью и злобою, выпуская через заплот ядовитые слухи, — то и возникает неминуемо мерзкое ощущение, что русская нация потухает, народ изредился, спился, пропал вовсе, рухнул окончательно, как таежная трухлявая выскеть, под власть мировому червию.

Ибо за стены «семьи» ропот с улицы доносится глухой, призывы невнятные, мольба туманная, и при том унынии и неверии в будущее отечества, которое раздувается кадилами добрыхотов и разносится раскаленным угольем во все углы земли, чтобы запустить красного петуха; — ну как тут не извернуться одинокому, кто не припал к нефтяной трубе, а живет на земле, как укрепиться духу православному? Значит, кто не угодил «в семью», — тот обречен, того Бог окончательно оставил? Ну, как дальше тянуться такому человеку без подпорки, без «общака», без мохнатой руки? Как победить все-силое уныние? Чтобы не выживать, дыша сквозь соломинку нищеты, не коротать с тоскою останние годы, а именно жить; ведь жили же наши матери-вдовы и калеки-фронтовики в мозглети лихолетий и пели песни, не искали счастья на дне стакана. Братцы мои, хоть бы чуток верить надо, что ничего у беса не получится, как бы ни ширился он властно на нашей земле: наступит праздник и на нашей улице. Вера горы сдвигает...

Стены лепят деревянные, глинобитные, железобетонные, кирпичные, саманные, чтобы отгородиться, но в конце концов люди со здоровой душой как-то находят перелазы и переходы из любой клетки, чтобы собраться в один груд, — лишь бы было желание.

Но куда страшнее стены невидимые, что воздвигаются до небес из душевного, духовного раздора, из обид и чванства, зависти и гордыни, — то эти переграды порою действительно непреодолимы, они замуровывают человека в своей жесточи; люди становятся глухими и слепыми, у них словно бы замирают внутри здоровые чувства, даже исчезает желание пробиться к сердцу соседа, чтобы снять недомолвки, иногда совершенно пустяковые, — такое вдруг возникает духовное неприятие, отвращение и ненависть к «другой семье» на всю оставшуюся жизнь, так каменеет нутро, — ни видеть не хочется, ни слышать, ни говорить, ни дышать одним воздухом.

Мне не забыть стену нашей боковушки — угловой комнаты в бабушкином доме, отделявшую от хозяйской половины...

Сам пятистенник стоял о самый край родного мезенского болота, незаметно переходящего в Малоземельскую тундру, та перетекала, уже за Печорою, в Большеземельскую тундру, которая сливалась с полуостровом Ямалом, где в древности стояла на семи ветрах Золотая Баба-Иомала — Великая Роженица — Мать—сыра земля и кочевали безголовые люди. Где-то не так уж и далеко (по северным меркам) от нашей избы по Ижме-реке хозяиновал в те годы злой колдун Яг-Морт, наверное, муж известной злыдни Бабы Яги, он же на-

сылыщик смерти, похищавший самых красивых девушек из чудских весей, пока-то храбрые юноши не забили осиновый кол в его грудь. В ту сторону в устье Оби за рухлядью в златокипящую Мангазею в прежние годы ходили мезенские мужики на утлых кочах, где вперевалку-вперетаску, где и водою средь льдов, терпя многую нужу и стужу, но интереса в тех смертельных наживах не теряя, почитай, лет двести. Госпо-ди-и, как давно это было! Но и будто вчера. Так странно, расплывчато, свиваясь в спирали, ведет себя время. Все минуло будто навсегда, но и все незабытно всплывает однажды из омута, и сквозь верхние пласты солнечной воды, как в волшебном зеркальце, мы видим картины давней жизни, какой-то уж слишком праздничной, чарующей, словно бы лишённой житейской надсады и бесконечной драмы, вековечной борьбы за хлеб наш насущный.

Болото начинается прямо под бабушкиными окнами в хозяйской половине, выходящими на южную сторону, и уже этими окнами та часть пятистенка отличается от нашей комнатухи; оттуда виден простор во все стороны света, в их комнаты уже с марта-протальника светит солнце, там живут дедушка — почтовый служащий, бабушка — почтарка и их младший сын, вернувшийся с войны с обмороженными ногами. Это совсем другой мир; там часто навещают гости, по субботам пекут пироги, и по всему жилью разносится такой густой живительный запах стряпни, который, кажется, поднимет и мертвого. Там в горнице растут под самый потолок фикусы с глянцевыми сине-зелеными листьями и чайные розы в кадцах, там пахнет кофеем, который бабушка заваривает в самоваре, ванилью и корицей под праздники, когда полуслепая хозяйка стряпает торты и жарит в сковороде слоенки. В ту половину порою приходят важные женщины со строгими лицами, в салопах и темных повойниках, мужики в камашах и с папиросками, там звенят стаканы с брагою, вопятся протяжные старинные бесконечные песни.

Но однажды бабушка совсем ослепла, дверь из нашей боковушки заколотили с той стороны, потом оклеили газетами, задвинули комодом, и уже ничто не стало напоминать прежней жизни; родственные чувства стали приутихать, пока совсем не завяли. С годами мы вроде бы и забыли, что когда-то в этой стене была дверь к бабе Нине. Теперь мы с невольной детской завистью прислушивались к победному гуду гармоники за стенкой, глухому гуденью голосов, принимахивались к душистым запахам пирожных и слоенок, ватрушек и кренделей, что удивительным образом находили невидимые проточины и норки, чтобы дразняще пробраться к нам. Победи-

тельный запах печеного-вареного никогда не обособляется в своем куту, но обязательно полоняет весь дом до самых глухих потаек и вырывается на улицу, чтобы и соседи, поведя носом, знали, что здесь заведена стряпня. А детское воображение тем временем рисовало самые чудесные сладостные картины, которых не случается в обычной затрапезной жизни.

У нас обычно пахло вареной картошкой в мундире, иногда блинами, заведенными на воде, иль печеной кислой камбалой печерского засола, а дух-то от нее злой, ествяный. Захватишь рыбки из ладки щепотку, а полный рот нажущешь; но что-то похожее на праздник случалось и у нас, когда приезжала летами сестра с учебы из таинственного города Архангельска, иль навещал из деревни Жердь дудушко Семен с прокуренными до рыжины, наостренными усами, и тогда печальное материно лицо оживлялось, в нем появлялось что-то девичье, особенно когда с дочерью они собирались в кино, навелили на себя марафету, завивали волосы на горячий гвоздь, и тогда даже запах паленой шерсти мне казался особенным и вкусным.

Весной тундра превращалась в пестрый мохнатый ковер местами и в непролазь, когда распускался дурман-багульник, по кочкам ползла повитель сихи с нежными крохотными сиреневыми шишечками, вставали лазоревые султаны кипрея, по топким моховинам меж озер осыпалась перламутровыми лепестками морошка так густо и бело, точно снег неожиданно выпал. Дух в округе стоял такой густой, малиновый и медвяный, что казалось, подкинь топор и он повиснет. К концу июля каждая морошина на своем крохотном деревце наливалась соками, грудела, малиновела щеками, точно деревенская девка на выданье, потом надевалась в янтарь, зазывала народ к себе со всей округи с корзинами и палагушками, и с той поры весь круговорот мезенской жизни как бы перемещался на болотные выпасы; мы, ребяташки, целый день шастали по ближнему кочкарнику, из-за которого виднелись надежные домашние крыши, и заполняли бутылки всякой ягодой (сихой, голубелью, черникой, морошкой), толкли оскобленным прутиком и пили из горлышка сок, вытряхивали сладкое месиво в постоянно голодный, ненасытный клювик свой, чтобы с опустевшей склянкой снова спешить на те же кочки, в те же моховины, уже обтопанные до того, что и сыскать-то ничего вроде бы нельзя; вот так же курица в тысячный раз толчется по заулку и долбит-долбит, сердешная, неустанным клювом невидимые порошокки еды в топтун-траве, чтобы набить зоб, и ведь всякий раз находит чего-то съестного.

В даль болота ходили взрослые, туда, где маревили озера, плавали ленивые лебеди и хлопьями рваной бумаги сполошливо метались чайки-моевки; в той стороне всегда копился сизый иль сиреневый туманец, похожий на стену, и бабы-ягодницы, навестивши морощечные палестины, толковали меж собой:

— Нонеча к первой стене ухвостала за морошкой-то... Наткнулась на палестину. Как насыпано. Вся утолклась, так жалко бросать зрелую ягоду. Сок-то из короба ручьем хлещет.

А другая:

— А меня ко второй стене черт унес, дуру эдакую. Едва назад домой притянулась, все жилы стянуло к ж... Пришла, да тут же пала, как пропадина, кусок в рот не полез. Надо де было так упетаться.

Когда заколочена была дверь на бабушкину сторону, я не помню. Ход в другую половину дома хранился лишь в воспоминаниях, но он ведь действительно когда-то был, в ту дверь меня бабушка унесла к себе, когда я лежал в кровати, а мама была на работе. Ей, военной вдове, было тяжело тянуть троих детей, и бабушка, видя такую невзгоду невестки, решила младшенького, меня, взять на прокорм. Мама поревела, и, наверное, особенно биться не стала за меня, объяснившись со свекровью, и скоро смирилась. Я вырос у одноглазой бабушки Нины, проплакавшей свое зрение по сыну Володе (моему отцу), а в боковушку иногда прихаживал, как в гости, и дальше порога не заступал, комкая в горсти занавеску на дверях. Помню, как однажды зимою приехал из деревни дедушко Семен, веселый, захмеленный, пропахший табачиной, в просторной оленьей малице с куколем; я смотрел на него, как замороженный, на его красивое румяное от морозца лицо с усами в рыжих подпалинах, на веселые голубые глаза, на русые кудерьшки по-над висками, что-то простецкое и вместе с тем сказочное было в его облике. Вот вынырнул он из просторного балахона и принялся пообщипывать полосатый пиджачишко, весь обваленный оленьим волосом, потом порылся под охалкой сена, добыл из саней буханку желтого соевого хлеба с зажарной крышкой, будто облитой шоколадом. И с этим гостинцем пошел в дом. Я отправился следом и, остановившись у порога, замороженно следил, глотая слюнки, как хозяйка делит кирпичик на ровные куски, отчего-то взглядывая на меня, и вдруг краюшку протягивает мне... Но я тогда не понимал, что эта курносая грустная женщина и есть моя мать, а не та, чернявая, крикливая одноглазая скуластая старуха, неумная в работе...

Я, наверное, был озорем и прокажоу, как говорится, «дыру на одном месте вертел», чем постоянно досадил взрослым. Но однажды хозяйка боковушки погналась за мною с ремнем, а я заперся в уборной и закричал лихоматом на весь дом:

— Не трогай меня..! Не смей меня бить!

— Как это не смей?! Я — твоя мать!

— Врешь все, врешь... Ты не моя мать! У меня мама Нина! — отговаривался я, подглядывая в щелку.

Мать подергала дверцу, заплакала и, горестно опустив плечи, через холодные сени поплелась в боковушку. Была зима, и крашенный пол блестел, как застывшее озеро. Я с видом победителя прокатился на подшитых валенках к хозяйской двери, но, видимо сердце мое впервые ворохнулось как-то по особенному, прищемилось за ребро, потому что, как сейчас вспоминаю, — я особенно зорко, придиричиво, в чем-то сомневаясь, стал рассматривать бабушку, ее густые смоляной черноты волосы, продернутые седой ниткою, черемховые глаза, уже призрадные белесой пленкой, единственный зубкычок, крупный, желтоватый, что, не вмещаясь, смешно, как у сказочной Бабы Яги, то выкуркивал из-за верхней губы, то прятался во рту, как любопытный человек, и, по-моему, так и не сбежал оттуда до самой смерти. Дедушка Петя сидел за столом и пил чай, — сухонький, мелкий, как подросток, с удивленными птичьими глазенками, с головою, присыпанной серебряной шетью, и с детской челочкой по-над морщиноватым лбом. (Позднее такую же стрижку-полубокс носил и я, и дядюшка, вернувшийся с войны с обмороженными ногами. Бабушка других причесок не знала, «карная» нас ножницами на один манер, как и овец в хлеву). Я и на старенького уставился с подозрением, но ничего особенного, никаких перемен не сыскал в его лице; это был мой тихий дедушка, весь век служивший на почте, — и никто иной...

Года через три после войны дядя Валерий решил жениться, время пришло. Однажды, когда бабушка убрела в город по гостям, он собрал мое скудное бельишко в крохотный узелок, подвел к соседнему крыльцу, бросил детские пожитки на нижнюю ступеньку и сказал глухо, стыдливо пряча глаза: «Володя, теперь здесь твой дом». И сразу же ушел... Я долго стоял на мостках, прислушивался к тишине за бревенчатой стеной, дожидаясь, когда кто-то выйдет за мною, привыкая к покосившемуся крыльцу, жидкой тесовой дверце, крашенной охрой, и не решаясь войти в чужой угол, все вглядывался в заулок, откуда должна была появиться моя спасительница «мама» Нина.

Я услышал под вечер, как за стенкой кляла бабушка сына раскаленным голосом, плакала, обзывала его «идолом и ка-

менным сердцем» за то, что выжил из дома ее любимого внука, но поделаться ничего не могла и скоро сдалась: свадьба была уже на пороге и приходилось потесниться. Не в черной же бане уютиться молодым, коли настал свой черед сыну вить гнездо и надо куда-то ставить семейную кровать. Им отвели горенку. Дедушка обжил кухню, залез на русскую печь, бабушка легла в запечье. Позднее для стариков из сеней соорудили глухую комнатенку.

Так я неожиданно вернулся в свою семью и стал снова жить по другую сторону стены, долго привыкая к матери. Но в основном-то пасся у бабушки, пока она не ослепла совсем.

К дядюшке обиды я никогда не таил, зла на него не держал, вот только у матери с деверем отношения не сложились, они часто вздорили по совершенным пустякам, и это немирие невольно легло и на мое сердце. С годами все труднее становилось переломить себя, сбросить с души тяжкий камень чуженины, наверное, и дядюшка переживал, но вида не выказывал, на сближение не шел, мостков навстречу не перекидывал, и тонкая трещина, найдя место в моей душе, позднее углубилась недомолвками в непроходимый овраг. Но и в мыслях не было сметнуться от матери в другой лагерь, как бы предать ее, одинокую, пусть хоть тысячу раз она была не права... Так человек, теснимый обидами и напраслинами, окружает себя стенами недоверия, которые со временем не только не ветшают, погружаясь косо в землю, как избяные, не осыпаются в прах и труху, как кирпичные, но становятся непробиваемыми даже для осадных пушек.

И вот через полвека, похоронив сестру Риту, пересилив себя, я впервые вошел на хозяйскую половину дома, когда-то казавшуюся мне необыкновенной. Дядюшка, прежде дородный, теперь весь оплешивел, скособочился, выхудал, стал, вроде бы, даже меньше меня, узко поставленные глазки смотрели на меня льдисто, настороженно, прицельно. Я сказал, что умерла Рита; известие он встретил равнодушно. Господи, невольно подумал я, с недоверием оглядывая старика в кацавейке и подшитых валенках, словно бы ошибся дверьми, и неуж так обстрогало человека время?... Я смущался, старался пробудить в душе тепло, перемогал скованность, пытался навести мосты меж душами... А, собственно говоря, чего нам делить-то?! Вот и мать умерла, и бабушка давным-давно покинула землю... Обежал торопливым взглядом житье, — и едва узнал его по каким-то особым приметам, что хранил в памяти. Тот же вроде бы пыльный фикус в кадке, но какой-то недорослый, рахитный, корявые чайные розы, те же закуржавленные морозом окна, в которые едва пробивается с

воли сумрачный, неживой свет, и в протайки на стеклах видны серые заструги волнистых, уходящих в бесконечность снегов. Но и все другое, чужое, плохо узнаваемое, уменьшившееся в размерах, покосившееся, скукожившееся от худобы и старости, а главное, — тепла не было в комнатах, домашних запахов, что невольно обволакивают гостя и дают душе чувство уюта, обжитого гнезда, благорастворения. Было стыло в доме вдовца, как в норе, зябко в этой убогой горенке с кривым ледяным полом и низким потолком, и уже ничто не напоминало ни бабушки Нины, ни дедушки Пети, ни меня, сорванца. Ничего-го... Остался лишь согбенный бледный старичонко — «Почетный гражданин Мезени», еще полный земных странных хлопот, что-то оживленно повествующий о нашем роде Личутиных, с гордостью листающий толстые альбомы, где затаились от мира сотни незнакомых лиц, когда-то живших на побережье, позднее разысканных дядей — и сейчас вдруг выглянувших из «зазеркалья», чтобы посмотреть на меня. Это была навсегда уплывшая родня... Целый пароход «Титаник», набитый битком. И мне стало так прощально жаль дядю, а он поймал этот участливый взгляд, и вдруг совсем по-иному, с искрой дальнего родственного чувства посмотрел на меня и, прощаясь, задержал мои пальцы в ледяной ладони...

— Умерла, говоришь, Рита-то? — взглянул зорко. — Земля ей пухом, — и, помешкав, добавил: — Ну что ж... Все там будем...

До Парижа лету часа три, было бы желание поехать; но до родины детства моего, «до маленького Парижа» уже никогда не добраться... Вроде бы стою в родовой избе в Мезени о край погребенного снегами нескончаемого болота, а через невидимую стену уже не пробиться, как ни стучи головою... Все будто мое, стародавнее, но уже чужое. И все меньше с каждым днем остается на земле людей, кто жил возле меня в те прекрасные дни в неповторимом «маленьком Париже» и мог бы вспомнить мою бабушку Нину, дедушку Петра Назаровича, отца, мать, сестру Риту.

Как-то так Бог направил, что когда, сидя за машинкой в Москве, описывал тот давний случай из юности, как встретил в Архангельске на морском вокзале сестру, и мы отправились по городу устраивать мою судьбу, — вот в эту-то минуту и раздался звонок из Мезени: Рита умерла...

Она давно покряхтывала, жаловалась на нездоровье, но ведь «скрипучее дерево до веку живет». Скрипит и скрипит, пока до сердцевины не выболит, а после сухостойной креновой еще долго не падает, пока ветровал не случится.

От Москвы до села Дорогорского, что на Мезени-реке, сутки поездом и восемь часов машиной по зимнику. Прибыли впотемни, снег хрустит под ногами, с севера заподувал ледяной ветер — хиус. В осиротевшей избе все окна горят, как на вокзале. Генриетта Владимировна лежит в наступленной горнице, уже обряженная в последнюю дорогу, лицо желтое, как мандарин, полное, без грусти, только губы выкусаны до крови, — значит и в беспамятстве мучилась от боли. Дочери-двойняшки, завидев нас, завыли по-бабьи, заплакал и зятелко, по-мужски, с надрывом; внук Генка не сшевельнулся, стоит у гроба, как суворовец в почетном карауле, блестящими глазами пристально, безбоязненно, с каким-то даже любопытством вглядывается в родное лицо, словно бы понарошке замгнувшее веки...

Генка появился на свет, когда бабушка в областной больнице лежала. И вот однажды середка ночи ее позвал явственный жалобный голос мужа: «Ри-та-а!» За двести верст «завопело» и донеслось. Растровожилась, сразу положила на худое, до утра не спала. А днем принесли телеграмму: муж умер. Молодой еще был, голубоглазый, белокурый богатырь, кося сажень в плечах, все своей силой хвалился... Отпраздновал рождение внука, повалился в кровать — и не проснулся: сердце лопнуло. И вот минуло тринадцать лет, мальчишка оказался деловой, натурастый, сметливый, охотник и рыбак; сделал зажигу (самодельный пистоль), забил огневой заряд, поджег, но выбило из ствола деревянный кляпец и рвануло в лицо. Слава Богу, что глаза не вышибло. Привезли в больницу порох выковыривать и тем же днем, покрасив волосы, причепурившись, пришла своим ходом бабушка Рита и легла в соседнюю палату...

И вот в гробу, уже ледяная.

А на улице поднялась завируха, снег крупой, сечет в окна. Кроткое, доброе существо, Рита так не хотела быть обузой для других и мечтала об одном, — не помереть бы зимой. И как родным на испытание: ветер-полуночник с ног сбивает и мороз за двадцать. Горе мужикам — долбить ломами железную землю на красной горке, на самом-то буге. Искры высекает. Надо бы во всю ночь костры палить, чтобы отогреть землю, да по заведенному обычаю ранее утра похорон ямку копать нельзя.

Дом без хозяйки сразу по-сиротски съезжился, понурился и слегка поклонился на бок. Строили, как поженились. После пединститута направили в деревенскую школу учителем литературы, здесь поглянулся парень, только что вернувшийся из армии, сыграли свадебку и принялись ставить дом. Будто

вчера... Жизнь отлетела в трубу, как печной дым, только и примет от нее, что дочери, внучки, внук... И далее по роду. Значит, не напрасно жилось. А скольких выучила, по земле разъехались, им тоже памятна бывшая учительница своей сердечностью, мягкостью. Никогда голоса не подняла, ни на кого не озлобилась, не затаила досады, никому не мстила, не желала худа. Некрещеная была, как почти все на Советском Севере, где церковные маковки были обрушены, Бога не поминала, образам не маливалась, поклонов не била. Но ведь жизнь кроила по той мерке, по какой исстари строилась добросердная исконная русская душа... А в деревне разве не запечатлелась в каждой избе своей услужливостью и нестяжательством? И лес безмолвно помнит ее, куда так любила ходить до последних дней по грибы, и каждая ягодная кочка помнит прикосновение ловких рук, и берег реки, и картофельники на задах избы, и тихая банька на задворках, и луга на заречье, и тинистые озера, где после свадьбы ловила с мужем карасей...

Закрывая за гробом двери, понесли сестренку из дому, ящик задвинули в грузовик. Ветер кидал охапки шершавого снега, выбивал слезу, и она тут же смерзалась в ледяную накипь, жестко придавливая веки.

Рядом мелко семенил дядя Вася, спокойное лицо его малиновело от морозного жара, светились чистые голубенькие глазки: ему бы рыжеватые с подпалинами усы пиками, то был бы вылитый дедушко Семен. И ему вот уже за семьдесят, чистой душе, ступает по кочковатой от ледых дороге без спотычки, как плывет, а мысли где-то таинственно далеко.

На бугре открылись сиротский погост с серыми тычками крестов, белая равнина без конца, без края и дальний лес за рекою в снежной дымке; лисьи хвосты замятили игриво мечутся по полям, торопливо погребают свежую ямку. Мое лицо разгорелось иль от зарядов крупчатого снега, иль от давления, иль от слез, которых ну никак не унять. Невдали стоял столбушок на могиле матери, лицо на фотографии молодое, улыбочное, ободряющее, прощающее нам все наши нажитые грехи... Когда-нибудь, дай Бог, я вспомню ее и такую... Не может же память моя так безвозвратно окоченеть...

Мы полагаем наивно, что все прошлое позади, в каком-то гигантском архиве, рассортированном по стеллажам в неведомой укромине небес. Да нет же, нет, все пережитое, мерно кружась, как древесная опадь, погружается в водоворот, не дожидаясь нас на каком-то глухом причале, и только сквозь

пласты воды, просквоженные нездешним светом, если на-прячь взволнованную воспоминаниями душу, мы можем раз-глядеть минувшее детство и неясные купола величественно-го собора из «нашего маленького Парижа».

Эх, да сколь и непамятны мы, грубы душою, зальдели серд-цем, торопясь «поле перейти», опустив долу глаза, сколько пораструсили впечатлительного, порою и необыкновенного, не стараясь удержать в груди, пробежав пустым взглядом, не придав значения; после-то и спохватишься, тужишься при-помнить, да будто ветром напрочь выдуло из головы облик родного человека, его строй мыслей, его «похмычки» и по-ступки. Остается лишь смутный негатив, заплесневелая, в разводах фотография с надгробной пирамидки, потускнев-шая от дождей, ветров и травяной пыли. И невольно зато-мишься тут и сам на себя осердишься, кляня за легкомы-сленность, но, увы, уже не выдернуть забытое из небытия, из того небесного архива, куда складывается на веки вечные всемирная история...

Толя Афанасьев позванивал мне после Парижа частенько.

— Володичка, — раздавался в трубке его скрипучий хрип-ловатый голос с оттенком неожиданной для мужика нежност-и, — ну как ты поживаешь, дружочек, как здоровье? Ты здо-ровье-то побереги, ведь времени на работу так мало осталось, а много надо успеть. Умирать скоро. И неохота бы, да надо... Ну лет двадцать, старичок, протянем, больше-то никак...

— Да брось ныть. Тебя и двухпудовкой не заломать... Ба-бушка до ста жила, и ты до ста прокоптишь, а после и по новой жить начнешь.

— Нет, Володичка, до ста нам не живать. А впрочем, кто знает, что на роду написано? Я купил аппарат, новейшее до-стижение медицины, дышу через воду. В человеке все меня-ется — и сердце, и легкие, и печенка. Можно жить столько, сколько захочешь. Хоть двести, хоть триста лет, — решив-шись, вдруг признался Толя, выдал тайну, и голос сразу из-менился, исчезли скрип и старческая брюзга, будто наискал человек в губительном водовороте спасительный пеньковый конец. Даже на расстоянии чувствовалось, как трудно ожи-вал Афанасьев, вытягивался из мрака на свет. — Я теперь прекрасно себя чувствую... До восьмидесяти точно протяну, а дальше неинтересно, когда песок-то посыплется. Некому будет подметать за нами.

Толя, оживая, дробно хихикал в трубку, как покашливал, потом замолкал, словно прислушивался, что творится с чело-веком на другом конце провода: искренне он говорит иль при-творяется, сочиняет, чтобы только утешить. Заботный, искрен-

ний человек, он терпеть не мог фальши; его выворачивало все-го, но, боясь оскорбить неожиданно, Толя приноравливался, притирался до последнего, чтобы не навести смуты в отношениях. Как легко оскорбить, порвать всяческие отношения, шархануть бокалом об пол, чтоб вдребезги, но как трудно, почти невозможно склеить после дружбу, навести мир.

— Жена подметет... — ерничаю я.

— Ну разве что жена-а... Если веник найдется... Эх, Володичка, дорогой, как оглянешься, ведь уже никого вокруг. Остались одни болезни да дочь. Да ты, пожалуй, и остался, с кем можно по душам поговорить... Ну, а дальше что? Лучше не думать. Эти гайдарята-плохишата украли нашу жизнь. Сво-ло-чи! Осталось лишь купить из-под полы у чечей автомат и на Красной площади подождать беспалого, рыжего и двух верблюдов. Так я их всех, этих ублюдков, ненавижу. Мерзость и пакость, вши и тараканы... Я не могу дышать одним воздухом с ними. От них смрад. Володичка, я чувствую, как ненавишь тащит меня в могилу, и ничего не могу поделывать с собою.

— Ну, у тебя и шуточки...

— Никаких шуточек...

— Толя, да разве может кто-то украсть жизнь, если она в руках Господа?

— Может... И очень просто... Пиф-паф и наши в дамках, а ваши в дураках... Господь попускает, ждет, когда исправятся. А они, вши и тараканы, не хотят и не будут исправляться, для них Христос — не указ. Они готовы снова и снова распинать нашего Бога на кресте.

— Толя, ты просто устал, отсюда и уныние... Небось, опять новый роман сочинил?

— Угадал... Самый лучший... Лучше романа у меня никогда не было. Теперь не страшно и умереть. Завтра пойду на базар за автоматом.

— Купи с кривым стволом. Так надежнее стрелять из-за угла.

— Нет, я хочу увидеть глаза этих тварей...

Шутил он? Кто знает. Мне хотелось утешить Афанасьева, вызволить из тоски и печали, куда он погрузился с макушкой и никак не мог, а может, и не хотел выбираться. В отращении к новому Вавилону, поправшему все духовное и душевное, схитившему «человечий образ», Толя нестерпимо желал его крушения, хотя бы развалины мерзкого хлевища и погребли бы его под собою.

— Афанасьев, а на кого ты оставишь свою крупногабаритную безутешную Гретхен? — спросил я с ехидцей.

— Володичка, ты ее еще не забыл? Я завещаю ее тебе, — сказал торжественно Толя, не удержался и захихикал. Я представил, как заискрились его голубенькие глазки, а морщинчатое лицо собралось в грудку.

Тогда из Парижа от реки Сены нас повезли на автобусе в Тур. «Надо же, — подумал я неожиданно, — от реки с русским названием нас везут к городу с русским же названием. Вот тебе и Франция... «О, буй тур, Всеволод!» — писал в кельи древнерусский монах...

Поселили в отеле в отдельных номерах с просторными кроватями, накрахмаленными белоснежными наволочками и тугими длинными подушками, похожими на французские булочки, высокими до прозрачности намытыми окнами, когда и стекло-то вовсе не видно, и кажется, что небесная синь, перетертая с солнечным желтушком, свободно пролилась на половицы, услужливыми коридорными девицами с потупленными долу глазами и затейливыми колпаками на волосах, что приходили в номер неслышно, вроде бы и не дыша, в который раз без нужды поправляя постели и стирая вехотком несуществующую пыль с кресла, и с настенных бра, и с кроватных грядок. Словно великие немые, мы лишь улыбались вежливо друг другу, стараясь уступить дорогу, — горничные казенно, мы с известным любопытством... Невольно подумалось: нет, это вам не парижская ночлежка, похожая на фибровый чемодан с дырками... Здесь на века застывшие нравы настоящей провинциальной Франции, которой так и не увидал.

Вечером всю делегацию развезли по домам знакомиться с коренным народом. Меня куда-то не пригласили, я остался, забытый всеми, в номере и с тоскою, удрученно глядел сверху на текучую праздную улицу, потиху засыпающую, меркнущую в сизых сумерках, и навряд ли чего видел. Лишь около полуночи загремело, затопало в коридоре, народ прикатил из застолий, хмельной, раскрасневшийся, суматошный. Стараясь не смотреть на приятелей, спустился в предбанник, изобразив на лице кривую усмешку. Скуля как-то странно, до боли ссохлись, будто кожу обильно смазали казеиновым клеем. Я делал вид, что все ладно у меня, все хорошо, и слава Богу, что куда-то не поплелся, а остался в отеле; что толку шляться по незнакомым домам и собирать даровые рюмки.

Уполномоченный от Организации, будто курица-хлопотунья, стоял у двери в фойе рядом со швейцаром и пересчитывал своих птенцов-писателей по головам; упаси Господи потерять хоть одного за рубежом. Если голову не снимут, то

премии лишат и очередное звание затолкут в ступе. Надо сказать, собачья работенка; вроде бы и веселая, без натуги, не на лесоповале топором махать по пояс в снегу и не в шахте ишащить, но шею тугой хомут трет, постоянно дамоклов меч висит, и кажется, что за плечом стоит всеильный Хозяин и подсчитывает огрехи. Потому беспечная улыбка на лице лишь для вывески, а на душе-то кошки скребут; эх, кабы не опростоволоситься. Попробуйте пасти стадо, если каждый упрямый козел в свой куст норовит, тряся бороною. Каждый день, как в атаку....

Последним появился Афанасьев. Бледный, как холстинка, голубенькие глазки жидко мерцали, растеклись в темных обочьях, светлая щетина на скулях стала будто столуба, морщиноватый, алый в закрайках лоб в испарине, словно бы Толя только что взял длинную дистанцию. Шершавые губы мелко тряслись. На приятеля жалко было смотреть.

— Значит все! — с облегчением выдохнул уполномоченный и спешно отправился к себе в номер добирать упущенное.

Афанасьев толкся у порога, не зная, в какую сторону податься, то решительно хватался за ручку двери, пытаясь выскользнуть на улицу, но тяжелая дубовая створка не поддавалась ему; то делал несколько шагов к лестнице, чтобы подняться к себе в номер.

— Толя, что с тобою? — я прихватил Афанасьева за рукав. — Тебе худо?

Толя посмотрел на меня, не узнавая, потом опаматовался каким-то верхним сознанием, потому что весь был погружен в себя, в свое внутреннее смятение и дрызгу, не зная как совладать с ними. Его раздирало на половинки, и видно было, как борьба сокрушала человека.

— Да, худо..! Старичок, мне надо идти к ней! — воскликнул вдруг Афанасьев, собрал рассеянный взор в грудку и наконец-то признал меня; глазки налились розовой водицей, и такая печаль, такая растерянность выказались на лице, что я испугался за товарища.

— Куда ты пойдешь? Ты что, ополоумел? Ночь на дворе, чужая страна. Заберут в полицию, не разделаться. Дождись хоть утра.

— Нет, мне надо немедленно идти к ней, иначе я умру. — Толя бормотал, как опоенный мухомором, внезапно тронувшийся умом. — Володичка, если я сейчас не уйду, то умру. Со мною впервые такое случилось, такое... — Он нещадно заскрипел зубами.

— Ну, пойдём в номер, там расскажешь все... — Мне надо было оттащить приятеля от двери, спрятать в номер, может

быть, закрыть на ключ, чтобы сама тишина комнаты, широкая бюргерская кровать под белоснежными наволоками, темные ночные окна слегка выпрямили мозг, вытащили из памороки.

Афанасьев снова заметался.

— Нет, ты не понимаешь. И никогда не поймешь... Ты сухой рассудочный человек! Ты никогда не любил и не знаешь, что такое настоящая любовь! Я люблю ее, — бормотал Миша.

— Любишь, любишь, — успокаивал я. — И она тебя любит. Весна, щепка на щепку лезет.

Швейцар наставил ухо в нашу сторону и мотал на ус, будто разбирал русскую речь.

Я с трудом завел Анатолия в его номер.

— Мне без нее нет жизни, я без нее умру. — Шарманка закрутилась по новому кругу. — Я ее люблю, я ее так люблю, что сердце не выдержит и лопнет. Я должен немедленно вернуться к ней. — Помутившимся взором Афанасьев уставил в черное окно, словно бы собирался шагнуть в него. Я торопливо задернул шторы.

— Кто она? Успокойся, Толя, проспишься, утром обмозгуем, и все встанет на место.

— Я ее полюбил с первого взгляда... Ты даже не представляешь, какая это изумительная женщина, единственная, неповторимая. Я сейчас уйду и останусь с ней навсегда... Если бы только знал, как я ее люблю.

Афанасьев вдруг заплакал, обирая кулаком слезы, лицо его сморщилось в жамку, как у обиженного подростка. Он поискал место, куда бы присесть, плавно повалился на просторную кровать, раскинул крестом руки и тут же заснул...

Следующим вечером в Париже приятель сказал таинственным голосом:

— Она придет следом... Будет на прощальном ужине... Владимир Владимирович, спаси меня... Я очень прошу тебя, будь со мною за одним столом.

— Зачем? — Я недоуменно пожал плечами.

— После поймешь...

Сидели в ресторане. Хозяева обещали изысканную французскую кухню. Я искал глазами Афанасьева, а его все не было. Наконец явился с дамою сердца, бледный, помятый, нервный, краше в гроб кладут. Женщина, похитившая навсегда его сердце, без которой Толя не мыслил будущей жизни и только что накануне готов был умереть, навсегда остаться за границей, покинуть родину, — оказалась крайне невыразительной, до того не интересной, что у меня от обиды

за выбор приятеля упало сердце. «Верно говорят знатоки, — подумал я уныло, — нет некрасивых женщин, есть мало водки. — Вышло грубовато, слишком приземленно, и чтобы скрасить Толин выбор, я оправдал его. — Любовь — не картошка, и таких женщин тоже кому-то надо любить». Стараясь скрыть разочарование (а женщины крайне впечатлительны и проницательны), я украдкой вполглаза подглядывал за гостьей и от широты сердца пытался наделить ее хоть каким-то шармом. Но увы, ничего не получалось... Это была немка бальзаковского возраста, белесая волосами и обликом, с квадратным, плотно сбитым телом, короткой уже морщиноватой шеей, мясистым загривком и добрыми, покорными, какими-то ужасно коровьими глазами. Они уселись за стол, и фрау постоянно бросала любовные взгляды на Толю, а тот сидел, проглотивши шпагу, с суровым, как у прокурора лицом, и едва заметная сардоническая усмешка клеилась на тонкие губы.

— Ну, Володичка, чего закажем-с? — спросил меня, заговорщически подмигивая.

— Надо даму спросить, — показал я свою воспитанность.

— Да ну ее, дуру.. Что закажем, то и сожрет, — бросил Афанасьев отрывисто, не стесняясь подруги, и ухмыльнулся.

От неожиданности я даже обернулся, ожидая увидеть за своей спиной какую-то иную женщину, но увидел лишь половых, что стремительно бежали по залу с подносами. Оказалось, что меню уже расписано и без нас.

Поставили перед нами горшочки, плотно принакрытые тестяной лепешкой. Я подумал, что принесли тушеное мясо, понюхал, не распечатывая еще посудинки, уловил носом что-то приторное, сладковатое, но, увы, мясом и не пахло.

— Луковый суп... Изысканное французское блюдо. Это, старичок, то, что надо, — радостно воскликнул Толя и ловко раскупорил посуду.

Я сдвинул жидкий распаренный сыр, пошарился ложкой в глубине горшка, ожидая найти что-то необыкновенное, запашистое, благодатное для моей утробушки, но сыскал там лишь мутный луковый отвар, скверно пахнувший. Осторожно, с конца ложки, отхлебнул жиденького. Будто помоев откушал. Брат-цы-ы мои..! Более скверного блюда я в жизни еще не едал. Дай собаке, — и она рыло отворотит. Нет, сто раз был прав Тургенев, когда сказал, как отрезал: «Русским нечему у них (у французов) учиться». А он-то был настоящий русский барин, джентльмен, дипломат, великий писатель, не мне, деревне, чета, во Франции лет двадцать прокувыркался и всего повидал в светских кругах.

— И это все? — оскорбленно спросил я. — Разве такое можно есть? Они что, смеются над нами?

— Старичок, ничего ты не понимаешь в еде. Это же луковый суп! Фирма, вывеска Франции.

— Пусть она захлебнется этой фирмой и накроется этой вывеской. — Я почувствовал себя глубоко обманутым, меня оставили с носом.

— Толь-а, он что сказал? — спросила кокетливо немка, забавно коверкая слова и показывая на меня пальцем. От любви к Афанасьеву большие темно-серые глаза как бы налились луковым супом, а бледное лицо слабо заалело. Всем своим видом, — объемной грудью, грузно приопавшей на кромку стола, пожирающим взглядом, волосами, вставшими дыбом, — она не скрывала быть может последней, дарованной Богом страсти.

— Молчи, дура, — грубо оборвал Губин.

— Кто она..? —

— Да так... Телка из Германии... Учит здесь немецкому. Дура дурой... — неохотно ответил мне.

Фрау замороженно смотрела на Толю, будто читала по губам, лицо ее, и без того-то некрасивое, разом посерело, исказилось, пошло крапивными пятнами. И я к ужасу своему понял, что она понимает русский.

— Толь-а, — вдруг жалобно протянула женщина, оскалив зубки, будто норовила больно укусить друга, потянулась к нему навстречу и прощающе погладила по серебристой щетинке на голове, как мать ласкает свое капризное дитя, еще не веря грубым словам и принимая их за любовный розжиг... — Толь-а! Не обзывай меня дура... Я не дура. Я ведь тебя люблю...

— Пошла ты со своей любовью, знаешь куда? — боднул Афанасьев голову.

Глаза у немки наполнились ужасом, лицо стало желтовато-серым, ноздреватым, как выходявшее тесто.

На сладкую парочку смотреть было неприлично, и я отвернулся в залу, где дым уже шел коромыслом, шныряли бойкие официанты, вино лилось рекою, и от обильного «Бордо» лица гуляк обрели темный свекольный цвет.

— А Гретхен симпатичная, даже хорошенькая, — сказал я, чтобы направить за столом мир. На самом-то деле против своей воли притравливал, поддразнивал приятеля, подергивал за поводок.

— Может быть, — сказал Афанасьев, ведя непонятную для меня, коварную игру. — Они все прекрасные, когда спят... — И впервые за все время сладенько захихикал, и голубенькие глазки взялись веселой искрою, и часть этой радости даже

досталась Гретхен. — Ну, что делать, старичок, если бабы-дуры сами летят на огонь, чтобы сгореть... И мне не остановить этот порыв. Я виноват лишь в том, что живу на свете... Правда, Муся? — И Анатолий покровительственно похлопал даму сердца по округлой спине.

Фрау, будто кошка, потерлась щекою о его плечо, готовая замурлыкать, и глаза, сузившись, подернулись крапивной зеленью. Занятно: чем же он так обавил, очаровал, взял в плен? Худой, морщинчатый, изможденный, — просто ходячая ехидна, и, поди ж ты, какая обманчивая привада в нем, ну просто мед на сахаре для распалившейся женщины.

— Страшный ты человек, Афанасьев. Смотри, прошвыряешься, — протянул я, как бы в шутку.

И тут заиграла «шарманка», насытившийся, распаренный от питья, дружелюбный писательский народ хлынул в залу, завился в скачущей, охающий и хлюпающий селезенками хоровод, и я, не удержавшись, тоже шагнул из одиночества в потную толпу, чтобы раствориться в ней.

Когда я вышел из танца, любовной парочки уже не было.

Зачем Афанасьев настойчиво приглашал меня за свой стол? — я так и не понял.

А наутро делегация покидала Париж. Прощались, клялись в вечной дружбе, обнимались, обменивались адресами. У русского человека, по обыкновению, с особенной силой и остротой душевные порывы вспыхивают в прихожей, сколько бы ни пировали в застолье. Всегда кажется, что самых нужных слов не высказано. Подобное случилось и сейчас.

Я стоял осторонь от толпы; нет, меня никто не отпихивал, но как-то так получилось само собою, что вдруг оказался один. С кем-то из провожающих поначалу пытался проститься, кланялся, протягивал для пожатия руку и... наткнулся на воздух. От меня отворачивались, как от прокаженного, чтобы не дышать со мною одним воздухом, и в знак протеста, неуважения, отторжения прятали руки за спину. Оказывается, так принято у прогрессистов в «цивилизованном обществе».

«Дурная, фальшивая насквозь Европа. Ну, где тебе тягаться с Россией?» — подумал я насмешливо, и, засунув руки в карманы, равнодушно отвернулся от провожающих.

Уже в самолете пришла в голову чудная мысль: «Надо же, побывал в Париже и не видел ни одного настоящего француза».

Алексей СОКОЛОВ,
кандидат военных наук
Алексей БУРМАКИН,
кандидат военных наук

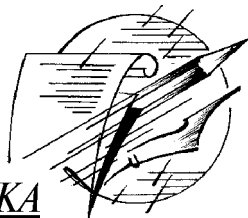
ВРЕМЯ ИНЫХ ВОЙН

Факты — упрямая вещь. Накануне летнего погодного катаклизма 22 апреля 2010 года в 19.52 со стартовой площадки SLC-41 авиабазы «Мыс Канаверал» ракетой-носителем «Атлас-5» в космическое пространство выведен новый американский беспилотный космический корабль X-37В, способный нести мощное лазерное оружие.

В настоящее время геофизическое оружие пока еще рассматривается многими экспертами как гипотетическое средство, которое может быть использовано лишь в отдаленном будущем. Однако имеющиеся технологический и научный заделы позволяют даже сегодня создавать отдельные образцы нетрадиционных систем вооружения. Более того — анализ природных катаклизмов последнего десятилетия убеждает: они уже существуют. Судя по всему, на планете Земля проводятся неафишируемые натурные эксперименты по применению и оценке возможностей геофизического (климатического) оружия.

Год рождения 1958-й

В конце XX — начале XXI столетия традиционные взгляды на войны и вооруженные конфликты претерпели кар-



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

динальные изменения. Ныне в ходе межгосударственного противостояния задействуется более широкий спектр форм и способов давления на конкурента, иными становятся и области, где ведется борьба с ним. На первый план все чаще выходят такие сферы, как политическая, экономическая, информационная, и ряд других.

Значимость и удельный вес, масштабы применения невоенных средств ощутимо возросли, их использование приобрело более целенаправленный и скоординированный характер. Теперь главная задача заключается не в том, чтобы в кратчайший срок сокрушить противников. Победа над ними достигается путем дестабилизации обстановки в потенциально опасных или явно враждебных странах и регионах, для чего вполне годятся и подрыв экономики, и воздействие на информационный ресурс, и провоцирование природных катаклизмов и катастроф.

Вот почему немалое число ученых не без оснований отмечают, что одной из причин участившихся природно-климатических аномалий являются различные практические проверки свойств геофизического оружия, которое разрабатывается ведущими государствами мира, несмотря на наличие специальной конвенции, запрещающей воздействовать на среду обитания человечества в военных целях.

Между тем еще в 70-е годы Збигнев Бжезинский, занимавший в ту пору пост помощника по национальной безопасности президента США Джимми Картера, в книге «На рубеже двух веков» предсказывал: «Технология даст лидерам великих держав методы ведения тайных войн, для которых не потребуются спецвойска... Технологии влияния на погоду смогут вызвать продолжительную засуху или ураганы...»

А в докладе, подготовленном по заказу американских ВВС, говорится следующее: *«Делая аэрокосмические силы США «хозяевами погоды» с помощью соответствующих технологий и концентрируя исследования на их военных применениях — от поддержки собственных операций до срыва операций противника и от локальных воздействий на местные погодные условия до установления глобального господства в средствах связи и противодействия космической разведке, методы воздействия на погоду создают широкие возможности для поражения и принуждения противника. Поэтому для США технологии воздействия на погоду скорее всего станут составной частью политики национальной безопасности, включая как внутренние, так и международные аспекты. И правительство, исходя из наших интересов, должно проводить такую политику на всех уровнях».*

Напомним: в прошлом веке гениальный изобретатель и ученый Никола Тесла, изучая физику Земли, предположил, что есть реальная возможность использования природного магнитного поля нашей планеты для беспроводной передачи энергии на значительные расстояния, однако, как и любые изыскания, проводимые человечеством, наибольшую значимость данные исследования имели с точки зрения военного применения. Будучи уверенным в опасности использования силы высоких энергий, Тесла разрушил свою экспериментальную установку и уничтожил часть технической документации.

Годом рождения геофизического оружия нового поколения можно считать 1958-й, когда американцы осуществили первый ядерный взрыв на высоте 70 км — вблизи нижней границы ионосферы.

Этот сверхсекретный эксперимент проводился в глухой точке Тихого океана — на атолле Джонстон. По первоначальному замыслу электромагнитный импульс взрыва должен был сечь всю электронику в радиусе пары сотен километров, что послужило бы вполне достойным началом для прорыва армады самолетов В-52 с водородными бомбами через советскую ПВО.

Но произошло нечто необычное: космический ядерный взрыв вызвал устойчивое ионосферное возмущение, надолго нарушившее радиосвязь на расстоянии многих тысяч километров! А в Южном полушарии, на архипелаге Самоа — в 3,5 тысячи километрах от места взрыва — в дневном тропическом небе вспыхнуло яркое полярное сияние.

Самоа и Джонстон — так называемые магнитно-сопряженные области, связанные одной линией геомагнитного поля. Заряженные частицы, образовавшиеся при ядерном взрыве, устремились вдоль магнитной линии в противоположное полушарие и прожгли дыру в ионосфере — «астральной оболочке» Земли.

Следующие ядерные испытания — «Аргус» (три взрыва на высоте 480 км в южной Атлантике) и «Старфиш» включали обширные спутниковые и геофизические измерения, что позволило понять многое и даже слишком многое. Оказалось, что ядерные взрывы не только создают нарушающие радиосвязь ионосферные аномалии, которые живут годами, но и активнейшим образом влияют на климатические процессы, происходящие на Земле. С этого момента ученые ведущих мировых держав задумались о реальности воплощения в жизнь замысла о разработке геофизического (климатического) оружия, позволяющего управлять погодой над полем боя и над территорией противника.

Геофизическим оружием следует назвать оружие, объектом воздействия которого является окружающая природная (геофизическая) среда: гидросфера, литосфера, приземные слои атмосферы, озоносфера, магнитосфера, ионосфера, околоземное космическое пространство.

Идея геофизического оружия сводится к тому, чтобы стать обладателем механизма искусственного вызывания и нацеливания на определенные районы природных явлений, следствием которых являются значительные разрушения и жертвы. К таковым природным явлениям, в частности, можно отнести:

- разрушение озонового слоя над отдельными территориями, чреватое их «выжиганием» и облучением естественной радиацией Солнца;

- буйство водной стихии (наводнения, цунами, штормы, сели);

- атмосферные катастрофы — торнадо, тайфуны, смерчи, ливни, а также общее состояние климата на определенной территории — засухи, заморозки, эрозия (оружие, которое могло бы спровоцировать их, часто называют климатическим оружием);

- землетрясения, тектонические разломы, извержения вулканов и вызванные ими вторичные катастрофы, например цунами (соответствующее оружие обычно именуют тектоническим оружием).

Пожалуй, самое мощное новейшее геофизическое (климатическое) оружие, созданное руками человека, — HAARP, истинное предназначение и сила которого тщательно скрываются от общественности.

Что же такое HAARP?

На севере США в 400 км от Анкориджа, на военной базе «Гаккона» на площади 60 кв. км развернута громадная фазированная антенная решетка (ФАР) — сеть из 180-ти 24-метровых антенн, которые вместе составляют исполинский излучатель сверхвысоких частот 2,8—10 МГц, суммарной мощностью превышающий солнечное излучение в этом частотном диапазоне на 5—6 порядков. Это и есть HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program — Программа активного исследования авроральной области «Северное сияние»), малоизвестная часть знаменитой Стратегической оборонной инициативы (СОИ). База обнесена колючей проволокой, периметр охраняют вооруженные патрули морской пехоты, а воздушное пространство над исследовательским

центром закрыто для всех видов гражданских и военных самолетов. После событий 11 сентября 2001 года вокруг HAARP наводятся комплексы ПВО.

Установка HAARP была построена подразделениями ВМС и ВВС США. Официальное предназначение комплекса — изучение природы ионосферы и развития систем ПВО и ПРО. Однако многочисленные исследователи считают, что на самом деле он служит для воздействия на глобальные и локальные механизмы природы в районах расположения противников США. Научные журналы утверждают, что с помощью HAARP имеются возможности:

- вызывать искусственные северные сияния;
- забивать помехами загоризонтные радиолокационные станции раннего обнаружения пусков баллистических ракет и даже ликвидировать телекоммуникационные системы противника на конкретном участке планеты;
- уничтожать межконтинентальные ракеты путем перегрева их электронных частей;
- осуществлять управление погодой путем ионизации верхних слоев атмосферы;
- изменять психическое поведение человека путем передачи электромагнитного излучения определенного спектра, стимулируя у людей пограничные состояния;
- осуществлять рентгенографию недр, регистрировать создание подземных тоннелей либо фиксировать наличие естественных полостей;
- выводить из строя космические аппараты.

Как предполагается, уже в настоящее время специалисты, работающие на HAARP, благодаря совершенствованию технологий способны влиять на атмосферные процессы вплоть до возбуждения стихийных бедствий: мощных ливней, землетрясений, наводнений и ураганов.

Излучатели HAARP — это качественно новый уровень техники. Их мощность трудно осознать. Когда они включаются, равновесие околоземной среды нарушается. Разогревается ионосфера. По некоторым данным, американцам уже удается получать искусственные протяженные плазменные образования. Что-то вроде гигантских шаровых молний длиной в километры. В ходе экспериментов, проведенных под непосредственным руководством командования военно-воздушных и военно-морских сил США, получены эффекты взаимодействия искусственных плазменных образований с магнитосферой Земли. А это уже позволяет говорить о возможности создания интегрированных систем геофизического оружия.

По мнению американского ученого с мировым именем Розали Бертелла, НААРР является лишь частью интегрированной системы геофизического оружия, потенциально опасной для окружающей среды: «За этим стоят пять десятилетий интенсивных и все более разрушительных опытов по управлению верхними слоями атмосферы. НААРР — неотъемлемая часть долгой истории военно-космических программ. Его военное применение, особенно в сочетании с другими технологиями аналогичного уровня, вызывает тревогу. А передача по радиолучу десятков и сотен мегаватт на космическую платформу, способную прицельно направить этот громадный поток энергии, сопоставимый с атомной бомбой, в виде лазерных или иных лучей в любую точку Земли, просто пугает. Такого рода проект может быть «продан» публике в виде очередного «космического щита» от наступательного оружия в рамках той же СОИ или для самых легковых — как средство для восстановления озонового слоя!»

Катаклизмы последних лет

Некоторые ученые да и военные специалисты считают, что НААРР как оружие геофизического (ионосферного) воздействия используется уже давно. Тем более что все существенные катаклизмы в Европе и мире начались, как ни странно, как раз после 1997 года, когда станция была запущена. Самые памятные из них:

— 1997—1998 годы, ураган «Эль-Ниньо» бушевал над многими городами, общая сумма ущерба составила 20 млрд. долларов;

— 1999 год, землетрясение в Турции силой 7,6 балла погубило около 20 тысяч человек;

— 2003 год, ураган «Изабель», названный самым мощным и самым смертоносным, унес несколько тысяч жизней;

— 2004 год, у восточного берега индонезийского острова Суматра произошло одно из самых сильных и разрушительных землетрясений в современной истории (его мощь равнялась 9 баллам), возникшая вслед за ним приливная волна убила около 300 тысяч человек;

— 2005 год, землетрясение в Пакистане с магнитудой 7,6 балла оказалось самым сильным за все время сейсмических наблюдений в Южной Азии, погибли более 100 тысяч человек;

— 2008 год, неожиданное пробуждение спавшего сотни лет вулкана Чаитен в Чили;

— апрель 2010 года, извержение вулкана в Исландии, в результате которого наступил авиаколлапс в Европе.

События минувшего лета в Центральной России дают основания для объективных подозрений в том, что на протяжении двух месяцев над территорией Российской Федерации происходил масштабный натурный эксперимент с целью определения возможностей современного геофизического оружия. Температура воздуха в этот период в Москве могла соперничать лишь с Ливийской пустыней, Сахарой, Аравийской пустыней.

При этом удивительно, что в Пакистане — стране с достаточно сухим климатом — разразилось сильнейшее наводнение, от которого пострадали около 3,2 млн. граждан Исламской Республики. В последнее время постоянным наводнениям подвержены страны Восточной Европы (что незамедлительно сказывается на экономической стабильности). Можно было бы говорить о том, что на планете происходит глобальное потепление. Однако, судя по климатическим картам, оно скорее похоже на поджаривание, да и выглядит отнюдь не глобальным, а локальным.

Причина жары — гигантский антициклон, зависший над Центральной Европой и «закачивающий» раскаленный воздух из Средиземноморья и Центральной Азии. Подобные антициклоны на территории России еще никогда не фиксировались (на протяжении 50 дней бились все климатические рекорды, установленные в течение 130 лет — с тех пор, как началось систематическое слежение за погодой). В зоне аномалии, как утверждают ученые, часть земной атмосферы одномоментно сократилась на невиданные за 43 года наблюдений значения. Катаклизм имел место в термосфере — разреженном слое, находящемся на высоте 90—600 км. Он защищает планету от ультрафиолетового излучения. Естественных объяснений такому сокращению нет, кроме как проведение эксперимента по применению системы HAARP для искусственного создания и длительного удержания плазменных образований над центральной частью России.

Необходимо также отметить, что очень сильно пострадали от засухи области на юге РФ — Волгоградская и Ростовская. Это также может быть следствием создания искусственных плазменных образований, которые, несмотря на попытку удерживать их над определенным регионом, постепенно сползали в сторону экватора — к центру образования естественных плазменных полей Земли.

Возникает ряд закономерных вопросов: чем антициклон вызван, какие экономические и политические причины могли сопровождать аномальную жару?

Сопоставление отдельных фактов и проводимых в США испытаний (поражение лазером жидкостной и твердотоплив-

ной ракет, запуск особо секретных космических аппаратов) опять-таки невольно наталкивает на мысль о возможности проведения масштабного натурального эксперимента по применению нового геофизического (климатического) оружия.

Наши технологии в США

Как сказано выше, 22 апреля 2010 года с «Мыса Канаверал» в космическое пространство был выведен новый американский беспилотный космический корабль X-37B, способный нести мощное лазерное оружие.

Миссия X-37B считается строго засекреченной, о продолжительности полета тоже не сообщается. По некоторым данным, автоматический корабль проведет в космосе не менее 270 дней, после чего самостоятельно приземлится на одной из баз ВВС США.

Можно предположить, что американцам уже удалось реализовать идею создания гигантской зоны высокого давления либо с помощью преднамеренной ионизации верхних слоев атмосферы установками типа HAARP, либо путем использования мощных лазеров, выведенных в околоземное космическое пространство.

Июльско-августовская антициклональная аномалия привела к засухе в ряде регионов России, потере урожая и высокой смертности среди людей с ослабленным здоровьем, а также к снижению темпов роста внутреннего валового продукта (ВВП). Сопутствующие беспрецедентной жаре явления — опадение листвы, высыхание травы позволили провоцировать пожары на обширных территориях. Для этих целей, не исключено, могла быть использована космическая платформа X-37B. Существующие технические возможности по применению лазерных установок с учетом розы ветров обеспечивают возникновение бесконечного множества точек возгорания и задымления, а то и попросту выжигание огромных пространств. Дым от пожарищ, нескончаемая высокая температура и солнечная радиация — вот основные поражающие факторы нового вида оружия.

Совместно с программой HAARP создается система наведения и удержания плазменных новообразований. Ведь для того, чтобы вызвать стихийное бедствие в нужном месте и в нужное время, необходимо решать задачу долговременного прогнозирования погоды в «точке прицеливания». А для этого у американцев есть подробнейшая цифровая модель всей земной атмосферы и машина, способная обрабатывать огромные массивы информации. Благодаря утечке «мозгов» и

технологий из России (стран СНГ) продвижение новых технологий в США идет со значительным опережением по сравнению с другими странами.

Чем больше денег выделяется на развитие геофизических технологий, тем быстрее необходимы результаты и тем скорее новое оружие должно быть испытано в реальной обстановке. Это значит, что в ближайшие годы оно будет не раз и не два опробовано на «малоценных» или «враждебных», с точки зрения Пентагона, странах и народах, тем более что, по мнению американцев, применение этого оружия не обнаруживается и не осознается противником, что позволяет обойтись минимальными затратами и не задействовать вооруженные силы и обычное оружие.

Поэтому, даже если у вас имеются подозрения в неправдоподобности излагаемой версии событий, доказать факт апробации геофизического (климатического) оружия окажется намного сложнее, чем его использование. Для этого потребуются точно такая же глобальная система мониторинга погоды и космического пространства — с кадрами и прочими ресурсами. Все это имелось у Советского Союза, но где это сейчас?

Несколько лет назад в околоземном пространстве функционировала орбитальная космическая станция «Мир» с ее уникальным приборным комплексом. Но она была уничтожена под нажимом американцев.

В начале 80-х годов директор Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта академик Садовский писал: «Еще недавно мы более чем скептически относились к идеям о возможности влияния на земные процессы космических факторов, солнечной энергии. Мы полагали: ничтожные добавки, вносимые космосом в огромные энергии, которые накапливаются в очаге землетрясения, не могут никак повлиять на развитие сейсмической катастрофы. Резкий порыв солнечного ветра — потока заряженных частиц от Солнца — возбуждает в ионосфере магнитогидродинамические волны, которые, в свою очередь, переходят в атмосферные волны малой амплитуды, устремляющиеся к поверхности Земли. Влияние этих волн, действующих на огромной площади, на неустойчивое равновесие сейсмического очага в тот момент, когда землетрясение вот-вот произойдет, едва ли возможно отрицать категорически...»

Но сегодня ионосферные аномалии, провоцирующие климатические и сейсмические процессы, вызываются не только вспышками на Солнце...

Излучения, идущие от установки HAARP, воздействуя на атомы, дают дополнительную энергию, и их электронные

оболочки увеличиваются (примерно в 150 раз по сравнению с нормальным состоянием). Такие активные атомы называются сверхбольшими, а сам процесс — накачкой.

Военные эксперты считают также, что НААРП вполне пригоден для использования в качестве плазменного оружия. Другими словами, создаваемые в атмосфере так называемые плазменные решетки будут служить непреодолимой преградой для самолетов и ракет. При этом рожденные установкой НААРП плазмоиды могут целенаправленно перемещаться в пространстве в любую точку Северного полушария. Для России это означает практически полное накрытие и лишение возможности осуществлять стратегическое сдерживание.

Исследователи, занимающиеся изучением проблемы искусственного создания в ионосфере плазменных решеток, пишут, что ракета или любой другой летательный аппарат, попавший в зону плазменного образования, разрушается под действием собственной кинетической энергии. Однако здесь необходимо отметить еще один негативный фактор, губительный для летящей ракеты, о котором исследователи не упоминают.

Всем известно, что на корпусе автомобиля, самолета, ракеты вся бортовая сеть имеет отрицательный потенциал. Другими словами, масса — это минус, она же корпус. И в случае, если какое-либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются проблемы с бортовой аппаратурой.

Летящая ракета (самолет), попадающая в область искусственно созданного плазменного образования (имеющего огромный положительный заряд), втягивается туда. После чего положительный заряд плазменного образования передается на корпус ракеты (самолета) и в результате моментально выходит из строя вся бортовая электроника. Летательный аппарат полностью теряет управление. Далее под воздействием огромной температуры и вследствие собственной кинетической энергии ракета (самолет) скорее всего будет разрушаться.

Не в этом ли причина целой серии неудач с экспериментальными пусками новейшей баллистической ракеты морского базирования «Булава», аварийной ситуации на борту самолета Ту-154 и его экстренной посадки в ручном режиме на заброшенном аэродроме под Ухтой 7 сентября 2010 года? Ведь все эти события произошли практически на одних широтах Северного полушария.

Уничтоженная мощь

Если американцы так долго и упорно трудились над созданием геофизического (климатического) оружия, то такие

же разработки должны были вестись и у нас. Вот почему более чем закономерен вопрос: какова их судьба? Может ли Россия ответить ударом на удар, парировать нападение или хотя бы обнаружить и доказать факт геофизической агрессии?

Ближайшим техническим аналогом НААРР являлась Красноярская радиолокационная станция, уничтоженная при правлении Горбачева по настоянию Вашингтона.

Тогда, на рубеже 90-х, на фоне роспуска Организации Варшавского договора, расформирования самой мощной в мировой истории наступательной группировки — Западной группы войск и сдачи на разделку многих десятков кораблей, сотен самолетов и тысяч танков, оказавшихся в одночасье «ненужными», гибель Красноярской РЛС, так и не успевшей вступить в строй, была замечена немногими. Но и сегодня даже отрывочные сведения о ней внушают невольное уважение к ее создателям и объясняют, почему американцы так настойчиво добивались ликвидации этой станции.

С одной стороны, Красноярский радар, входивший в Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), мог работать вроде бы как обычный радиолокатор, правда, наделенный уникальными характеристиками. А с другой — мощность излучения РЛС была такова, что она обладала способностью попросту сжигать радиолучом ею же нащупанные цели, то есть действовать как система ПВО и противоспутникового оружия с мгновенным поражением нужного объекта.

Какой была максимальная мощность Красноярской станции? Сведущие люди говорили просто: «В нужный момент на нее просто переключалась бы Красноярская ГЭС», а это несколько миллионов киловатт! В день «Д» эта станция могла максимум за сутки сжечь всю спутниковую группировку США, решив исход глобального конфликта и выбросив американцев из космоса. И тогда Соединенные Штаты постарались с помощью Шеварднадзе и Горбачева уничтожить радар.

Намечалось ли использование Красноярской РЛС для целенаправленного влияния на геофизические процессы? Трудно сказать. Во всяком случае, даже в качестве радара и противоспутникового оружия она с лихвой окупала все затраченные на нее деньги.

Как и многие американские проекты типа полета к Марсу и гиперзвукового самолета, НААРР был выстроен «на костях» советского прототипа: по мере развала отечественного оборонно-промышленного комплекса из него сначала «выкачивались» идеи, потом — отдельные технологии, изделия и специалисты, а закончилось все откровенной скупкой на корню целых организаций и научных коллективов.

Поэтому начало сотворения HAARP далеко не случайно совпало с гибелью Красноярского радара и крушением основных предприятий-разработчиков. В течение 10 лет технические возможности системы поэтапно наращивались. Сегодня официально заявленная мощность передатчика HAARP — «всего» 6,5 МВт, как раз на уровне первой в мире Обнинской АЭС. Но в реальности этот показатель может достичь и 65, и 650 МВт, и гораздо более высоких значений.

За последнее десятилетие американским ученым удалось собрать колоссальную научную информацию по физике атмосферных и геофизических процессов. Тысячи и тысячи людей, прихватив с собой плоды своих и чужих многолетних трудов, ринулись в битву за грантами США и контрактами. И каждый из них внес посильный вклад в создание чужого оружия. Только перечисление крупных организаций, настезь распахнувших двери для своих американских «коллег», заняло бы не одну страницу.

Обветшавшая, но живая «Сура»

В Советском Союзе имелаась и своя программа HAARP. Ее реализация привела к появлению объекта «Сура», который находится в центральной полосе России, в глухих местах — в 150 км от Нижнего Новгорода. Принадлежал он Научно-исследовательскому радиофизическому институту, одному из ведущих НИИ СССР.

Сегодня объект, изучающий возможности воздействия на погоду, представляет собой несколько проржавевший и потрепанный, но все еще функционирующий стенд. На площади 9 гектаров стоят ровные ряды 20-метровых антенн, поросших снизу кустарником. В центре антенного поля расположен огромный рупор-излучатель — с его помощью ученые исследуют акустические процессы в атмосфере. На краю поля — здание радиопередатчиков и трансформаторная подстанция, чуть вдалеке — лабораторный и хозяйственный корпуса.

«Сура» введена в эксплуатацию в 1981 году. На этой совершенно уникальной установке были получены крайне интересные результаты поведения ионосферы, в том числе открыт эффект генерации низкочастотного излучения при модуляции ионосферных токов, названный позднее по имени основателя стенда «эффектом Гетманцева». На первых порах работы на «Суре» финансировались в значительной мере военным ведомством, но после развала СССР ассигнования прекратили выделять.

Насыщать на Америку ураганы нижегородский объект не умеет. Но исследования взаимосвязи стихийных бедствий с возму-

шениями в ионосфере и магнитосфере все-таки велись. В начале 80-х годов, когда «Сура» только начинала активно использоваться, в небе над ней наблюдались интересные аномальные явления. Многие работники видели странные пылающие красные шары, висевшие неподвижно или с большой скоростью проносившиеся в небе. Однако это были не НЛО, а лишь проявления люминесцентного свечения плазменных образований.

До недавнего времени «Сура» работала примерно по 100 часов в год — у института не хватало денег на электроэнергию для нагревных опытов. Лишь один день интенсивной работы стенда мог лишить полигон месячного бюджета. США же проводили эксперименты на HAARP по 2000 часов ежегодно, то есть в 20 раз больше. Размер ассигнований, по самым приблизительным подсчетам, составлял 300 миллионов долларов в год. Российская наука тратила на аналогичные цели всего 40 тысяч долларов, то есть почти в 7500 раз меньше! А между тем американцы вводят в строй все новые аналогичные комплексы на Скандинавском полуострове и территории Гренландии.

Исходя из этого можно утверждать, что околоземное пространство — атмосфера, ионосфера и магнитосфера Земли в ближайшее время, через год-два могут быть подвержены модификации, то есть изменены. Вряд ли нам следует ждать добра от Соединенных Штатов, когда они завершат разработку эксклюзивного оружия. Достаточно вспомнить Хиросиму и Нагасаки. А тут выходит, что США получают возможность наносить удары атмосферой, ионосферой, магнитосферой, то есть окружающей нас средой.

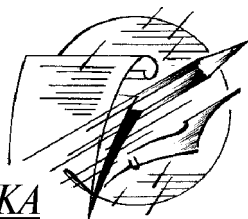
Американцы раньше всех поняли, что не только военной силой жива великая держава. Как когда-то жрецы, обладавшие тайным знанием, доминировали в племени, так же теперь страна, владеющая передовой научной информацией, недоступной другим, доминирует на планете. Допуск к знаниям в конечном итоге и будет определять роль и место государств постиндустриального типа в мировой иерархии. Уже сегодня США используют все, чтобы профинансировать те работы, которые приводят к принципиально новым технологиям, материалам, элементной базе.

Если так и дальше пойдет, мы рискуем лишиться главного, а именно — понимания того, что там у них происходит, где грань между оружием и исследовательской лабораторией, между целенаправленным уничтожением целых народов и проведением научных экспериментов.

КАПИТАЛИЗМ — ПРАВОСЛАВИЕ — СОЦИАЛИЗМ

Христианство и идеология рынка

Одной из мучительных неопределенностей нашего времени, тянущейся вот уже второе десятилетие, является идеологическая бесформенность и аморфность общественного сознания, неспособного до конца осознать происходящее со страной и как-то назвать вещи своими именами. Отказавшись от социализма и фактически давно уже встав на рыночно-капиталистические рельсы, общество никак не решится принять данную реальность на официальном идеологическом уровне, стыдливо прячась за туманными понятиями «гражданского общества», «цивилизованного рынка», «социального государства» и «конкуренентоспособной экономики». Эта стыдливость осталась до конца не преодоленным идеологическим комплексом начала 90-х, когда капиталистические принципы хозяйствования в самых диких своих формах внедрялись в реальную жизнь общества в обход прямого общественного осознания под видом идеологического расплывчатого «курса реформ». Де-факто мы давно уже в капитализме, но официальная власть по-прежнему не решается ясно объявить нам об этом в идеологически внятной форме. Наоборот, иногда вообще создается впечатление, что она (власть) и сама еще идеологически не



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

определилась, периодически задаваясь вопросом о поисках национальной идеи. Это, конечно, лишь игра на публику, да и общество прекрасно понимает, что происходит, только не решается до конца признаться себе в этом. Потому что немножко стыдно. И перед национальной историей, и перед национальными идеалами, и перед личной совестью. И в этом есть некоторый обнадеживающий момент: национальное самосознание не спешит легитимизировать капиталистические формы отношений на государственно-идеологическом уровне, чувствуя их внутреннюю неприемлемость для национальной совести. И этому есть свои веские основания...

Переход от социализма к капитализму — не просто смена экономической системы как якобы менее эффективной на более эффективную. За этим переходом стоит кардинальный переворот мировоззренческой парадигмы — смена духовно-нравственных ориентиров. Сущностное, цивилизационное различие между капитализмом и социализмом лежит не в сфере производства или перераспределения прибыли — а в области морали и этики. Поверхностное общественное сознание, легко подверженное обработке СМИ, чувствуя лишь некоторую экзистенциальную дискомфортность, не склонно глубоко анализировать морально-нравственное значение свершившегося переворота, пассивно принимая новые, неведь кем установленные правила игры как простую историческую данность. Труднее понять молчаливое принятие данной мировоззренческой деградации со стороны христианского сознания, и шире — самой православной Церкви...

Антихристианская сущность капитализма многократно обличалась христианской (славянофильской) мыслью еще в XIX веке. Неужели капитализм с тех пор преобразился в нравственном смысле? ...Отнюдь. Его начала — незыблемы и универсальны в истории, как по экономическим причинам, так и по духовно-нравственным основаниям. Единственной этической альтернативой капитализму оказывается социализм — именно на этической критике капитализма он формировался в истории. В своей работе «Христианство и социализм» С. Булгаков пишет: «Капитализм есть организованный эгоизм, который сознательно и принципиально отрицает подчиненность хозяйства высшим началам нравственности и религии, он есть служение мамоне... Никогда еще в истории не проповедовалось и не проводилось в жизни такое безбожное, беспринципное служение золотому тельцу, низкая похоть и корысть, как ныне... Если по духовной природе своей капитализм в значительной мере является идолопоклонством, то по своему общественному значению для социальной жизни он покрыт пре-

ступлениями, и история капитала есть печальная, жуткая повесть о человеческой бессердечности и себялюбии. Одним словом, мы должны, не обинуясь, сказать, что социализм прав в своей критике капитализма, и в этом смысле надо прямо и решительно признать всю правду социализма».

Не менее решительное обличение антихристианских начал капитализма как бесчеловечной власти капитала (или мамоны), мы находим у многих православных святых, в частности, у пр. Симеона Нового Богослова и св. Иоанна Златоуста. Последний пишет: «Сребролюбие возмутило всю вселенную; все привело в беспорядок; оно удаляет нас от блаженнейшего служения Христу: ибо не можете, — говорит Он, — Богу работать и мамоне (Мф. 6. 24), ибо мамона требует совершенно противоположного Христу. Христос говорит: подай нуждающемуся, а мамона: отними у нуждающегося; ...Христос говорит: будь человеколюбив и кроток, а мамона напротив: будь жесток и бесчеловечен, считай ни за что слезы бедных...» Могла ли и может ли русская душа принять для себя эти принципы в качестве нормы социальных отношений?

Основная трагедия нынешнего ига не в том, что разрушается промышленность, государственность и даже не демографическая депопуляция, а в том, что под видом «новой экономики» нам навязывают «новое мировоззрение». Рыночная экономика основана на особой асоциальной системе ценностей, совершенно калечащей традиционное русское самосознание. В этом действительная и главная угроза гибели русской цивилизации. Факт состоит в том, что капиталистические принципы хозяйствования никогда не были (если не считать незначительного предреволюционного периода конца XIX — начала XX в.) свойственны русскому народу и русской государственности; и не столько по причине исторической отсталости, сколько по специфике национального духа, по-христиански отрицавшего стремление к обогащению, индивидуализм, ростовщичество и т.д. Эти же принципы как подсознательное христианство полностью были сохранены в советской России XX века. Тем более странным выглядит на этом фоне сегодняшнее молчаливое принятие церковным сознанием капиталистической формы государственной самоорганизации, несущей с собою губительное для национального духа рыночное мировоззрение. Надо понимать это четко: невозможно иметь «американскую» модель хозяйственно-экономической организации и при этом сохранять русское православное мировоззрение! Еще в начале 90-х митр. Иоанн говорил: идет «дикий процесс экономической дехристианизации Руси» — неужели сейчас это не актуально?

Рыночная экономика невозможна без особой *рыночной идеологии*, перестраивающей всю систему общественных отношений по законам рынка. Если основой социальных отношений в традиционных обществах всегда являлись исторически и национально устоявшиеся нравственные нормы, освященные в первую очередь религиозным смыслом, то рынок предлагает новую и универсальную (безнациональную и безрелигиозную) основу социальной самоорганизации — механику меркантильного интереса. Фундаментальным управляющим смыслом социально-общественных отношений становится здесь *мамона!* При этом для эффективности рынка (как механизма) крайне необходима свобода от всяческих нравственных, моральных и религиозных ограничений, что и порождает идеологию *экономического либерализма*, преобразующуюся на личном уровне в эмансипацию индивида от традиционных норм общественных связей.

Индивидуализм — фундаментальный антропологический корень капитализма, его исходная духовно-психологическая интенция. Протестантизм не случайно стал одним из основных родоначальников европейского капитализма: в его доктрине личной избранности, индивидуального спасения, в отсутствии понятия о соборном единстве Церкви — дух капитализма нашел себе первичное религиозное оправдание. Здесь дух капитализма оказывается локализованным в индивидуально отчужденном сознании протестанта, откуда уже и исходит во внешний мир в качестве экономической реализации *духа индивидуализма*. Симптоматично, что протестантизм является конечной ветвью европейского христианства, где христианство по существу иссыкает, сливаясь с миром. То есть в историческом и духовно-религиозном смысле можно сказать: **там, где кончается христианство — начинается капитализм!**

Капитализм немислим вне индивидуализма, любое рыночное предпринимательство всегда ориентировано на себя, на свой личный интерес. Оговорки типа: «...зато я даю людям рабочие места» всегда вторичны. Возможны, конечно, и исключения, но они не отменяют правила. Даже при самых благонамеренных попытках христианского оправдания предпринимательской деятельности, основанной на личном интересе, при самых обтекаемых и сбалансированных формулировках, никогда не преодолевается этот принципиальный нравственно ущербный барьер — служение себе. К сожалению, наглядный пример подобной ущербной (если не сказать извращенной) попытки христианского оправдания предпринимательской нравственности дает «Свод нравственных принципов и правил в хозяйствовании», принятый в феврале

2004 г. на VIII Всемирном Русском Народном Соборе. Этот документ невозможно читать без какой-то внутренней тошноты, настолько густо он замешан на духовно-нравственном лукавстве. Каждый его пункт, каждая мысль, как бы высоко и благородно ни поднималась, в итоге все равно замыкается на себя, на отчужденную от общества *самость* предпринимателя, ищущую даже в самых высоких заповедях личный предпринимательский интерес. В этом документе нет ничего специфически христианского или русского, в своей нравственной обтекаемости он вполне удовлетворит и любого предпринимателя-иудея (что, видимо, и подразумевалось разработчиками), так как всегда оставляет некоторую нравственную нишу для относительно-личного понимания меры экономической справедливости в отношениях с обществом и ближним. Это же относится и к мере жертвенности и благотворительности — в любом случае она ограничивается личной (остаточной) *мерой достатка*, которую предприниматель определяет для себя сам. В то время как христианское понимание жертвенности предполагает полную самоотдачу Богу и ближнему по примеру «лепты вдовы» (Мк. 12. 41-44).

В этом евангельском смысле ниша отчуждения предпринимателя есть, по существу, скрытая духовная язва, незаметно разъедающая душу и духовную жизнь человека, сделавшего предпринимательство принципом своей деятельности. Эта деятельность всегда двойится и разрывается между стремлением к богатству неправедному и нравственной чистотой христианской совести. Это ее принципиальное и неотъемлемое свойство. Поэтому в системе конкурирующего рынка русская христианская совесть всегда (!) будет уступать внехристианской предпринимательской совести — иудейской, мусульманской, атеистической, — но и сама в себе никогда не сможет преодолеть это внутреннее нравственное раздвоение. Ибо, ну «не можете служить Богу и мамоне»...

Социальная проекция данной предпринимательской дилеммы выражается иначе: «служение *обществу* или служение *себе*». В начале 90-х на этой почве был очень популярен лозунг: «богатые граждане — богатое государство»; или, по простому: «обогащая себя — обогащаешь общество». В последнее время об этом молчат, слишком очевидна ложь подобной установки: по количеству миллиардеров мы уже почти догнали Америку, однако по уровню благосостояния находимся на уровне слаборазвитых стран. Этот лозунг был нужен лишь для преодоления нравственно-психологического барьера, для старта капиталистической гонки.

Сущность предпринимательства — стремление к прибыли, оно же главный двигатель капиталистической экономи-

ки. Но что это такое, если не *любостяжание*? Если не выгодно, никакой предприниматель ничего делать не будет. По существу, здесь страсть к любостяжанию (грех) ложится в экономическое основание общества. Но так как экономика является главным формообразующим началом социальных отношений, то и вся общественная система оказывается пронизанной греховным началом. Рыночники утверждают, что не существует более эффективного естественного экономического начала: погоня за прибылью (как страсть!) способна развивать максимальную экономическую эффективность. Может, это и так... Но тогда не будем говорить о христианстве.

Обратная сторона рыночной эффективности — *потребление*. Чем выше уровень потребления, тем эффективнее экономика, поэтому она неизбежно сопровождается разжиганием *духа потребления*, т.е. той же страсти! С одной стороны, — страсть к прибыли, с другой, — страсть к потреблению; христианство здесь, действительно, — «третий лишний». Не случайно «Бог умер» (Ницше) одновременно с торжеством капитализма. По существу, «рынок возможен только в атеистическом мире, в безрелигиозном пространстве... — пишет В.Варава. — Что такое христианство? Любовь, жертвенность, соборность, нестяжательство, сострадание, простота, борьба с любостяжанием, серебрюлием, чревоугодием. Все то, чего нет и не предполагается рыночной идеологией». Здесь и обнажается качественная духовно-нравственная противоположность двух экономических систем современной организации общества. По словам Ф.Карелина, «основное *нравственное* различие между капитализмом и социализмом как раз в том и состоит, что капиталистический способ производства *экономически* нуждается в грехе (алчности предпринимателей и развращенности потребителей), а социалистический способ производства *экономически* нуждается в добродетели (честность, бескорыстие, справедливость). В принципе, капиталистический способ производства ставит ставку на самые темные стороны человеческой природы, социалистический — на самые светлые».

Суммируя все вышесказанное, можно вслед за Ю.Бульчевым повторить: «Западной формуле *«секуляризм, либерализм, капитализм»* мы можем логически и практически противопоставить русскую формулу *«христианство, соборность, социализм»*, подразумевая, конечно, что соборность, в отличие от коллективизма, имеет свой идеал в церковности и не противоречит личности. Вполне очевидно, будут внутренне противоречивы и практически негодны модели, включающие в один ряд *христианство, либерализм, капитализм; христианство, соборность, капитализм; или христианство, либерализм, социализм»*.

В противоположность буржуазному индивидуализму и его идеологическому оправданию — либерализму, русская и советская традиции всегда утверждали общинность и коллективизм как важнейшие основания общества. Глубокий этический смысл социализма состоит не только в практической справедливости, реализуемой на социально-экономическом плане, но и в особом чувстве соборно-органичного единства общества, понимаемого в качестве единой семьи. По своему высокому духовно-социальному смыслу социализм есть раскрытие понятий *общинности* и *соборности*, являясь их своеобразным синтезом. Развивая в этом ключе мысль Г.Шиманова, можно сказать: если слово «общинность» выражает идею согласия и единства сравнительно малого коллектива (причем согласия во многом первоначального, т.е. не всегда и не во всем глубокого); если слово «соборность» выражает собою идею уже окончательного и бесконечно глубокого согласия и единства всего творения Божия (или идею приближения и такой гармонии), — то слово «социализм» выражает особую (промежуточную), интегрированную в количественном и качественном отношении идею, в которой *социальная* правда общинности органично сочетается с *духовной* правдой соборности.

Идея действительно христианского общества состоит в том, чтобы «каждый заботился бы обо всех, а все заботились бы о каждом», то есть элементарным основанием социальных отношений в таком обществе становится любовь, а не меркантильные интересы, взаимопомощь, а не взаимовыгода. На личном этическом плане забота каждого обо всех реализуется в понятии *служения обществу*, понятии, имеющем глубокий христианский смысл. Именно служение обществу, а не служение себе составляет главное нравственно-этическое отличие социализма от капитализма, и в этом социализм оказывается глубоко близок и органичен русской народной традиции.

В традиционной русской государственности, еще со времен Московского Царства, вся структура социальной иерархии от монарха и боярина до крестьянина была подчинена (хоть не всегда в явной юридической форме) принципу *служения* — все были служилыми людьми государства. Это было не просто внешним установлением, но и внутренней нормой христианской нравственности. Высшим примером общественного служения, самоотдачи и жертвенности был для русского человека сам Христос, сказавший о Себе: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но

чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мк. 10. 45). На заповедях христианства формировал русский человек свою социальную этику: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя» (Ио. 15. 13). В этом состояла невидимая скрепа российской державности, связывающая весь народ и все сословия в единый социальный организм. Этот принцип был закреплен и юридически: до 1762 г. все дворянство состояло на службе у государя, а крестьяне (до 1861 г.) — на службе у дворянства.

Подобный же принцип обязательного общественного служения (хоть и в более формальном смысле) был восстановлен в полном объеме и в России советской. Партия, коллективизация, пятилетки, стахановство и многое другое — все это было подчинено идее единого служения и единой цели — благу общества и человечеств. Именно эта внутренняя духовно-нравственная сила позволила советскому народу совершить свои исторические подвиги: подъем народного хозяйства, победа в Великой Отечественной войне, выход в космос и многое другое. И это не было чисто казарменной, механической организацией общества (как это пытаются ныне представить), за всем этим стояла сознательная самоотверженность русского человека, готовность его «положить живот за други своя», т.е. глубокое понимание принципа общественного служения как одного из фундаментальных оснований высшей человеческой нравственности. Однако коммунистическая нравственность, при всей ее декларируемой человечности, была оторвана от христианских истоков, и обязанность «общественного служения» часто оказывалась принудительной. Очень скоро сила и убедительность коммунистических идеалов поблекли: в людях исчезло чувство общего государственно-исторического дела, а с ним и обязанность общественного служения. Та катастрофа, которую мы пережили в начале 90-х, есть прямое следствие утраты этого единого чувства общественного долга и служения — в народе и, в первую очередь, в самой руководящей партии, которая в последние годы своего правления из органа служения превратилась в орган привилегий. Тотальная гражданская безответственность проявилась в критический момент истории во всем советском обществе — в армии, в директорском корпусе, в интеллигенции, да и в массе обыкновенных обывателей: слишком многие думали скорее о растаскивании государственного добра, чем о защите государственных интересов. Только этим объясняется та удивительная легкость, с которой за несколько лет рассыпалось в прах одно из величайших государств мира: общество полностью исчерпало

монолитность своего идейно-нравственного единства, невидимое существо которого составляет этика общественного служения.

Впрочем, переход от социализма к капитализму (как общественно-историческая деградация) и не мог происходить иначе. Резкий сброс общественно значимых смыслов привел к раскрепощению собственнических инстинктов — исходной позиции буржуазной морали. Собственно мораль как таковая в рыночном обществе отходит на второй план. Ее место занимает безликий механизм денежного регулирования, тотально подчиняющий своему влиянию все сферы личной и общественной жизни. Этот механизм не только обходится без каких бы то ни было нравственных оснований, но сплошь и рядом преступает эти основания, ибо человек как таковой (как духовное существо) в денежных отношениях исчезает. Он просто подавлен тоталитарно-механической властью денег, которая регулирует всю его жизнь от рождения до смерти. Поэтому современное западное общество предпочитает быть прагматичным, утилитарным и сухим — по сути бездушным, чтобы денежный механизм работал без сбоев. Ибо все как один участвуют в единой гонке за прибылью, где «все против всех», где ближний и дальний — лишь средство для извлечения прибыли. Этой стайной энергией «социальных хищников» и держится буржуазная государственность. Для нее излишни сентиментальности общественного долга, социальной справедливости, человеческого братства. Мировой порядок на основе универсальной «религии денег» для этой системы — вершина мироустройства, где ничем не ограниченная рыночная экспансия достигает предельных, глобальных масштабов. Подразумевается, что это и есть «конец истории» — окончательное формирование прагматичной, универсальной модели для всего мира, лучше которой уже ничего невозможно; поэтому ее рыночные законы должны стать единой этической нормой всего объединенного человечества.

Суть же «безнравственной этики» капитализма, в отличие от социалистического и христианского понимания отношений человека и общества, состоит в том, что вместо императива служения обществу в нем торжествует эгоистический принцип служения себе, что и определяет нравственную неприглядность капиталистической государственности: гримасы ее культуры, политики и экономики. В различии духовно-нравственных оснований обществ и состоит, по сути, качественное отличие цивилизаций (в нашем случае русской и западной), о которой говорил в свое время Н.Данилевский (а позднее и А.Тойнби). Именно религиозно-мировоззренчес-

кое отличие определяет и непрекращающуюся идеологическую войну Запада против России, объективно весь XX в., удерживавшей мир от сползания в стихию рыночной апостасии. По этой же причине мишенью агрессивной западной экспансии становятся ныне и страны исламского мира, а также Китай как сохранившие в себе традиционные национально-осмысленные начала организации общества.

Здесь можно коснуться особого естественно-исторического измерения социализма, проявляющего себя как раскрытие традиционного (национально обусловленного) общественно-бытия. В целом социализм как общественный строй образован двумя составляющими — общественной собственностью в области хозяйственно-экономической деятельности и идеологией, обеспечивающей нравственно-этическое обоснование этой общей собственности в общественном сознании. Фактор идеологии выступает здесь как форма легитимизации *общества* в качестве высшего субъекта (владельца) общественной собственности. При этом разновидностей социалистической идеологии может быть столько, сколько и обществ. Вот как пишет об этом Г.Шиманов: «Социализм по своей сути есть идея общей собственности. Общая собственность предполагает ведение общего хозяйства в общих интересах всех членов общества — таков объективный ее смысл. А как этот объективный смысл будет осознан членами общества и как будет осуществлен на практике, зависит уже от нравственного и интеллектуального состояния членов общества. То есть главным образом, от той или иной господствующей в обществе идеологии. Из чего следует, что разновидностей социализма может быть... столько, сколько в мире народов с их представлениями о ценностях и способах организации жизни.

Общая собственность есть логическое и практическое следствие идейного и нравственного единства членов общества, а также символ и гарантия нерасторжимости их интересов. У эгоистов и людей, чуждых друг другу, общей собственности быть не может. У них возможна лишь складчина личных собственности, на основе которой возникают акционерные и кооперативные общества. А нераздельной собственности, принадлежащей всему коллективу (семейному, общинному и национальному) у них нет».

Понять глубокую естественно-природную правду социализма можно на примере семьи. Семья как микромодель социализма полностью отражает всю духовно-нравственную и социально-экономическую правду идеи социализма, являясь, по существу, ее прямым онтологическим и социально-историческим источником. Семья есть прежде всего *со-*

циальный организм, основанный на метафизическом единстве любви, покрывающей собой все внешнее материально-эмпирическое разделение (физическое, имущественное, психологическое и т.д.). Понятия *частной* и *общей* собственности в семье излишни, вся собственность, безусловно, является общей, за исключением естественной и минимальной *личной* собственности как необходимого элемента быта. Абсурдность частнособственнических интересов в семье очевидна — это крах семьи; отсюда же неуместность и любых иных форм *индивидуализма* как нравственного преступления против любви, основы семейного единства. Наоборот, самоотдача, жертвенность, взаимопомощь, естественная обязанность трудиться на благо семьи придают семейному хозяйству (в его традиционном виде) особые гармоничные черты: цельность, самодостаточность, внутреннюю эффективность. Функции идеологии в семье, определяющей характер и смысл совместного бытия, несут нравственно-этические традиции семейных отношений, передающихся от поколения к поколению, и определяемые теми или иными религиозно-мировоззренческими основаниями. Разрушает семью всегда грех эгоистических (частнособственнических) интересов, когда та или иная форма эгоизма преступает идеологические законы семейного общежития.

Далее в этой естественной линии социализма идет община и национальное государство. Последнее, безусловно, так и складывалось в истории: семья — община — государство, где принцип органической целостности являлся сквозным и определяющим. Однако очевидное ослабление метафизического начала общественного единства — человеческой любви — при количественном и качественном усложнении данных социальных образований (от семьи до государства) неизбежно приводило к «механизации» структуры социальных отношений, к огрубению идеологических конструкций в форме внешнего государственного Запада, за которым уже с большим трудом просматривалась изначальная онтологическая правда и основа человеческого общежития. Поэтому непреходящее социальное значение христианского откровения состоит в том, что оно не только восстановило тайну любви на межличностном уровне отношений человека со своим ближним, но и подняло ее значение на общесоциальный уровень — *«все же вы братья»*, открыв тайну метафизического единства людей во Христе на семейном, на общенациональном и общечеловеческом уровне.

Лишь христианское основание может служить надежной опорой социальных отношений. Организация хозяйства на

базе общей собственности на высших социальных уровнях (община, государство) требует от членов общества повышенного нравственно-этического уровня — так, чтобы в процессе отношений могла быть сохранена *братская* составляющая отношений; только тогда общественная собственность останется благом (в экономическом и в духовно-нравственном отношении), а не превратится в источник разрухи и раздора. Именно подобный положительный пример являют нам христианские монастыри, замкнутые в единый одухотворенный хозяйственный организм на основе духа братства.

В связи с этим открывается понимание одной из принципиальных ошибок советского коммунизма XX века, стремящегося к воплощению идеального человеческого единства сразу на общечеловеческом уровне, минуя ту естественную стадию органичного общественного бытия, которой является национальное государство. Отказ от опоры на естественное, фундаментальное в своей метафизической сущности единство нации, а также всяческое вытеснение *национального* из общественного сознания фактически противоречили идее социалистического единства общества, значительно уменьшали (если не уничтожали вовсе) притягательность социализма как органического социального образования. Это особенно относится к русскому вопросу в советском социализме, на котором фактически держалась вся тяжесть нового социального строительства, т.к. в союзных республиках национальное начало так или иначе поддерживалось. Гипертрофированный интернациональный элемент в коммунистическом строительстве перечеркнул вариант органичного национально-осмысленного развития социализма, изначально определив неполноценность социалистического эксперимента в России. Во многом именно это космополитическое (а не социалистическое) начало русской революции явилось катализатором отрицательной реакции русского национального организма на первые шаги Советской власти, разлившейся по России в форме гражданской войны.

Но советский интернационализм — ничто по сравнению с другой крайностью космополитической государственности, каковой является государственность США. Это исключительный в истории человечества пример государственности, начисто лишенной какого бы то ни было внутреннего единства, фактически представляющей нечто вроде гигантского акционерного общества, где все единство определяется лишь корпоративной заинтересованностью в получении прибыли совершенно чуждыми друг другу членами общества. Человеческое начало присутствует в этом обществе лишь самым

формальным, внешним образом, все же реальное содержание человеческих отношений подменяется меркантильными (финансовыми) интересами. В метафизическом смысле — это своего рода государство наизнанку, где то, что должно быть причиной (человеческие отношения) становятся следствием; а то, что должно быть следствием (формализация этих отношений), — становится причиной. Однако именно так и родилась так называемая «американская демократия» и американская конституция, когда изначально разрозненное, атомизированное общество частных предпринимателей утвердило эту атомизацию в качестве главного структурного принципа своей государственности.

«Ну и что, — скажут нам, — зато какая эффективность хозяйственности!» Но аргумент ли это для христианского сознания? Наоборот. Погоня за выгодой, за успехом, за богатством есть нравственный тупик и погибель для человеческой души. Тотальность капиталистического принципа «все для себя» (или, что то же самое, «все против всех») ожесточает душу, разрушает совесть, омертвляет человеческие отношения. И наоборот, общинный, социалистический принцип «все для всех» раскрывает высшие начала нравственности в человеке, его лучшие, с христианской точки зрения, человеческие качества: взаимопомощь, жертвенность, сострадание и т.д. Забота о ближнем и о ближних облагораживает человека, делает его богоподобным по образу Бога, «возлюбившего всех», научает его действенной (а не иллюзорной) любви, приближая в конечном итоге к нравственному совершенству. В противоположность американской социальной атомизации, политически закрепленной в понятии либеральной демократии, в русской православной традиции есть понятие «христианская соборность» — то высшее состояние общественного единства, в котором гармонично сочетаются множество человеческих индивидуальностей, духовно преодолевших свое эгоистическое начало. Такое высшее духовное единство возможно лишь в Боге через познание богочеловеческой и общесоциальной (церковной) природы Христа. Поэтому евангельская цель социального совершенства — не «экономическая данность», а духовная заданность. На этом пути лежит путь к совершенному обществу.

В практическом отношении совершенное общество также не может не иметь качественных социальных отличий. Так, камнем преткновения в вопросе о социализме в христианском и общественном сознании остается вопрос о социалистическом отрицании частной собственности. Противоречивость этого вопроса имеет глубокие и многосторонние про-

явления: исторические, экономические, этические, психологические, практические и т.д., поэтому однозначно решить данный вопрос, видимо, не представляется возможным. Тем не менее логика социализма в этом вопросе имеет вполне отчетливое оправдание с позиций христианской этики.

В евангельском повествовании и апостольских посланиях не говорится прямо о частной собственности как каком-то важном атрибуте человеческого существования. Скорее, наоборот, многократно упоминается о несправедности и даже гибельности богатства и собственности: «Горе вам, богатые!» (Лк. 6. 24). Собственность (имение) предстает как препятствие к совершенной жизни, от которого нужно освободиться: «Все, что имеешь продай и раздай нищим... и приходи, следуй за Мною» (Лк. 18. 22). Более того, сама духовная максима христианства по отношению к материальной стороне человеческого бытия звучит предельно нестяжательно: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться...» (Лк. 12. 22), призывая человека к упрощению этих отношений, к снятию психологической зависимости от мира вещей во имя освобождения своей души для духовного мирозерцания. Понятие «частная собственность» выступает в этом контексте антиподом истинно христианского устройства человеческого духа. Не случайно св. Иоанн Златоуст говорит, что понятие «мое» — проклятое и пагубное, что оно привнесено от дьявола. Именно такое отношение к частной собственности культивировалось во всех православных общежительных монастырях, основоположником которых на Руси был преп. Сергей Радонежский, внесший идеал нестяжательности в традицию русской святости и в сознательную простоту крестьянского быта.

В отличие от западного (католического) благоговения перед «святой частной собственностью» русская традиция всегда чувствовала и понимала относительность и условность этого понятия. Так, основоположник славянофильства А.Хомяков считал, что «права собственности истинной и безусловной не существует... Оно пребывает в самом государстве (великой общине). Всякая частная собственность есть только более или менее *пользование*». Так и общественная собственность на землю в русской крестьянской общине прямо отражала представление о том, что «земля — Божия», и никому поэтому лично принадлежать не может, но дается всем в пользование. Право собственности как таковое в этой парадигме принадлежит в первую очередь высшим социально-общественным уровням и отсюда как бы делегируется на нижестоящий: от Бога — государству, от государства — общине, и от общины — человеку. Это патерналистское в своей основе понимание собственности было есте-

ственным образом перенесено и в советскую социалистическую практику — в форме общественной собственности на средства производства, основные фонды и природные богатства. И именно такая форма собственности (как ни странно) в максимальной степени соответствует евангельскому пониманию, где человеческая душа свободна от гнетущего груза собственности, не отождествляет себя с материальной стороной мира и в этом чиста перед Богом и ближними. В то время как частная собственность противопоставляет нас обществу и ближнему, отрывает от единого тела социально-органического бытия. В этом контексте можно даже идти еще дальше и признать, что **частная собственность есть скрытая форма личного присвоения общественной собственности**, т.е. форма самоотчуждения личности от общества на базе материального утверждения собственного эгоистического начала. Именно подобное материальное разделение разрушает и атомизирует общество, отрицая возможность *братского* христианского единения. При этом понятие *частной* собственности следует, конечно, отличать от минимальной *личной* собственности, которая в широком спектре разновидностей присуща нам в современном мире в качестве функционально-жизненной необходимости, но даже и она как «последняя рубашка» может стать мерилom нашей готовности следовать за Христом.

Пока мы оставляем за скобками вопрос об экономической эффективности и общем эволюционном значении *частной* и *общественной* собственности. Хотя можно сразу заметить, что пресловутая погоня за прибылью, а с ней и вся капиталистическая цивилизация, переходящая ныне в стадию антихристианского глобализма, есть прямое следствие частнособственнической парадигмы.

Иногда выдвигается тезис, что Евангелие осуждает лишь *стремление* к богатству, а не само богатство или, что частная собственность — не обязательно есть богатство. Но одно без другого не бывает. Сама частная собственность есть юридическое основание богатства — «правовое воплощение присвоения» (Н. Сомин) — т.е. форма легитимизации самого стремления к богатству. Частная собственность становится здесь материальным основанием капиталистического духа: подстегиваемая стремлением к прибыли (страстью любостыжания) частная собственность всегда стремится стать «большой собственностью», т.е. богатством. Поэтому отмена частной собственности де-факто есть отмена богатства как такового — в этом ее удерживающий смысл. Факт: в советской России не было богатых, не было даже оснований к этому стремиться.

Тем не менее христианское понимание вопроса о частной собственности не исчерпывается отношением к богатству. И.А. Ильин в своей работе «Путь духовного обновления», полемизируя с «коммунистическим злом» (видимо, отталкиваясь от противного), активно отстаивает принцип частной собственности как единственную онтологически оправданную основу хозяйственной деятельности человека. Мотивируя это положение тем, что «частная собственность является той формой обладания и труда, которая наиболее благоприятствует хозяйственно-творящим силам человека» и максимально «соответствует тому индивидуальному способу бытия, который дан человеку от природы». Однако с данной аргументацией можно согласиться лишь отчасти. Так, индивидуальный способ бытия как духовная организация личности и физическая обособленность тела, действительно даны человеку от природы. Но по форме своего естественно-исторического бытия человек в то же время, безусловно, существо социальное; т.е. ему онтологически присущ и общественный аспект бытия — ибо «не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2. 18). Так Евангельское откровение не разделяет эти аспекты (индивидуальный и общественный), но, наоборот, видит их в метафизическом единстве: как прямую обусловленность индивидуального спасения любовью к ближнему, как раскрытие глубокой онтологической тайны единства человеческого сообщества в Боге — «все же вы братья» (Мф. 23. 8).

Поэтому вопрос о частной собственности помимо *личной* имеет и безусловную *общественную* сторону. Кажется убедительным оправдание частной собственности в качестве объекта приложения индивидуального творческого труда; т.к., действительно, именно личностное начало во всех случаях является источником творчества — главного условия эффективной хозяйственной деятельности. Однако социально-общественный статус человеческого бытия подразумевает обязательное включение творческих интересов личности в систему интересов общества. Даже сам продукт индивидуальной творческой деятельности вне общества не имеет смысла. Поэтому в социальной системе, претендующей на общественное единство, *индивидуальное* с необходимостью должно быть ограничено *общественным*, точнее — не противоречить ему. Это достаточно очевидное обстоятельство.

Так, например, размер частной собственности подразумевает в этом контексте некую оптимальную (т.е. ограниченную!) величину, при которой не происходит нарушение социального равновесия в обществе. Действительно, люди не равны по своему творческому, интеллектуальному потенци-

алу, по способностям, склонностям и интересам, но они равны (!) по принадлежности к единому сообществу как его равноправные члены. Поэтому уровни благосостояния членов общества как материальная основа существования должны быть, по крайней мере, соизмеримы, иначе ни о каком «равноправии» речи быть не может. Так, по Ильину, «частная собственность есть власть: непосредственно — над вещами, но опосредованно — над людьми». Поэтому чем больше диспаритет размеров частной собственности (т.е. уровней благосостояния), тем больше эта пресловутая (ничем иным не мотивированная) власть одних людей над другими.

Возможна и функционально необходима в любом структурированном сообществе иерархическая (управленческая) власть одних членов общества над другими — это закон общественного бытия. Но ничем не может быть оправдана власть, источником которой являются лишь *размеры* частной собственности (т.е. капитал). Именно эта власть образует из себя деструктивную теневую иерархию, разлагающую органическое здоровье общества. Особенно это относится к нашему времени, когда частная собственность идентифицирует себя не как средство реализации индивидуального творческого хозяйственного начала, а в первую очередь как обезличенный *капитал*, гарантирующий сам по себе определенный уровень достатка и соответствующее положение в теневой иерархии.

Капитал как таковой (как базовый элемент рынка) уже не есть объект для творчества, т.к. творчество занимается *качеством*, а капитал — исключительно *количеством*. Сущность капитала — это перманентная погоня за прибылью (и Маркс в этом отношении совершенно прав) со всеми вытекающими отсюда набором негативных духовно-нравственных и социальных последствий. Вся «творческая деятельность» по использованию капитала практически заключается исключительно в его увеличении посредством банальной, отработанной веками, капиталистической технологии предпринимательства с ее эксплуатацией, ростовщичеством, протекционизмом, лукавством и т.д. Величина капитала как мера *частной собственности* становится главным мерилom социального положения и власти в теневой иерархии. В итоге мы неизбежно приходим к порочной, деструктивной иерархии капиталистической *олигархии*, подменяющей собой естественную иерархию органической самоорганизации общества. В условиях капиталистического рынка *власть капитала* неизбежно конвертируется в *политическую власть*, подчиняя своим частнособственническим интересам всю инфра-

структуру социально-экономической организации общества. Власть частного капитала начинает превалировать над общественными интересами, которые в условиях свободного рынка оказываются совершенно не защищенными. «Политический рынок как новая реальность либеральной эпохи, — пишет А. Панарин, — ведет к двум опаснейшим деформациям. Во-первых, он уничтожает целостность общества, ставя на его место неупорядоченную мозаику интересов, лишенных какого-либо общественного знаменателя... Во-вторых, товарный статус государственных политических решений, продаваемых на свободном рынке, ведет к появлению нового тоталитаризма — бесконтрольной власти держателей капитала, свободно перекупающих у нации и у социальных групп, представляющих большинство, важнейшие властные решения. В условиях неограниченного действия политического рынка олигархические группы способны скупить, словно векселя у должников, все важнейшие решения, оставив нацию полностью неимущей как в экономическом, так и в политическом отношении, лишенной адекватного представительства и защиты». А если при этом учесть, что «дух капитализма» (по В. Зомбарту) наиболее близок вполне определенной предприимчивой нации, то мы получаем не просто деструктивную властную иерархию, но иерархию *вненациональную, антинациональную и наднациональную* как в отдельно взятой стране, так и в глобальном масштабе. Таково неизбежное последствие реализации в общественном хозяйстве (и в истории) частнособственнической парадигмы.

Поэтому опора на частную собственность в социально-экономической самоорганизации общества есть тупик как в национальном, в государственном, так и в историческом отношении; т.к. в основу общественного единства изначально закладывается деструктивное право отчуждения от общественного организма его материально-хозяйственной инфраструктуры. Последовательное развитие этого принципа неизбежно приводит к распаду системы экономической независимости государства. Так, например, если мы посмотрим на организм человека и выделим в нем систему кровоснабжения (сердце, артерии, капилляры), то покажется абсурдной сама мысль о чем-то независимом владении (управлении) этой системой как *частном*, независимом от организма, интересе. Однако в практике управления *государственным организмом* мы почему-то вполне допускаем такую возможность, отдавая всю государственную систему нефтедобычи в чьи-то *частные* руки, причем даже не особо смущаясь тем обстоятельством, что эти руки на пятьдесят и более процентов принадлежат вообще ино-

странному (!) капиталу. А потом не понимаем, почему наше сельское хозяйство задыхается от хронической нехватки энергетического «кислорода». Абсурд очевиден.

Что же касается полноты раскрытия *творческого* начала хозяйственной деятельности на основе частной собственности, то здесь тоже не все однозначно. Во-первых, творческое начало есть имманентное свойство человеческого духа, способное раскрываться в любой сфере человеческой деятельности безотносительно к форме собственности. А во-вторых, общественно-социальный аспект человеческого бытия подразумевает необходимость баланса *индивидуального* и *общественного* в творческой деятельности человека: индивидуальное начало должно быть непосредственно соотнесено с началом общественным. Более того, в своем гармоничном пределе данное соотношение вообще представляет замкнутую систему: идеальная реализация творческого начала *индивидуальности* есть полная интеграция его в начало *общественное*. Здесь *личное* творчество посвящено не просто удовлетворению некой сугубо индивидуальной потребности, а всецело и сознательно обращено ко благу общества.

Капитализм как антихристианство

Появление капитализма на арене человеческой истории традиционно связывают с хозяйственной актуализацией протестантизма (М. Вебер), придавшего *духу капитализма* (древнему стремлению к наживе) строгий и респектабельный облик. Однако носителем самого *духа капитализма* следует признать значительно более древнюю религиозную традицию — иудаизм, в талмудической версии которого по отношению к неевреям (гоям) прямо благословляется дача денег в рост, т.е. *ростовщичество*, — по существу, самая элементарная форма капиталистической предприимчивости. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост...» (Втор. 23. 19-20). Данный способ отличать своих от чужих, безусловно, мог быть оправдан в рамках ветхозаветного мира на заре первоначального государственного самоопределения еврейского народа, но в условиях христианского мира (в рассеянии) он оборачивался своей безнравственной стороной — способом «жить за счет других». Здесь начало капитализма, совпавшее с оставлением евреями родной земли, с их добровольным рассеянием по торговым путям всего мира. Теперь все окружение еврея оказывалось «иноверным» и иудейский закон предписывал в

этих условиях отдавать в рост, что делало еврея сознательным носителем принципа *ростовщичества* в христианском мире. Новозаветная нравственная истина «все же вы братья» отнюдь не являлась для него авторитетной. Данная религиозно-нравственная диспозиция, с одной стороны, позволяла издавна концентрировать в еврейских руках значительные богатства (капитал), а с другой, — вызывала постоянно растущее недовольство и гонения со стороны христианских народов, для которых активная ростовщическая деятельность евреев являлась социально и нравственно деструктивной. Но богатство легко конвертируется во власть, поэтому, как пишет И. Шафаревич: «Периоды преследований вообще чередовались с периодами, когда евреи, защищенные властями, занимали высокое положение в обществе и оказывали большое влияние на его жизнь. Основа этого влияния всегда была одна и та же: наличие капитала. Как говорит Рот, в XI—XII веках евреи были почти единственными владельцами капитала. Чаще всего источником еврейских капиталов называют ростовщичество... Сообщается о колоссальных процентах, которые брали ростовщики (и это еще официально) — 80, 100, 170 процентов годовых».

Но и генезис современного капитализма, как и его характер, во многих чертах определенно связан с еврейским влиянием на экономическую жизнь западноевропейского общества. Рассматривая взгляды В. Зомбарта, детально исследовавшего данный вопрос в работе «Евреи и хозяйственная жизнь», И. Шафаревич пишет: «Капитализм предполагает капитал, а капитал, утверждает Зомбарт, в позднее средневековье и в начале Нового времени был в значительной степени в руках евреев... Современники часто говорят, что евреи ввозят деньги в страну, а это было первой предпосылкой развития капитализма... Он считает, что евреи создавали предпосылки для развития капитализма современного типа путем разрушения патриархальных принципов традиционного общества. По мере увеличения их роли в хозяйственной жизни на них со всех сторон раздается все больше и больше жалоб. Их обвиняют в том, что они лишают пропитания жителей страны. Жалобы поразительно стереотипны и многочисленны: из Англии, Франции, Германии, Швеции, Польши... Обычно евреев обвиняют в обмане. Но, главным образом, подразумеваются не формальные правонарушения, а разрушение обычаев, норм морали в области торговли — традиций, сложившихся в христианском обществе».

Часто противопоставляют по-своему убедительные взгляды М. Вебера, видевшего начала современного капитализма

в христианской этике протестантизма, и взгляды В. Зомбарта, относившего эти начала к религиозно-нравственному влиянию на хозяйственную жизнь еврейства (иудаизма). Но противоречия здесь никакого нет, если рассматривать поздний протестантизм как конечную форму западноевропейского христианства, практически исчерпавшего свою христианскую сущность под напором процессов апостасии.

В этом контексте представляет большой интерес оригинальная работа Ф. Карелина «Теологический манифест», в которой апостасийная деградация христианских Церквей рассматривается через отношение к важнейшему христианскому таинству — Евхаристии. Как пишет Ф. Карелин, обнаружилась одна удивительная закономерность. Оказалось, что склонность того или иного народа к участию в капиталистическом развитии находится в строгом соответствии и в обратной пропорции к участию этого народа в Евхаристической Трапезе. Чем полнее христианский народ участвует в Евхаристической Трапезе, тем менее склонен он к участию в капиталистическом развитии; чем глубже евхаристическая ущербность христианского народа, тем более активным оказывается его участие в развитии капиталистической системы. Знаменосцами капиталистического развития явились кальвинисты, вовсе отвергнувшие Евхаристическое Таинство. Именно они совершили первые буржуазные революции в Европе и заложили основание капиталистической Америки. Данный подход привел автора к возможности образного толкования «четырех всадников Апокалипсиса» (Откр. 6. 8) в качестве последовательного отступления от Истины христианских Церквей: «Царственное Православие, меченосный Католицизм, бюргерское Лютеранство, и наконец, Кальвинизм, отвергнувший Хлеб жизни...», — непосредственно к последнему и относятся слова «и ад следовал за ним» (Откр. 6. 8.). Здесь, за гранью западноевропейского христианства, и произошла цивилизационная встреча протестантизма и иудаизма, определившая собой «постхристианский» облик современного мира.

Очень показательным в этом отношении принципиальное совпадение исповедуемой кальвинизмом личной богоизбранности ко спасению, проявляющейся, в частности, успехами в мирских делах и классической богоизбранности ортодоксального иудаизма. По этому поводу Ф. Карелин пишет, что хоть в одном случае избрание совершается, «по плоти», а в другом «по духу», но в обоих случаях вне всякого отношения к человеческим понятиям о Добре и Правде. Бесчеловечность такого представления о богоизбранности хорошо выступает

на фоне одного, в высшей степени человеческого, правила из «номоканона», которое помещено в православном Требнике: *«Если кто своих детей, между собой воспитанных, одних про- клинует, а других благословляет, одних ненавидит, других же любит и неравно им раздает свое имяние, как детоненавист- ник да не причастится Божественных Тайн, если же не испра- вится, да отлучится от Церкви»*. В высшей степени поучи- тельная картина, подчеркивает Ф.Карелин: кальвинизм, от- вергнувший Евхаристическое Таинство, представляет себе Бога по образу именно такого отца, которому, согласно суж- дению православной Церкви, приступать к Евхаристичес- кому Таинству не дозволено.

Здесь в теологии кальвинизма происходит искажение хри- стианства значительно более глубокое и опасное, нежели в тенденции лютеранства: если, как пишет Ф.Карелин, край- ним выражением тенденции лютеранской стал безрелигиоз- ный гуманизм, «христианство без Бога», и даже фейербахов- ский атеизм, то крайним выражением тенденции кальвиниз- ма может явиться такая концепция Бога, при которой самые махровые «цветы зла» могут быть объявлены дарами Небес.

Недаром о четвертом всаднике сказано: «и ад следовал за ним» (Откр. 6. 8).

До недавнего времени, в эпоху почти всеобщей секуляри- зации мира, которая, возможно, оканчивается на наших гла- зах, многим ортодоксально настроенным христианам наи- более опасной из двух тенденций протестантизма представ- лялась тенденция гуманистическая. Однако для того, чтобы не ошибиться в духовных прогнозах и, соответственно, в цер- ковной и социальной практике, надо отдать себе ясный от- чет в том, что явится идеологическим оружием зла в его по- пытке осуществить то крайнее и еще невиданное насилие над человеческой совестью, которое именуется в Писании «цар- ством зверя» (Откр. 16. 10): гуманистическая идея самодос- таточного человека или кальвинистическая идея бесчеловеч- ного Бога?

Согласно свидетельству Спасителя (И-н. 5. 43), антихри- сту надлежит прийти через иудейство. Если мы при этом вспомним также и о том факте, что иудейство вышло из сво- ей средневековой изоляции непосредственно по следам пер- вых буржуазных революций и укрепилось прежде всего и глуб- же всего именно в тех странах, в которых кальвинизм одер- живал свои самые крупные победы, — Нидерланды, Англия и, наконец, Америка, то мы увидим, что отнесение вышепри- веденного апокалиптического текста («и ад следовал за ним») в адрес кальвинизма вполне обоснованно.

Таким образом, *иудаизм* как онтологическое антихристианство под прикрытием протестантизма неудержимо проникает в современный мир, актуализируясь в нем в хозяйственно-экономической форме *капитализма*, подчиняя его своему идеологическому, финансовому и политическому господству. Исторически этот процесс начался в раннее средневековье и в настоящее время подходит к своему глобальному завершению. Как пишет В. Зомбарт, «в течение раннекапиталистической эпохи евреи одни ломают рамки старых хозяйственных нравов и становятся на защиту безграничной и беспощадной наживы. Эти идеи сделались потом общим достоянием капиталистического духа уже только в эпоху высшего развития капитализма, т.е. в такое время, когда — особенно в протестантских странах — сила религиозного чувства, бесспорно, пошла на убыль и когда в то же время влияние еврейства распространилось все больше и больше. Несомненно, следовательно, что в своеобразии высшего развития капитализма повинны также и нравственные силы, в частности, повинна религия христианская — тем, что она более не действовала; еврейская — тем, что она как раз еще действовала». Радикальная смена экономической этики, связанная с переходом от средневекового традиционного общества к капиталистическим формам хозяйствования, позволяет говорить о том, что, когда христианская Европа перешла от традиционного феодализма к капитализму, она в известном смысле стала иудейской, — т.е. перешла в иудаизм в той мере, в какой евреи стали видимым олицетворением новой экономической системы. В этом контексте капитализм приобретает отчетливую конфессиональную окраску и, по существу, не будет большим преувеличением сказать, что «капитализм — есть высшая стадия иудаизма». Данная неразрывная связь капитализма и иудаизма, всемерно отразившаяся во внутреннем строе и эмпирическом существовании еврейства, позволила К. Марксу в одной из своих работ даже высказать сакраментальную мысль: с исчезновением капитализма исчезнет и еврейство.

Переход от традиционной формы хозяйствования к капиталистической происходит тогда, когда *деньги* (капитал) отчуждаются от *товара* и становятся самостоятельным субъектом рынка. Олицетворением этого факта в современном мире является биржа, где капитал стал смыслом, центром и «богом» всей экономической деятельности. Можно сказать, что традиционный мир как общество *предметной* хозяйственной экономики, основу которого всегда (от начала цивилизации) составлял конкретный человеческий труд, перевернулся, и в его основу лег *капитал* как мерило бытия, свободы и власти.

Принцип традиционного (товарного) производства *товар—деньги—товар* подразумевает самодостаточность и замкнутость системы товарного обмена, исходящую из реальной потребности жизнедеятельности и целиком основанную на предметном труде как базовом (первичном) источнике товара. Капиталистический же принцип *деньги—товар—деньги* совершенно отчужден и обезличен как в отношении труда, так и в отношении реальной жизни, представляя собой чистую формулу извлечения прибыли как условия роста капитала. Мамона оказывается здесь альфой и омегой и самым смыслом всей производственно-экономической деятельности, которая фактически и по существу прямо превращается в служение мамоне. Содержание промежуточной стадии капиталистического процесса (товара) уже не имеет особого значения, будь это старая ветошь, бульварные книги или наркотики, — все это называется одним универсальным словом «бизнес». По существу, формула *деньги—товар—деньги* есть всего лишь расширенная (натурализованная) производная от чистой формулы капитализма — древней ростовщической операции *деньги—деньги*: и в том, и в другом случае принципиально важен лишь процент прибыли (или нажива). В этом контексте общество оказывается тотально отчужденным объектом извлечения прибыли, где каждый по отношению друг к другу, в ветхозаветной терминологии (Втор. 23. 19—20), становится «иноземцем» — чужим, которому можно отдавать в рост.

В. Зомбарт в своей книге «Буржуа», исследуя истоки капиталистического духа, отмечает одно важное обстоятельство. Своего максимального значения капиталистический дух достигает в хозяйственной деятельности *переселенцев*, т.е. людей, оторвавшихся от своих традиционных обществ и поселившихся в новой (инородной) среде: «иноземец—пришелец — проявляет особенно ярко выраженный капиталистический дух». В качестве примера В. Зомбарт ссылается, в первую очередь, на «высококапиталистический дух» Америки (Нового Света), страны, как известно, целиком образованной *переселенцами*, и на национальный капиталистический дух еврейства, являющегося своего рода перманентным народом-*переселенцем*. Основана эта закономерность на вполне объективных обстоятельствах. «Для переселенца, — пишет В. Зомбарт, — ...как для эмигранта, так и для колониста не существует прошлого, нет для него и настоящего. Для него существует только *будущее*. И раз уже деньги поставлены в центр интересов, то представляется почти само собою разумеющимся, что для него единственный смысл сохраняет нажива денег как средства, с

помощью которого он хочет построить себе будущее». При этом «иноземец не ограничен никакими рамками в развитии своего предпринимательского духа, никакими личными отношениями: в своем кругу он встречает опять только чужих. А как мы уже констатировали, приносящие выгоду дела вначале вообще совершались лишь между чужими, тогда как своему собрату помогали; займы за проценты дают только чужому..., так как только с чужого можно беспощадно требовать назад проценты и капитальную сумму, когда он их не уплачивает. Правом иноземцев было, как мы видели, еврейское право свободной торговли и промышленной свободы. Только беспощадность, которую проявляют к чужим, могла придать капиталистическому духу его современный характер».

Трудно не согласиться с подобными доводами. Однако, если это так, то справедлив и обратный вывод: капиталистический элемент в замкнутой социальной среде, даже будучи этнически местного происхождения, фактически и объективно в своей деятельности выступает как «иноземец» — чуждый данному социальному целому. То есть человек, вставший на путь *капиталистического духа*, выводит себя за рамки единого социального организма, отчуждая себя в качестве *независимого* субъекта экономической деятельности. Именно поэтому «капиталистический дух» принципиально *асоциален* и *транснационален* в самом худшем смысле этого слова. В своей активности он ведет к разрыву традиционных социальных связей и разрушению традиционных обществ. Показательно в этом отношении понятие «мироед», которым русские крестьяне на рубеже XX в. награждали кулаков, вставших на путь разрушения этических и экономических основ крестьянской общины.

Этим же обстоятельством объясняется всем нам памятная волна первичной капитализации начала 90-х, когда наиболее радикальное принятие духа капиталистической наживы любой ценой наблюдалось, в первую очередь, в среде лиц нерусской национальности: евреев, азербайджанцев, чеченцев и т.д., а также тех этнически русских капиталистов (не случайна модификация: «новые русские»), которые утвердили свое фактическое отторжение от национального целого бесстыдством роскошных особняков на фоне нищенствующего народа. Отсюда же, кстати, вытекает и наивность борьбы наших «националистов» с засильем «кавказцев» и вообще инородцев в российских городах и весях — к нам их привел *дух капитализма*, т.е. жажда и свободная, ничем не сдерживаемая, возможность обогащения в условиях беспредела тотальной капитализации общества. В этом корень проблемы. Поэтому

борьба за единство нации есть борьба по усмирению *капиталистического духа*, т.е. борьба за социалистические начала экономической этики. Что в первую очередь подразумевает создание условий, исключающих свободную деятельность *чуждых* (внесистемных) хозяйственных элементов в качестве независимых субъектов национальной экономики.

Однако прямо противоположной задачей озабочены агенты глобализации. Внешние транснациональные силы всячески вмешиваются во внутренние социально-экономические отношения традиционных обществ, пытаясь через системы многочисленных неправительственных организаций и фондов усилить *внесистемный* характер экономических отношений, всячески поддерживая асоциальную капитализацию всех областей общественной жизни. Это становится важнейшим средством искусственной деструктуризации традиционных обществ, необходимой для перевода их в систему координат мирового рынка. Как пишет А. Панарин: «...Америка, задумавшая незаконно приватизировать всю планету, вынуждена создавать на местах антимир, в которых нелегитимные цели берут верх над легитимными, теневые практики вытесняют социально признанные. Все элементы, которые не могли бы иметь шансов в нормальном обществе, при нормальном ходе событий, здесь получают свой шанс, ибо внутренняя логика событий нарушается систематическими экзогенными вмешательствами».

Таким образом, в условиях глобализации процессы капиталистической экспансии, изнутри разрушающие структуру традиционных обществ, приобретают особую интенсивность. И не потому, что такова логика экономического процесса, а потому, что такова логика *нового мирового порядка*, основанного на власти денег, стремящегося утвердить власть капитала (мамоны) в качестве единственного легитимного регулятора общественной и личной жизни в глобальном масштабе. Этим путем мировой финансовый капитал, сосредоточенный в тайных руках мирового правительства, конвертируется в реальную власть над миром. Как признается Ж. Атали, бывший директор «Европейского банка реконструкции и развития», знающий существо вопрос: «Порядок, основанный на силе, уступает место порядку, основанному на деньгах...» В этой всеильной, inferнальной власти денег и состоит современный механизм «тайны беззакония»: антихрист воцаряется в мире как Мамона!

Смена экономической парадигмы не может не сопровождаться переворотом мировоззренческим. Традиционные нравственные ценности, основанные в первую очередь на рели-

гиозно-нравственном единстве общества, в условиях тотального социального отчуждения капиталистических отношений стремительно распадаются. Поэтому не случайно, что в области идеологии капитализм повсеместно проявляет себя как *либерализм* — через утверждение права буржуазной личности быть свободной от общества. Либерализм принципиально разрывает и нивелирует все морально-этические связи, исходящие из глубоких религиозных, исторических и национальных традиций конкретного общества, заменяя их универсальными «правами человека», «демократическими нормами» и прочими космополитическими абстракциями. Именно в либерализме личность фактически впервые в истории получает свободу от общества, легитимизируя тем самым свое право на индивидуализм. Здесь и начинается «ад», ибо освобожденный от каких бы то ни было внутренних норм морали и нравственности (имеющих смысл лишь в рамках общества) *дух индивидуализма* способен на какие угодно беззакония, преступления и святотатства.

Раскрепощая экономику, либерализм раскрепощает и человека. Его привлекательность и эффективность основаны на потворстве худшим наклонностям человеческой природы без принципиального различия в ней добра и зла. Раскрепощая человека к неограниченному потреблению и обогащению, к безоглядному потворству всяческим соблазнам и низменным потребностям, к утверждению «естественного эгоизма», либеральная идеология делает человека идеальным субъектом «общества потребления». Это также целенаправленный и управляемый процесс. «В конце XX в., — пишет М. Назаров, — с прекращением разделения планеты на два враждебных лагеря, начата особенно активная нивелировка и дехристианизация мира под видом его демократизации. Ибо только в обездуховленном, денационализированном обществе деньги могут стать высшей ценностью и властью. Это цель «нового мирового порядка»: объединение общечеловеческой массы на животнов-потребительской основе, с иерархией стран и социальных слоев лишь по уровню потребления, в точном соответствии с материалистическим рецептом властвования, который дьявол безуспешно обольщал Христа в пустыне...»

К современной России все вышеназванные процессы имеют самое непосредственное отношение. На мировоззренческом поле России развернулось ныне, наверное, самое важное идеологическое сражение последнего времени, от исхода которого во многом зависит дальнейшая судьба мира. Надо признать, что либерализм и демократия на сегодняшний день одержали в России уверенную победу над идеологией госу-

дарственного коммунизма, разрушив до основания традиционные социальные, идеологические и морально-нравственные основы советского общества. Но означает ли это окончательное утверждение *либерализма* в качестве русской идеологии XXI века? Есть очень серьезные основания в этом сомневаться... В первую очередь потому, что либерализм в корне противоречит фундаментальному основанию русского духа — православию, являясь, по сути, его антиподом. От того, как разрешится в России идеологический конфликт торжествующего победу либерализма и возрождающегося из пепла православия, и зависит судьба мировой цивилизации. Не случайно З.Бжезинский после падения советского коммунизма, так или иначе удерживавшего мир от сползания в «капиталистический рай», назвал традиционное православие главной опасностью для нового грядущего миропорядка.

Как же идеологически соотносятся либерализм и православие? Хотя формально либерализм не отрицает Церковь и православие как таковые, допуская свободу религиозной деятельности, однако фактически во всей своей общественной практике (социальной, политической, культурной, информационной, образовательной) придерживается принципов, *независимых* от морали и этики христианства, по существу отрицая право Церкви реально влиять на характер и направление общественных процессов, отстраняя ее за грань актуального мира в качестве факультативного объекта. Утверждая «свободный рынок» в качестве фундаментального организующего начала общества, либерализм практически подчиняет человека законам рынка, делает его «служителем мамоны» независимо от каких бы то ни было иных религиозных убеждений. По отношению к христианству и православию либерализм есть *апостасия* в своем самом непосредственном идеологическом выражении.

В контексте идеологии либерализма, неофициально принятой ныне в качестве государственной, православие не обретает державно-образующего идеологического значения, но отодвигается на периферию общественной жизни, становясь одним из религиозных приложений к набору «общечеловеческих ценностей», подобно прочим так называемым традиционным религиям России — иудаизму, мусульманству, буддизму и язычеству. Для России, само зарождение и тысячелетнее существование которой непосредственно определялось принятием и исповеданием православия — это равносильно утрате своей национальной и цивилизационной идентичности.

Либерализм отрицает *онтологическое* значение национальности, отрицая тем самым смысл существования наций и

традиционных обществ как самостоятельных субъектов истории. Идеал либерализма — «американизм» — безличное общество потребления, в котором в эфемерной среде «гражданских свобод» исчезают национальные смыслы и задачи, национально-исторический опыт и культура, религиозные истины и мировоззренческие ценности, т.е. само содержание любой национальной истории. В либерализме заканчивается и исчерпывает себя онтологический смысл истории, завершается процесс апостасии как исчерпание ее христианского содержания. Таким образом, либерализм это идеология *обесмысливания* истории — идеология «последнего времени». Принятие либерализма Россией будет означать вступление мировой истории в эту последнюю заключительную фазу.

Исчерпало ли православие внутренний резерв сопротивления апостасии (а это путь, на который православие встало со времен отступления католичества), готова ли Россия принять крест продолжения христианской истории? — все это зависит от того, сможет ли Россия отказаться от соблазна либерализма как своей «новоцивилизационной» идеологии. Пока что российские власти (и светская, и церковная) демонстрируют полное единодушие в принятии либерализма как безальтернативного варианта современной идеологии, подразумевая (по умолчанию), что только она и может привести, наконец, Россию в сообщество «цивилизованных стран».

Особенно жестко либерализм противостоит христианству в вопросе о человеке: в понимании смысла и назначении его жизни, в отношении к раскрытию его богоподобной природы. В этом отношении социализм значительно ближе к христианству, т.к. он ставил вопрос о воспитании нового человека, т.е. подразумевалась сама возможность *совершенного человека*, стоящего над его нынешней эмпирической данностью. Либерализм же принципиально отрицает какую бы то ни было общевоспитательную идеологическую задачу, полагая, что сам человек в его внутреннем духовно-нравственном отношении является самодостаточным, независимым и состоявшимся существом, не требующим какого бы то ни было иного (кроме самого себя) высшего идеала. В этом суть *апостасии* либерализма. Если коммунизм еще *верил* в человека, в некий высший идеал человека будущего, то либерализм принципиально лишен этой *веры*, полагая эмпирического человека самодостаточной константой истории. Допуская существование на периферии общественной жизни различных церквей и конфессий (полностью уравнивая при этом их право неучастия в идеологических процессах), либерализм, тем не менее, лишает их права реального воздействия

на человека и общество, выделяя сферу общественного бытия в независимую от каких бы то ни было *идеальных ценностей* область, подчиняя ее утилитарным потребностям «экономического человека» во всей полноте его греховности. Практическое бытие либерального общества (в его культуре, экономике, политике и т.д.) есть торжество антихристианского начала истории, как отрицание христианского идеала человека в его высшем Богочеловеческом значении. В этом смысле либерализм есть торжество *мира сего*, его победа над христианской историей.

Но это, конечно, пиррова победа: экономический человек либерального общества есть тупик человеческой истории, отрицание и обесмысливание ее содержания. Обличая абсурдность вытекающей из современной либеральной апологетики «экономического человека» историософии, А. Панарин с иронией пишет: «Ее аргументация сводится к тому, что буржуазный «разумный эгоист» является естественным человеком, то есть наиболее адекватно выражает наше неизменное человеческое «естество», нашу природу. Все другие эпохи, культуры и цивилизации искажали и насильствовали человеческую эгоистическую природу, навязывая ей альтруизм, героизм, самоотверженность, комплексы вины за вполне естественное стремление к счастью, удовольствию и успеху. И вот так странствовал естественный человек на протяжении десятков тысяч лет в чуждой ему, насильствующей его «здоровые инстинкты» истории, пока наконец не прибыл на станцию назначения — в буржуазное общество, которое реабилитировало его целиком, со всей его грешно-эгоистической природой. Вопрос о том, зачем ему понадобилось так долго странствовать, когда истина «естественного человека» лежит так близко, не требуя никаких особых усилий морали и культуры, здесь почему-то не задается. Не задается и вопрос о том, где гарантии того, что человечество вновь не собьется с пути «естественного индивидуального эгоизма». Считается, что, оказавшись в точке наивысшего совпадения общественного устройства с требованиями самой человеческой природы — а именно такой точкой является буржуазное общество, — люди уже никогда не захотят ничего иного».

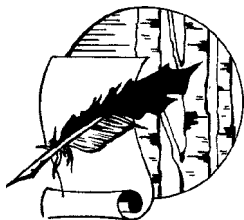
Действительно ли все это зря: тысячелетние религиозные традиции, патриотическая жертвенность, социалистические идеалы, национальные идеи?.. К чему все это, если есть простой и универсальный метод — расслабься и получи удовольствие?! Что это, если не «человек греха, сын погибели»?! (2 Фес. 2. 4.)

Тупик современной истории (и антропологии), носящий явно эсхатологический характер, предполагает лишь диалек-

тический вариант разрешения — переход общественной системы в качественно новое состояние. Причем переход этот имеет не техническое, а духовно-мировоззренческое содержание: в эпоху разлагающегося либерализма *смысл будущего* становится глобальной проблемой человечества. В этой ситуации именно Россия, национально-историческое бытие которой еще не до конца разъедено ядом либерализма, имеющая в себе неповрежденную истину православия и сохраняющая донныне определенную историческую, цивилизационную и идеологическую нераскрытость, может стать одним из главных центров формирования нового *образа будущего* — христианской альтернативы неолиберальному концу истории.

Человек (и человечество) не может жить вне смысла и надежды, и эта надежда открывается лишь в христианской мировоззренческой перспективе, содержащей в себе *идеал человека* в образе Иисуса Христа. Это тот центр, к которому устремлено все мироздание и куда движется человеческая история. В этой перспективе традиционно находилась и развивалась Русская идея, в этой же перспективе должна строиться и новая русская идеология. В центре ее должен стоять человек как первоначальный центр и смысл самой мировой (Богочеловеческой) истории.

Необходима новая антропологическая идеология, всецело обращенная к человеку, но не в его утилитарно-потребительском смысле (капитализм) и не в его функционально-общественном значении (коммунизм), а в глубоко христианском смысле — как задача воспитания и раскрытия *нового человека* в его высшем богоподобном качестве. Где в основе общественных отношений будут лежать не законы экономических интересов, классовой борьбы или группового эгоизма, а этика христианской любви. Отсюда, от этой исходной точки истинного человеческого бытия, должна начинаться свое построения идеология будущей России.



Юрий ВОРОТНИН

В НЕБЕ АЗИЯ ПАРИТ...

* * *

Живу, никому не мешая,
Но вдруг позову звонарей,
Чтоб Родина знала большая
О родине малой моей.

Пусть мощные воды в усердье
Несутся по руслу реки,
Но их глубину и бессмертье
Питают мои родники.

Заходится дух от просторов,
Блещат черноземом поля,
Но глина моих косогоров,
Хоть глина, но тоже — земля.

И ставлю я, пусть запоздало,
Две свечки, душа за душой,
Во здравие родины малой,
В величье и силу большой.

ЛЕБЕДИ-ГУСИ

В каждом прожитом дне понимания больше и грусти,
С каждой спичкой зажженной и сам, словно хворост, горю,
А забудусь на миг — и несут меня лебеди-гуси
Через дол, через лес, через долгую память мою.

Озаряются дали, и вижу я мать молодую,
И отец — молодец, с ним любая беда — не беда.

Ранним утром меня умывают живую водою,
Чтоб с меня худоба уходила, как с гуся вода.

Над тоскою моей, над заснувшей с усталости Русью,
Над вороньим гуляньем, затеявшим суд-пересуд,
Сколько крыльев хватает, летят мои лебеди-гуси,
Сколько крика хватает, зовут мою память, зовут.

То дорога легка, то вокруг облака без просвета,
То дымком от печи, то пожаром потянет с земли,
Золотыми шарами и медом нас балует лето,
Серебром осыпают усердные слуги зимы.

Но недолог полет, возвращенье всегда неизбежно.
Оборвется забвенье, проститься — и то не успеть.
И смотрю я назад, и такая мне видится бездна,
Что оставшейся жизни не хватит ее разглядеть.

МОЯ СВЕЧА

Какие-то страхи летают,
Какой-то мерещится гул.
Ладонью свечу закрываю,
Чтоб ветер огонь не задул.

Давно мне известно, что будет,
Что было — узнать предстоит.
А ветер все дует и дует,
Свеча все горит и горит.

Мне воля — как будто неволя,
И жизнь — не черешневый мед.
Но все же обидно до боли,
Что скоро и это пройдет.

Рассвет разбоярился властно,
И ветер, намайавшись, стих.
Но если свеча и погаснет,
То лишь от сомнений моих.

Как будто на многие лета
Простить и проститься спешу,
Свечу закрываю от ветра,
И сам на нее не дышу.

МАНАЕНКИ

(Путешествие на родину)

Я знаю, не дожидаться мне покоя,
Покуда не отыщется в лугах
То место между Доном и Окою,
Где пепелище прадедов и прах.

И ты не смейся над моей причудой,
И пусть не скоро кончится страда.
И все равно узнаю, мы откуда,
Чтоб понимать и видеть: мы куда.

Меня дороги травят бездорожьем,
Мне вслед мерцают филин и сова,
Но я в пути творю молитву Божью,
И помогают вечные слова.

И верю, сквозь репейник да кустарник
Я продерусь и, словно наяву,
Увижу дом, услышу — хлопнут ставни,
И дым печной, блаженствуя, втяну.

* * *

Стайка худеньких берез
Тянет соки из болотца,
Да заброшенный погост
На пригорке ищет солнца.

Да убогое жильё,
Да убитые заборы...
А на сердце, ё-мое,
Перезвоны, переборы.

И цепляет, как магнит,
Эта серенькая местность,
Где зверье всю ночь скулит,
Где всю жизнь скулит словесность.

Мне у родины в гостях
По-хорошему живется,
Я, как сирый березняк,
Притулился у болотца.

* * *

Где б нам ни жить, в какие б времена,
И кем ни быть, от ангела до черта —
У каждого из нас своя война,
Она нас делит на живых и мертвых.

И тот раздел страшной любых границ,
Он и железных ставит на колени.
Пред ним бессильны вопли всех столиц,
Бессилен плач заброшенных селений.

И только память ходит напрямик,
Лишь для нее одной границы стерты —
И укоряют мертвые живых,
Пока живые поминают мертвых.

ГРОЗА НАД МОРЕМ

И в грозой разорванном просторе
Я не смог ответить на вопрос:
То ли небо обвалилось в море,
То ли море в небо ворвалось?

Защищенный силою чудесной,
Не пропал, не сгинул на волне.
Не морской я житель, не небесный,
Мне стоять привычней на земле.

Что мне моря вольное пространство,
Что воздушных замков синева,
Если лесом венчан я на царство,
Колыбель мне — сонная трава.

И пока иду по чернотропу,
Выставляя сердце, словно щит.
Сладко в море плещется Европа,
Славно в небе Азия парит.

СПАС

Как виноватый пес ползет к хозяйской плети,
Так август мой ползет к осеннему костру.

Такая тишь в саду, что слышно на рассвете,
Как падают плоды, цепляясь за листву.

Нас тоже ждет с тобой осенняя дорога,
Еще совсем чуть-чуть — покатамся с горы,
Цепляясь на ходу за куст чертополоха,
За глину да песок, да крики детворы.

Но это все потом, пока же утром ранним
Спешу умом понять, спешу душой принять,
Что наша жизнь всегда — терпенье со стараньем,
И по-другому нам ее не обыграть.

И пусть Медовый Спас поманит губы медом,
А Яблочный отдаст нам яблоки свои,
Нерукотворный Спас простит перед уходом,
И осень соберет нас в Спасе на Крови.

Валерий СУХОВ

ЗЕМЛИ РОДИМОЙ ПОЦЕЛУЙ

РОДНИК

Я воду пил из родника,
Обняв замшелый сруб.
Срывались каплями века
С моих дрожащих губ.

И на меня смотрела Русь
Из бездны, словно миф.
На скорбный лик ее молюсь,
Колени преклонив.

Исток обжег устами струй
Горячих русских слез.
Земли родимой поцелуй
Так я в душе унес.

НАГРАДА

«Кому нужна война?» — вопрос
Не к тем, кто воевал...
Награду в госпиталь принес
Лощеный генерал.

Молчишь. Его не веришь лжи,
Сквозь ад Чечни пройдя...
И кровью запеклась

души
Мальчишеской
культя.

СТЕПЬ

А моя мать — степь широкая.
М.Ю. Лермонтов

У татарника — медовый запах,
Но роднее горькая полынь.
Не перестает о сыне плакать
Зноем горя выжженная синь.

«Странная любовь» — любовь до боли.
И не всем ее дано понять.
Только степь ему была, как мать.
И о ней он тосковал в неволе.

У горы Машук в чужом краю
Перед смертью родину он вспомнит.
И полынь седая тихо склонит
Над поэтом голову свою...

СУДЬБА

Осень-цыганка гадала
Ветру на картах листвы.
Снова ему выпадала
Доля сорвиголовы.

Он же в ответ рассмеялся,
Бросил червонцы в подол,

Свистнул и в поле умчался.
Там свою гибель нашел...

Темен мой путь или светел?
Осень, и мне ты скажи!
Может, я сгину, как ветер,
Искрою Божьей в глуши?..

Осень-судьба разметала
Листья в полночную тьму.
Что мне она нагадала?
Посох? Дорогу? Суму?

СПЛЕТЕНИЕ КОРНЕЙ

Мой дед был лесником, а прадед — пахарем.
И клин земли их, сохами распаханый,
От пота мокрый был, от засухи — сухой.
Врос в супесь крепко корень родовой.

Не для наживы жили — для души.
Дед лес оставил, прадед — поле ржи.
От тесного сплетенья их корней
Земля родная мне еще родней!

ЖЕРНОВА

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

1. В последние дни учения на местности Двадцать третьего отдельного стрелкового штурмового батальона стали особенно интенсивными. Весь батальон перебрался в степь километрах в десяти от города Сталино, жили в палатках на берегу ставка, заросшего камышом и кувшинками, подъем в шесть, отбой в одиннадцать, кормежка не ахти какая, а все бегом, все бегом, так что люди, едва добравшись до постелей, падали на них и засыпали мертвецким сном, иные даже не сняв сапоги. Комбат Леваков сам следил за учениями, сам ставил задачи, исходя из одному ему известных установок, ротные стерженели, взводные надрывали глотки, подгоняя штурмовиков, а те сами себя называли шумовиками, кривя губы в ядовитой ухмылке.

Ясно было только одно: их готовят к боям в основном наступательного характера, потому что каждый день отрабатывались одни и те же задачи: атака по сигналу ракеты, атака без криков, по ровному полю, изрытому воронками от снарядов и мин, оставшимися от минувших боев, атака стремительным броском на передовые позиции условного противника, гранаты в окопы и блиндажи, в доты и дзоты, короткие очереди по макетам, торча-



ПРОЗА

шим из окопов, и дальше, дальше... ко второй линии, к третьей, к жиденькой гряде пирамидальных тополей на самом горизонте. Там короткий отдых и тем же манером назад.

Были занятия и по удержанию рубежей: окапывание, атака немецких танков, трофейных: пять штук Т-IV, один «тигр» и две «пантеры», а за ними, изображая немцев, шла какая-нибудь из рот. Ну и стрельба... холостыми, конечно. Но таких занятий провели всего два, затем танки погрузили на платформы и увезли... тренировать другие батальоны.

Незаметно подошел ноябрь, зарядили дожди. Однако учения не прекращались. Зато стали поговаривать о близкой отправке на фронт. И все стали думать: скорей бы уж.

В один из таких дней, едва батальон вернулся с учений, промокший, вывалившийся в грязи, едва был съеден ужин, состоящий из перловой каши с комбижиром, воняющим соляной, и выпита кружка горячего чаю с куском хлеба и кусочком сахара, как во второй роте появился представитель «Смерша» старший лейтенант Кривоносов и, отозвав в сторону командира первого взвода лейтенанта Николаенко, передал ему приказ немедленно следовать в город, в комендатуру.

— Зачем? — искренне удивился Николаенко.

— Там объяснят, зачем, — отрезал Кривоносов, который и сам знал только то, что передал Николаенко. Зато он знал другое: ему в руки попало письмо Николаенко, адресованное какому-то старшему лейтенанту Солоницыну, в котором Николаенко писал, где служит и кем, и что очень недоволен такой службой. Письмо это Кривоносов переслал по команде, и, судя по всему, вызов Николаенко в особый отдел Смерша связан с этим письмом. Потому что, если бы Николаенко вызывали не по линии Смерша, а по какой-нибудь другой, то не через Кривоносова бы отдали этот приказ.

Понял это и лейтенант Николаенко. Хотя и не сразу, а вслушиваясь в чавкающие шаги особиста, удаляющиеся вдоль строя палаток. И похолодел от дурных предчувствий, тоже связанных с этим письмом. Черт дернул его отправлять письмо через батальонных письмоносцев, зная, что Кривоносов читает все письма, которые пишут в батальоне или присылают в батальон. Поэтому все предыдущие письма Николаенко отдавал на гражданскую почту, хотя и там без цензуры не обходилось. Так он ничего такого и не писал, а в цензуре сидят небось какие-нибудь придурки, которые ничего в армейской жизни не понимают.

Но, думай — не думай, а делать нечего — идти надо. Николаенко доложил о вызове командиру роты лейтенанту Крас-

никову, вскочил на подножку «Студебеккера», увозящего в город опорожненные котлы из-под каши, и, пока ехали, все думал, зачем его вызывают, потому что никакой особой вины за собой не чувствовал. Ну, написал, что очень недоволен тем, что попал в такой батальон, ну и что? За это от фронта не освободят, в тыл не пошлют. И в конце концов решил, что вызывать могут и не обязательно из-за какой-то вины, а по другому поводу, если иметь в виду, что старший брат его служит в НКВД и даже, может быть, в том же Смерше. И Николаенко успокоился и в знакомое здание комендатуры вошел смело и даже весело: пусть видят, что он ничего и никого не боится, потому что бояться ему нечего, он не преступник, а боевой офицер, и не тыловикам, которые не нюхали фронта, распоряжаться его судьбой.

Он доложил помощнику коменданта о прибытии, и тот, глянув в свою тетрадь, велел ему подняться на второй этаж, где располагался особый отдел, к старшему лейтенанту Дымову. При этом посмотрел на Николаенко как-то весьма подозрительно, так что у того снова по телу побежали мурашки, и на второй этаж он поднимался уже не таким гоголем, а порядочно обеспокоенным, если не перетрусившим. Он даже почувствовал, что и руки у него дрожат, и во рту пересохло.

— А, черт! — сказал Николаенко вполголоса и остановился между этажами, решив покурить и успокоиться.

«Если что они за мной и числят, хоть бы и письмо, — думал Николаенко, — так исключительно по недоразумению. Да и числят что-нибудь пустяковое. Иначе бы не вызывали, а взяли бы тепленьким... как взяли летом сорок второго капитана Пронченко, который, напившись, орал, что везде сидят предатели и дураки, только поэтому немец опять прет, хотя никакой внезапности нет и в помине».

Докурив папиросу, лейтенант Николаенко несколько раз вдохнул поглубже воздух и резко выдохнул, поднялся на второй этаж и в конце коридора нашел дверь под номером 27, постучал, открыл и вошел в узкую длинную комнату, в которой у самого окна сидел за столом человек и смотрел на него, Николаенко, но о том, что он смотрел, можно было лишь догадываться, потому что лицо человека было в тени.

— Я — лейтенант Николаенко, — произнес Николаенко с вызовом. — Мне сказали, чтобы я прибыл к старшему лейтенанту Дымову... Это вы — Дымов?

— Проходи, лейтенант. Я и есть Дымов.

— Чего это я вам вдруг понадобился? — начал Николаенко, подходя к столу и чувствуя, как на него накатывает раздражение: какой-то старлей заставил его трястись на маши-

не, в то время как его взвод уже спит и видит третьи сны, а он, лейтенант Николаенко, уставший не менее других, должен теперь выслушивать этого... этого... А на чем отправится назад? Пешком?

— Садись, лейтенант, — не отвечая на вопрос, спокойно промолвил Дымов. — И не лезь в бутылку. Если тебя вызвали, значит, надо было. — И Дымов отвернул в сторону лампу, так что отчетливо высветились его высокий лоб с залысинами, два ордена на груди, несколько медалей и нашивки за ранение.

Николаенко сел, развернув ногой стул, но совету Дымова не внял:

— Ты что, старлей, думаешь, у меня других забот нету? — решил он показать, что ничуть не боится этого особиста, но тот не дал ему договорить:

— Заткнись! — тем же спокойным тоном оборвал его Дымов. — Заткнись и слушай, что я тебе буду говорить. А рот откроешь, когда я тебе разрешу. — И с этими словами Дымов откинулся на спинку стула и с насмешкой посмотрел на присмившего Николаенко. Затем продолжил: — Ты, небось, думаешь, почему я к тебе не приехал?.. А потому, что таких дураков, как ты, сотни, а я один, и за всеми не набегаешься. Так что заткнись и не вякай... Кури вот, — и Дымов толкнул к Николаенко пачку папирос «Пушка» и коробок спичек.

Но Николаенко даже не шелохнулся, глядя на Дымова — ненавидящими глазами. Только на Дымова его взгляд не произвел ни малейшего впечатления. Он открыл папку и стал читать:

— «Батальон, в который я попал, называется штурмовым, а на самом деле это самый настоящий штрафбат, только сформирован из бывших офицеров, побывавших в плену и на оккупированных территориях, прошедших тщательную проверку в фильтрационных лагерях НКВД. Вместо того чтобы послать этих людей в действующую армию на офицерские должности, хотя бы и с понижением, их нарядили в солдатские гимнастерки и погонят на пулеметы, чтобы искупали свою вину кровью. И это в то время, когда в частях, сам знаешь, восемнадцатилетние мальчишки командуют взводами и даже ротами. Это не просто головотяпство, а преступное головотяпство...» Узнаешь? Кому писал, помнишь?

— Узнаю, — произнес Николаенко севшим голосом. Но тут же вновь решил показать свой норв: — Ну и что? Что тут такого? Преступление? А я специально это написал, чтобы обратить внимание... Ты что, считаешь, что это хорошо? Майоры, подполковники в солдатских гимнастерках — это правильно?

— Заткнись! — снова оборвал его Дымов. — Правдоискатель выискался. Такие, как ты, только воду мутят на руку фашистам, а не помогают своей армии. Ты что думаешь? Ты думаешь, наверху такие идиоты сидят, что не понимают, что делают? Ты только тех видишь, которые в твоём батальоне. А сколько их вернули в строй командирами? Это ты видишь? Нет, не видишь. И не твое это дело видеть. Ты командуешь взводом, вот и командуй! А когда дослужишься до генерала, — если дослужишься, — тогда и будешь рассуждать, что правильно, а что нет. Это армия, а не бордель, не институт благородных девиц! И тебя сделали офицером не для того, чтобы ты свою армию критиковал, а чтобы грамотно воевал. Критиков и без тебя хватает...

Николаенко понимал уже, что, действительно, сваял дурака. И все потому, что с самого начала не нравилось ему служить в этом батальоне: все тут было не так, как в тех частях, в которых он до этого воевал, хотя и там всякой дури хватало. И письмо он написал лейтенанту Солоницыну, с которым подружился в госпитале, в ответ на его, и даже в более резких выражениях. Он только не подумал, что его письму придадут такое значение. А Солоницын писал о головотяпстве командования, которое гонит за-ради наград солдат на пулеметы, что немцы воюют грамотно, в каждом их шаге чувствуется профессионализм, высокая выучка, а у нас солдат идет в бой, лишь три раза выстрелив по мишени из винтовки, что на поле боя он не соображает, куда ему стрелять, а завидев немецкий танк, теряет голову от страха. При этом Солоницын высказывался против отмены института комиссаров, чем был подорван революционный дух армии. Таких писем — от Николаенко к Солоницыну и наоборот — наберется с десяток.

И вспомнив все это, Николаенко тут же покрылся липким потом.

— Дошло? — спросил Дымов, внимательно наблюдавший за лейтенантом. — Ну и ладненько. Скажи спасибо своему брату, иначе бы загремел ты сейчас по пятьдесят восьмой статье — только бы тебя и видели. И характеристики бы хорошие не помогли. А теперь слушай дальше: делу этому я хода не дам. Но это не значит, что оно исчезнет. Потому что зарегистрировано и все такое прочее. Так что, если ты кому-то еще писал нечто похожее, или если с твоей стороны еще такая же промашка выйдет, это письмо извлекут на свет божий, приплюсуют к другим, и тогда тебе и сам господь бог не поможет. Понял?

Николаенко молча кивнул головой.

— А теперь вот тебе письмо от брата, распишись в получении и топай назад. Спросят, зачем вызывали, скажешь, что за вот этим письмом. Понял?

— Понял, — произнес Николаенко, вставая.

У двери он замаялся, подумав, что, может, лучше было бы сказать этому Дымову о письмах Солоницына и своих, ответных, чтобы тот имел в виду и как-то там повлиял, если они откроются, но не решился. В конце концов, засекали только это письмо, а другим, видать, не придали значения, да и служил он тогда далеко от этих мест, а там своя цензура, а ему завтра-послезавтра на фронт, поэтому не стоит самому совать в петлю свою собственную голову.

На лестничной площадке он вынул из чистого незапечатанного конверта тетрадный листок бумаги. На этом листке было всего несколько строк, написанных размашистым почерком старшего брата: «Если бы я, Алешка, был рядом, набил бы тебе морду. Чтобы прежде головой думал, а потом рот открывал или бумагу пачкал. Пиши почаще матери, а то она обижается. Твой брат Степан».

Степан звание имел капитана госбезопасности. Может, этот Дымов знаком с его братом, иначе все могло пойти по-другому. И Николаенко, судорожно вздохнув, сунул письмо в карман и вышел в ночь.

Было темно, как в погребке. Моросил дождь. Идти в батальон — это он только к утру доберется, а утром снова в поле. И Николаенко, постояв немного на крыльце, чтобы глаза привыкли к темноте, отправился к одной крале, с которой познакомился на танцплощадке еще в сентябре. Он переночует у нее, а утром вернется в батальон на «студере» вместе с завтраком.

Края жила в женском общежитии, в которое мужчин не пускали, но комната ее расположена на первом этаже, так что стоит лишь постучать в окно, окно откроется — и он в комнате, в которой живут еще три девицы. Все четверо приехали с Ярославщины по оргнабору на восстановление Донецкого промышленного района. Случись подобное знакомство в мирное время, Николаенко к этой крале, пожалуй, и не подошел бы. Но в мирное время и края его была бы другой, так что неизвестно, кто к кому подошел бы, а кто нет. Может, в то время он на ней бы и женился. А жениться, когда завтра могут убить, когда вместо тебя завтра к ней придет кто-то другой, потом третий... Нет, уж лучше все это оставить на после победы. Если доживет. Но еще лучше — пока об этом вовсе не думать.

Он влез в окно, разделся в темноте же под притворное сопление остальных девушек, скользнул под одеяло и, забыв обо

всем на свете, стал шарить по горячему телу своей крали горячими же руками, задирая ночную рубашку и тычась губами в ее лицо. Краля засопела, обхватила ухажера руками и ногами, односпальная железная кровать с провалившейся сеткой заскрипела под ними и заходила ходуню.

2. В помещении бывшей столовой стоят в несколько рядов канцелярские столы — штук тридцать, не меньше, — за которыми сутулятся лейтенанты, в большинстве своем в возрасте от сорока до пятидесяти лет, многие с лысынами. Есть и молодые, бог знает какими судьбами попавшие в эту комнату, когда, казалось бы, место им только на фронте. Среди них почти не выделяются женщины, а если от двери, когда видны одни лишь ссутулившиеся спины, то не сразу разберешь, кто есть кто среди одинаковых гимнастеров, погон и коротко стриженных голов.

К дальней стене сиротливо приткнулся отдельный стол. За столом, под портретом Сталина, неподвижная фигура грузного подполковника, на ноздреватом носу большие круглые очки. Подполковник похож на старого профессора, он видит всех, и все при желании могут видеть подполковника, но смотреть на него — отвлекаться от дела, а отвлекаться нельзя. Да и некогда.

Свет осеннего дня с трудом пробивается сквозь серые от пыли стекла окон, к тому же заклеенные крест-накрест белыми полосками бумаги, поэтому на каждом столе горит настольная лампа, и от желтых пятен света, если прищурить глаза, создается ощущение, что ты попал в царство теней. Тем более что в помещении стоит непрерывный мышинный шорох бумаг и непрерывное же комариное зудение, волнами прокатывающееся из одного конца помещения в другой, то замирающее на мгновение, то усиливающееся до пчелиного гула. А бумаг много, ими заполнены мешки, теснящиеся в проходах возле каждого стола.

Первое ощущение каждого, нечаянно сюда заглянувшего: он попал в какую-то большую газетную редакцию, в отделение, где сидят корректоры. Если, разумеется, заглянувший бывал когда-нибудь в редакциях. Правда, там лейтенанты не сидят, там в основном девчонки, и они не зудят, а чтобы не заснуть, кричат, читая газетные полосы и выискивая в них грамматические ошибки. А все остальное очень похоже.

Но это не редакция. И здесь не выискивают грамматические ошибки, хотя и читают с большим вниманием. Это отдел цензуры, через который проходят письма, как из окопов, так

и в окопы. Впрочем, не только туда и оттуда. Но и в штабы, госпитали и всякие тыловые учреждения, то есть все, что шлют с фронта и прифронтовой полосы в тыл, а из тыла на фронт. А лейтенанты ищут в этих письмах военные секреты и политические высказывания, которые то ли по незнанию, то ли по глупости, то ли с умыслом появляются на исписанных торопливыми почерками листках.

Без военной цензуры нельзя. И тот факт, что она существует, есть жестокая необходимость. К тому же о ее существовании знают все — от маршала до рядового. Уже хотя бы потому, что все получают письма с черным или фиолетовым прямоугольничком печати, на которой значится: «Проверено военной цензурой». Следовательно, не пиши, чего писать не положено. Однако, увы, пишут.

Лейтенант Борис Васильевич Попов, человек не более двадцати пяти лет, весьма приятной интеллигентной наружности, к тому же в круглых очках с толстыми стеклами, сидит в самом конце, возле входной двери, ему — поверх очков, потому что в очках он видит только то, что перед носом, — виден весь зал, видны все спины, головы и желтые пятна света. Царство теней — это его аллегория, которой он пользуется в своих стихах, читаемых иногда сослуживцам. Вот он разогнулся, потер поясницу, достал из мешка, стоящего справа, очередной треугольник. Не читая, как читают нормальные люди, а как бы сфотографировав надписи на конверте, зафиксировал главное: письмо из тыла в воинскую часть, из деревни. Развернул, побежал глазами по строчкам, тихо бормоча отдельные — ключевые — слова. Ему не нужно кричать, как кричат корректоры, грамматика и орфография ему до фонаря, ему важен смысл, однако бормотать приходится — верное средство от неминуемого желания спать. Ну, еще крепкий чай, стакан с которым всегда стоит на столе. Средство то верное, но вчера Попов поздно лег спать по случаю небольшого сабантуйчика, устроенного одним из коллег в связи со своим днем рождения. Поэтому он старательно борется со сном, а сон борется с лейтенантом Поповым. И часто берет верх.

Вот и сейчас, пока доставал конверт, глаза вдруг непроизвольно закрылись, голова стала клониться к столу, сладкая истома наполнила совсем не военное тело Бориса Васильевича. Однако продолжалось это недолго: разве что несколько секунд. Потому что к стоящему воротнику гимнастерки, под самым подбородком, приколотая деревянная прищепка, подбородок утыкается в эту прищепку — и точно маленькая молния пронизывает голову Попова. Он встряхивает голо-

вой, выпрямляется, отпивает большой глоток почти черного чаю и на какое-то время возвращается в состояние бодрствования. А руки уж сами развернули треугольник письма, глаза заскользили по строчкам, как, наверное, скользит над землей нос собаки, улавливая определенный запах и не обращающая внимания ни на траву, ни на листья, ни на деревья и кусты. Не говоря уж о небе и других материях.

Попов имеет высшее филологическое образование, — как, впрочем, и многие его коллеги, — он преподавал в школе русский язык и литературу, поэтому образность мышления у него, что называется, в крови. К тому же считает себя поэтом, пока еще не признанным, в мечтах уносится в заоблачные дали, где он, окруженный другими поэтами, уже известными и даже знаменитыми, появляется перед толпой... нет, перед залом в Политехническом, где когда-то гремел Маяковский и многие другие, перед залом, заполненным интеллигентными людьми, красивыми девушками, и все они смотрят на него, — а девушки непременно с восторгом!.. — да, так вот, он выходит вперед и начинает читать... Он читает свои стихи — и это совершенно новое слово в советской поэзии о войне. И едва он заканчивает, как зал взрывается громом аплодисментов и восторженными криками... мэтры жмут ему руку, хлопают по плечу, а в глазах у них зависть...

Боже мой! Как сладко пребывать в этих заоблачных далях! Век бы не возвращаться в этот пустынный зал, к этим манекенам, среди которых нет никого, кто бы смог оценить его еще не раскрывшийся талант.

И вдруг стоп: нос собаки... то есть, э-э, не нос, конечно, и не собаки, а глаз лейтенанта Попова задерживается, споткнувшись, на фразе, как если бы нос именно собаки ткнулся в источник запаха: «...а есть ничего нету одна надежа на весну если не помрем с голодухи...» Попов еще раз, но уже вслух, перечитал эту фразу, затем вернулся к началу: «Милый мой сыночек урожай нонче почти весь вымок от дождей собрали четверо меньше прошлогоднего живем худо хуже некуда налогами замучили а взять неоткуда почти все что собрали со своего огорода отдали в фонд обороны так что есть ничего нету одна надежа на весну если не помрем с голодухи главное чтоб ты остался жив потому что последний из всех сынов остался и возвратился бы к своим родителям иначе хоть ложись и помирай. Засим остаюсь твоя родная мать и твой родный отец а там что бог даст».

Борис Васильевич потер ладонями лицо, затем лоб и уши, взял, не глядя, приспособление, похожее на миниатюрную одноколесную тачку, только без емкости, в которую можно

насыпать все, что угодно, и не с двумя ручками, а с одной, прокатил колесиком по начерниленной тряпочке в железной плоской коробочке и принялся гонять эту тачечку по письму, закатывая черным строчку за строчкой, оставив лишь последнюю фразу про «...главное чтоб ты остался жив... а там что бог даст».

«Дикость наша», — вздохнул про себя Борис Васильевич, возвращая листку бумаги вид треугольника, но вздохнул вовсе не по причине деревенской дикости, выявленной в письме, а о своем, сокровенном, потому что был человеком не только образованным, но и весьма культурным, действительно интеллигентным, однако, увы, неудачником. И все по причине той же дикости, принимающей самые разнообразные формы и к настоящим интеллигентам не слишком расположенной.

Вернув письмо в прежнее состояние, он приклепнул печать: «Проверено военной цензурой», бросил письмо в мешок, стоящий слева от стола, потянулся за следующим письмом в мешок, стоящий справа, при этом воровато глянув в сторону подполковника: подполковник смотрел в стол и, похоже, клевал носом.

Несколько писем прошли так, словно по чистому песку речной косы: не на чем глазу задержаться. Затем из мешка рука выловила конверт. Конверты были редкостью. Особенно с фронта. К тому же с конвертами лишняя возня: надо подержать над паром, вскрыть, прочесть, снова заклеить. Попов побегал глазами по строчкам — по диагонали. Споткнулся на слове «произвол», замер, точно гончая, взявшая след, стал вчитываться в текст, но не с самого начала, а именно с того места, на котором споткнулся его взгляд.

«...произвол командного состава, часто не имеющего ни знаний, ни опыта, ни желания учиться военному делу, а как бы отбывающему каторжную повинность. Такие командиры почти не появляются на передовой, командуют по телефону или через посыльных, и знают только одно: «Вперед!» А что там, впереди, их совершенно не интересует. Солдаты вынуждены лезть прямо на пулеметы, гибнут ни за понюх табаку, артиллерия бьет по свои целям, авиация бомбит своих, танки выполняют свои задачи, то есть никакого взаимодействия между родами войск, никакого грамотного управления боем. Ну и, конечно, мать-перемать, кулак или пистолет в нос и «я вас под трибунал за неисполнение приказа». И самое, пожалуй, отвратительное: ни жалобы в вышестоящие инстанции, ни чудовищные потери никак не влияют на таких командиров, на их положение...»

Борис Васильевич хмыкнул, полагая, что подобное может иметь место, но в исключительных случаях, следовательно, автор столкнулся с таким случаем, но сделал при этом непозволительное обобщение, что может расцениваться как дезинформация, направленная на деморализацию Красной армии. Вернув письмо в конверт, но не запечатав его, он сделал на конверте едва заметную пометку и положил его в отдельную папку. И принялся за следующее. В голове его при этом не отложилось ничего, никакой мысли или впечатления. Ничего, кроме механической констатации факта. И последовавших за этим механических же манипуляций. Да и то сказать: если после прочтения каждого или хотя бы одного из тысячи писем в голове откладывалась хотя бы самая малость, давно бы сошел с ума или нажил себе язву. Тут от одних запахов, идущих из мешков, может с непривычки вывернуть наизнанку, а если к этому да еще эмоции — то и говорить нечего.

К концу рабочего дня, продолжавшегося двенадцать часов с тремя получасовыми перерывами, в папке набралось писем, требующих особо тщательной проверки, не менее двух десятков — все больше критика командования и мечтания о том, как все перевернется и улучшится сразу же после войны. Эту папку Борис Васильевич сдал начальнику отдела подполковнику Гнесинскому вместе с бумагой, на которой в отдельных графах указаны фамилии и адреса отправителей и получателей, и короткое резюме по поводу содержания. Подполковник, в свою очередь, зафиксировал в своем журнале количество писем и передал папку в другой отдел, где сидели представители «Смерша». Там письма проанализируют с точки зрения сохранения военной тайны и возможности выявления вражеской агентуры, часть писем вернут Гнесинскому, часть передадут в политический отдел, где занимаются вопросами морально-политического состояния армии и выявления антисоветских и антипартийных элементов. Затем некоторые письма проштемпелюют и отправят по адресу, но без вымарок подцензурного текста: начнется игра в кошки-мышки.

*За окном дождит, однако...
И который день подряд
Воет тощая собака...
Бяка, драка, кулебяка...
И тоски зеленый взгляд... —*

быстро записал в тетрадке лейтенант Попов и, вздохнув, вытащил из мешка очередной треугольник.

3. В политическом отделе народу немного — пять человек. Тоже лейтенанты и один старший лейтенант. На кителях институтские и даже университетские значки. Все высоколобы, трое в очках. Одна из них женщина, молодая и весьма привлекательная еврейка с большими аспидными глазами. Здесь читают молча. Думают. Здесь составляют отчеты о моральном состоянии войск в политотдел фронта, фронт составляет обобщенный отчет и отсылает его в Москву. Москва, в зависимости от настроений на фронтах, выдает указание об усилении политико-воспитательной работы в действующей армии, указывая конкретное направление этой работы.

Письмо о произволе командного состава попало лейтенанту Киме Абрамовне Гринберг. Первым делом она обратила внимание на фамилию отправителя: Солоницын А.К. — знакомая фамилия. Встала, подошла к одному из шкафов с длинными ящичками, выдвинула один из них, перебрала карточки: есть Солоницын А.К.! Значит, не впервой. В другом шкафу нашла папку с той же фамилией. В папке выдержки из предыдущих писем. Некоторые из них прошли через ее руки, другие — через руки ее коллег. Переписка велась между тремя лейтенантами: Солоницын писал с передовой, где командовал какой-то непонятной батареей, своему приятелю Мишину, тоже лейтенанту и тоже артиллеристу, проходящему излечение в госпитале, и другому лейтенанту, но уже пехотному — Николаенко. А те ему. Все трое сходились на том, что начальство в большинстве своем невежественно, солдат не бережет, что для него важнее всего выслужиться перед своим командованием, а командованию — перед вышестоящим, и так по цепочке до самого верха. То есть, заключила Гринберг не без тайной иронии и злорадства, перед самим Сталиным. Но это еще полдела. Дело заключалось в том, что авторы писем переносят свою критику не только на командование армией, но и вообще на советскую власть, считая, что она, эта власть, зажралась, ей дела нет до своего народа, что воюет она руками таких, как лейтенанты Солоницын, Мишин и Николаенко, и не за Родину, а за свои теплые местечки, что надо после войны что-то делать, иначе деградация общества, смута и разор.

Кима Гринберг полностью согласна с этими лейтенантами. Правда, со своих, сугубо личных позиций: перед войной многие ее родственники и знакомые попали под каток репрессий, стали врагами народа, поначалу она считала, что так и должно быть, выступала на собраниях, разоблачая и кляня, но незадолго до войны некоторые из репрессированных вернулись, жесточенные, с твердым убеждением, что все надо

менять, иначе будет хуже. Особенно евреям. Они, правда, прямо об этом не говорили, а все экивоками, и даже больше помалкивали и пожимали плечами, но молчание и пожимание их было столь красноречивым, что не понять его замечания было невозможно. И Кима, к тому времени повзрослевшая и утратившая наивность доверчивой молодости, сочувствовала этим экивокам, молчанию и пожиманию плечами. Тоже, разумеется, молча и тоже вполне красноречиво. К тому же фамилия Солоницын вызвала в ее памяти годы учебы в Московском институте философии, литературы и истории — знаменитом ИФЛИ. Некто Солоницын, если не его однофамилец, учился двумя курсами сзади и, скорее всего, ничем среди других не выделялся. Иначе бы она его запомнила. Во всяком случае, он не принадлежал к тому тесному кругу, к которому принадлежала Кима Гринберг.

И она стала читать дальше.

«Ты, разумеется, помнишь, — писал Солоницын Мишину, — что раньше я шел в бой с криком «За Сталина!», что верил всему, что мне говорили. Но вот прошел год, и все мои юношеские, весьма наивные представления о нашей действительности рассыпались, как карточный домик. И началось это после того, как я, попав в госпиталь, оказался в глубоком тылу. Здесь я увидел, что одни вкалывают на заводах по шестнадцать часов в сутки, живут на нищенские пайки, а другие в это время, обзаведясь «броней», жируют и считают, что мы все, кто вкалывает и воюет, дураки и кретины, и среди них слишком подозрительно много жидов. Из этого племени, и то не на передовой, а во вторых и третьих эшелонах, я встречал одного-двух, а за Волгой их сотни и тысячи, молодых и здоровых...»

«Ах ты, гад! Ах ты, черносотенец! — возмутилась Гринберг, забыв о своем сочувствии. — Жиды, видишь ли, во всем ему виноваты! Ну, погоди же!» — У нее даже лицо пошло розовыми пятнами от возмущения.

И это не ускользнуло от внимательного взгляда старшего лейтенанта Дранина.

— Что-нибудь случилось, Кима? — спросил он участливо, и все тоже посмотрели на Гринберг, нервно закурывающую папиросу «Пушка».

— Да вот, — кивнула она на лежащую перед ней папку, выпустив густую струю дыма изо рта и ноздрей. — Это до какой же степени предательства надо дойти, чтобы писать такие вещи! Советская власть им виновата! Да таких людей... Я не знаю, что бы с ними сделала!

— А ничего с ними делать не надо, — снисходительно улыбнулся Дранин. — Составь резюме не более чем на полстра-

нички и отправь в особый отдел: там разберутся и сделают с ними все, что положено. Материала, как я вижу, накопилось достаточно.

— Да уж больше некуда. Но их тут трое. При этом один из них в госпитале, а госпиталь в Эссентуках.

— Это не имеет значения, — успокоил ее Дранин. — Госбез достанет их хоть на Камчатке. И вообще скажу тебе, Кимочка, поскольку ты у нас недавно, не принимай все эти штучки так близко к сердцу, иначе заработаешь инфаркт. У нас тут был один из недоучившихся студентов Литинститута имени Горького: над каждым письмом то слезами обливался, то ругался на чем свет стоит. Стихи пописывал. Так себе стишата, если по совести. Сейчас, слышно, во фронтовой газете пристроился. Впрочем, — решил установить истину старший лейтенант Дранин, — стишата у нас пописывают многие. — И спросил: — А вы как?

— Я — нет.

— Ничего, поработаете у нас с полгодика, тоже станете писать. Проверено. И психологически обосновано.

Действительно, Кима Гринберг в отделе недавно. До этого она работала переводчицей в штабе армии, но случилось так, что за ней стал ухлестывать начальник фронтовой разведки подполковник Лубенко, только что переведенный на эту должность из стрелкового корпуса, и это в то время, когда у Кимы уже был фронтовой друг — майор Кочергин, заместитель этого самого Лубенко. Естественно, она отказала Лубенко в самой категоричной форме. Это бы еще ничего не значило: мало ли кто кого домогается, да не каждый получает то, что хочет. Но однажды Гринберг допрашивала пленного обер-лейтенанта, только что доставленного с передовой. И не одна, а вдвоем со старшим лейтенантом из «Смерша». И вот во время допроса немец обронил, что завтра на передовую прибывает танковая дивизии СС. Смершевец тут же вскочил и кинулся докладывать по начальству, Кима осталась одна, немец попросил закурить, она протянула ему папиросы, тот схватил ее за руку, рванул к себе, удар — дальше она ничего не помнит.

Немца, правда, поймали через час или два, старшего лейтенанта отослали в полк, а Гринберг — в военную цензуру, хотя она ни в чем не виновата. А все дело в этом Лубенко, развратнике и антисемите.

— А вот у меня... — встрял лейтенант Мозговой, усердно хлопая робкими бесцветными глазами и подергивая вздернутой верхней губой. Он даже вспотел от своей смелости. — А вот у меня, — повторил он, убедившись, что Дранин и Гринберг, особенно последняя, обратили на него внимание, — пись-

мо из какого-то отдельного штурмового батальона. Пишет своему приятелю в другую часть командир взвода этого батальона. Вот послушайте... — И он стал читать с той иронией в голосе, которая отличает воспитанного и образованного человека от невоспитанного и необразованного:

«У нас в батальоне сидит представитель «Смерша», такая, между нами, скотина, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Везде сует свой нос, всех подозревает в предательстве, даже боевых офицеров, обзавелся стукачами и все чего-то вынюхивает. Мы его молча презираем, а когда он появляется среди нас, поворачиваемся к нему задом, но с него как с гуся вода. Все это нервирует личный состав батальона, люди смотрят друг на друга с подозрением, а нам завтра в бой, и я не знаю, как все это скажется на моральном климате и боевой готовности. А командование батальона смотрит на эти выкрутасы смершевца сквозь пальцы, ведет себя безответственно, не думая о последствиях...»

— Вот вам типичный пример, когда человек обвиняет командование в безответственности, а сам никакой ответственности не чувствует. К тому же выдает противнику военные тайны, — назидательно произнес старший лейтенант Дранин, перебивая чтение лейтенанта Мозгового. — Там, небось, и место дислокации указано, и еще что-нибудь...

— Указано на конверте: Сталино.

— Значит, часть только еще формируется, — со знанием дела прокомментировал Дранин. — Можно себе представить, какой вывод сделает вражеский агент, прочитав это письмо, если оно к нему попадет. — И спросил: — Посмотри, Мозг, на этого писателя ничего нет в нашей картотеке?

— Я смотрел, — ответил лейтенант с явным разочарованием. — Ничего нету.

— Тогда отправь письмо по месту формирования части. Пусть тамошнее управление «Смерша» разбирается, кому писал этот взводный и зачем.

— Я тоже так подумал, — произнес Мозговой и победно глянул поверх очков на Киму Гринберг. — А писал он лейтенанту Солоницыну А.К., который служит... который служит... в артиллерийском полку командиром чего-то там... не поймешь чего, — закончил лейтенант Мозговой.

— Как вы сказали? — встрепенулась Гринберг.

— Что именно?

— Кому пишет.

— А-а, лейтенанту Солоницыну А.К.

— Так и у меня тоже Солоницын А.К.! — воскликнула она с изумлением. — Так этот Солоницын, оказывается, возглав-

ляет целую шайку! Ну и ти-ип... Давайте сюда ваше письмо, я подошью его к другим письмам.

За окном завывла сирена воздушной тревоги. Все подняли головы и уставились на белые полосы бумаги, перекрещивающие стекла. Через минуту вдалеке послышались отрывистые выстрелы зениток, затем тяжелые удары бомб, с потолка посыпалась штукатурка.

— Опять станцию бомбят, — произнес кто-то, ни к кому не обращаясь.

— Работайте, товарищи, работайте, — торопливо повторил Дранин напряженным голосом, и стало видно, что он боится.

Впрочем, боялись все, но немцы, после того как их отогнали за Днепр, бомбили изредка лишь станцию, и все к этому вроде бы привыкли, но каждый думал: «А вдруг?», и пялился, ничего не видя и не соображая, в лежащие перед ним письма, пока выстрелы и взрывы не затихнут и не прозвучит отбой воздушной тревоги. Тогда все разом закуривали и с победным видом поглядывали друг на друга.

— И куда только наши части ВНОС смотрят? — произнес ворчливо Шутман, выпуская изо рта правильные колечки дыма. — Немцы летают, как у себя дома, а им хоть бы хрен по деревне.

— В нос они и смотрят, — сбалагурил Мозговой. — Только не друг другу, а начальству.

— Разговорчики! — одернул болтунов Дранин. — А вы, лейтенант Мозговой, как я посмотрю, явно заражаетесь критиканством от знакомства с безответственными высказываниями своих корреспондентов. Эдак недалеко и до соотвествующего позиционерства.

— Да я... — стушевался Мозговой, побледнел и виновато захолоп ресницами.

Все торопливо докурили свои папиросы, решительно ткнули их в банки из-под рыбных консервов, после чего в комнате вновь воцарилась рабочая атмосфера.

4. С тех пор миновало два месяца. Штурмовой батальон перебросили в распоряжение Первого Белорусского фронта, на Магнушевский плацдарм, захваченный нашими войсками на правом берегу Вислы в результате летней наступательной операции нескольких фронтов под кодовым названием «Багратион». Часть батальона успела поучаствовать в разведке боем и тем самым опробовать свои навыки атаки за огненным валом. Участвовал в этом бою и лейтенант Николаенко во главе своего взвода, получив при этом осколочное ранение в грудь. Рана была пустяжковая: осколок шальной мины, разорвавшей-

ся метрах в десяти, когда рота Красникова уже выходила из боя, слегка надрезал грудную мышцу, но крови было много, и поначалу Николаенко показалось, что рана у него тяжелая. Ее кое-как перевязали поверх гимнастерки, двое солдат подхватили своего командира под руки и, как только рота вышла к своим, доставили в медсанбат. В медсанбате рану зашили, она не болела и вообще вела себя так, будто ее и не было, и Николаенко упросил его выписать, пообещав навещать в медсанбате «своей» дивизии. Его отпустили на другой же день, потому что ожидали наступления в масштабах фронта и притока раненых, посоветовав слишком не напрягаться.

Вообще говоря, можно было бы и не спешить с выпиской, но Николаенко уже привык к своему взводу, к офицерам своей роты, он уже не считал, что служба в штурмовом батальоне обернулась для него чем-то вроде наказания за несовершеннолетние проступки, тем более что день командному составу идет за три, наградами и очередными званиями обещают не обходиться, и жалованье значительно выше, чем в обычных строевых частях. А если не сегодня завтра начнется наступление, о котором говорят все, то можно отстать от своего батальона, затем снова обращаться в кадры: новое место службы, новые люди, привыкай, притирайся и все прочее. Да и неловко при такой-то пустяковой царапине отлеживаться в медсанбате. И товарищи могут подумать черт знает что. А так — сел на попутку и через полчаса ты дома, то есть в батальоне.

Под вечер лейтенант Николаенко вышел из длинного каменного сарая, в котором располагался медсанбат, где он провел неполных два дня, постоял с минуту, закуривая и оглядываясь, точно видел все впервые: и сосновый лес, окружающий барак, и мутное небо над головой, и разрезженную дорогу, пропадающую в лесу, и сохнувшие на веревках рубахи и подштанники, простыни и наволочки — все в желтых пятнах, пожилых солдат хозвзвода, ковыряющихся вокруг, и отдельную избушку, приспособленную под морг, куда сносят умерших и откуда отправляют их на недалекое кладбище, и само кладбище на опушке леса, и санитарные повозки, и походные кухни — все виденное-перевиденное и так похожее на все предыдущие медсанбаты и полевые госпитали, однако всякий раз после выписки по выздоровлению воспринимаемое заново. И лишь потому, что остался жив, не попал в эту избушку, не лег в братскую могилу, вернешься к своим, и если даже и не в штурмовой батальон, то все равно к своим, и все потечет, как и до этого.

Подбросив на плече полупустой вещмешок, в котором лежали пара запасных портянок, белья тоже пара, нераспеча-

танная пачка патронов к пистолету «ТТ» и сухой суточный паек, Николаенко пошел к дороге, надеясь на попутку. Но дорога, еще недавно гудевшая моторами и лязгавшая железом, была пустынна, и Николаенко, не новичок на фронтовых дорогах, догадался: все, что надо для наступления, уже прибыло, затаилось и ждет своего часа, а поэтому ему надо спешить, иначе батальон уйдет на передовую без него.

С лежащих обочь дороги старых сосновых бревен поднялся человек, о котором сразу ничего и не скажешь определенного: одет в ватник без погон и ватные же солдатские штаны, подпоясан офицерским ремнем, на голове поношенная солдатская шапка-ушанка со звездой, на ногах яловые сапоги. В тылу, известное дело, кто только не околачивается, здесь дисциплина черт знает какая, иной складской одевается не хуже генерала, а рожей, случается, походит на маршала. Этот не тянул даже на офицера: лицо круглое, курносое, белесые брови, серые глаза, не больше тридцати лет, ростом невысок, но, видать, крепок, руки черные, в ссадинах, — шофер, скорее всего.

Человек сделал пару шагов в направлении Николаенко, спросил лениво:

— Закурить не найдется, товарищ лейтенант?

— Найдется, — весело ответил Николаенко, доставая из кармана трофейный портсигар и протягивая его странному солдату. Он хотел было сделать ему замечание за неуставное обращение, но воздержался. Да и настроение было легким, не хотелось его портить даже и таким пустяком, как замечание.

— Выписался? — спросил служивый, закурив от папиросы Николаенко.

— Выписался, — радостно улыбнулся Николаенко.

— Чему ж радуешься?

— А почему не радоваться? Рана пустяковая, зажила как на собаке, отдохнул, отоспался, отъелся — чего ж еще?

— Оно, конечно, такое дело, — невнятно бормотнул служивый. — Теперь куда, в часть?

— В нее, родимую. А куда ж еще?

— Далеко?

— Отсюда не видно.

— Да нет, я так просто спросил, — стал оправдываться странный солдат. — Если что, можем подбросить. — И показал на «Виллис» с брезентовым верхом, стоящий меж соснами. Затем пояснил: — Мы сюда приехали товарища проведать: раненный лежит. В живот. Мается, бедолага...

— Да-а, в живот — это, конечно, это не пустяк, — посочувствовал Николаенко. И уточнил: — А вы куда едете?

— К штабу армии. Там, по соседству, наше хозяйство. Сейчас товарищ выйдет, и поедем.

— К штабу? Это хорошо, — снова обрадовался Николаенко. — Это совсем недалеко от моего батальона.

— Вот видишь, как тебе повезло, лейтенант. А то ждал бы тут, пока кто-то подхватит. Да и не велено подхватывать-то: мало ли что... А вон и мое начальство...

Из барака вышел офицер в новенькой шинели, перетянутый ремнями, и направился прямо к ним. Он шел, уверенно ставя длинные ноги в хромовых сапогах, подошел, кинул руку к шапке, представился:

— Капитан Самородов.

И глянул на Николаенко холодно и недоверчиво.

— Лейтенант Николаенко, — представился Николаенко в свою очередь.

— Только что выписался, — опередил его странный солдат, чему-то обрадовавшись. — По пути нам. Подбросим, товарищ капитан?

— А почему бы и нет? Поехали, лейтенант Николаенко.

Они сели в «Виллис». Николаенко устроился на заднем сиденье, Самородов на переднем. За всю дорогу никто не проронил ни слова. Да и о чем говорить? Тем более что у хозяев «Виллиса» товарищ совсем плох, коли ранение в живот. Понимать надо.

Вот и небольшая деревушка, в которой разместился штаб армии. Николаенко хотел напомнить, что приехали, дальше он сам, но машина свернула на дорогу, ведущую в сторону расположения их батальона, и Николаенко промолчал. Однако затем, проехав еще немного, машина опять свернула, на этот раз в лес.

— Товарищ капитан, — окликнул Самородова Николаенко. — Я здесь сойду.

— Ты что, спешишь, Николаенко?

— Да вроде бы нет, но здесь удобнее. Опять же, по темну добираться до своих как-то не с руки.

— Ну, до темна еще есть время. Давай заедем к нам, выпьем за твое выздоровление, помянем нашего товарища, — предложил Самородов. И пояснил: — Умер он сегодня ночью.

— Неудобно как-то, — замялся Николаенко.

— Ничего, удобно. Ты ж, небось, свободен до двадцати четырех ноль-ноль.

— Да, конечно.

— Ну вот, а говоришь — неудобно. А потом мы тебя подкинем до места: нам это раз плюнуть.

Машина проехала еще с полкилометра, показался то ли хутор, то ли лесничество: две приземистые избы, сараи, меж-

ду высокими железными мачтами натянуты провода, стоят какие-то крытые машины, среди кустов тальника под маскировочной сетью притаилась зенитка, подальше еще одна, тарактит движок.

Въехали в раскрытые ворота крестьянского двора, у крыльца топчется часовой, остановились возле крыльца, выбрались из машины.

Из-за угла вышел старший лейтенант в накинутаой на плечи шинели, глянул мельком на Николаенко, спросил у капитана Самородова:

— Этот, что ли?

— Нет, это другой: по дороге подобрали, — ответил капитан и спросил: — У нас там выпить не найдется?

— Как всегда, — буркнул недовольно старлей и, взойдя на крыльцо, открыл дверь, обитую войлоком.

— Заходи, лейтенант, — пригласил капитан Самородов. — Гостем будешь.

5. В избе, за дощатым столом, напротив жарко горящей большой печки сидел на лавке капитан под электрической лампочкой, что-то писал. Он поднял голову, молча посмотрел на Самородова и старлея, задержал взгляд на Николаенко, и тот почувствовал себя неуютно под тяжелым, придавливающим взглядом серых глаз капитана.

— Раздевайся, лейтенант, — предложил Самородов, стаскивая с себя шинель. — Чувствуй себя как дома. Здесь все свои люди. — И пояснил капитану, все еще рассматривающему Николаенко: — Это Николаенко. Он только что из госпиталя. Прихватили с собой: его батальон неподалеку стоит... — Подойдя к печке, Самородов протянул к огню руки, спросил: — А где майор?

— В штабе, — ответил капитан, сидящий за столом. — Скоро явится. — И уже к старлею: — Скажи Евсеичу — пусть сообразит что-нибудь.

Николаенко снял португепю, затем шинель, повесил шинель на гвоздь, вбитый в бревно у двери, перепоясался поверх гимнастерки, поправил кобуру, опустился на лавку.

Вошел пожилой солдат, молча стал возиться вокруг стола. Поставил большую глиняную миску с квашеной капустой, нарезал хлеб в другую такую же миску, извлек откуда-то чугунок, накрытый сковородой, из старинного буфета достал ложки, вилки, стаканы — все это молча, с застывшим неудовольствием на угрюмом морщинистом лице.

Капитан, что-то писавший за столом, собрал свои бумаги, велел Евсеичу:

— Стаканы убери, давай кружки, — и ушел в другую комнату.

Веселое, легкое настроение, с каким Николаенко покинул госпиталь, постепенно улетучивалось в этой мрачной панихидной атмосфере. Он уже жалел, что согласился на предложение капитана, будто у себя в батальоне его возвращение не было бы отмечено подобающим образом. Хуже нет оказаться на чужой свадьбе или чужих поминках — и вот угораздило.

На крыльце затопало, старлей сорвался с места, выскочил за дверь.

Почему-то у Николаенко тревожно забилося сердце.

Немного погодя дверь открылась, вошел низкорослый майор, остановился на пороге, воскликнул:

— О, да у нас гости! — и стал раздеваться.

Затем, пригладив редкие волосы, повернулся к Николаенко, подошел, протянул руку:

— Ну что ж, давай знакомиться: майор Поливанов.

— Лейтенант Николаенко... из отдельного стрелкового батальона, — произнес Николаенко, намеренно пропустив слово «штурмовой», чтобы не возникало лишних вопросов.

— Из отдельного, говоришь? Хорошо, очень хорошо, — чему-то обрадовался майор. И, кивнув на стол, добавил: — А мы тоже из отдельного стрелкового, только наш батальон на подходе. Так что, можно сказать, коллеги.

На груди у майора два ордена боевого Красного Знамени и орден Красной Звезды, и темное пятно от какого-то значка. Пожав Николаенко руку и одобрительно похлопав его по плечу, майор прошел в другую комнату. Вслед за ним последовали и остальные.

«Уйти, что ли? — подумал лейтенант Николаенко. — Ну их в болото. Говорит из стрелкового — не похоже. Что-то тут не так. Больше похожи на смершевцев или особистов. Хотя погоны общеармейские. Но это ничего не значит. У Кривоносова такие же погоны, а он от других наособицу».

Но пока Николаенко решал, что делать, офицеры вышли из комнаты, расселись за столом, и Николаенко оказался между старлеем и капитаном Самородовым. Откуда-то появилась литровая бутылка польской водки, забулькало в кружки, встал майор, заговорил:

— Помянем нашего товарища старшего лейтенанта Тихона Купченко. Не довелось Тихону дожить до победы, не повезло человеку. Что ж, война есть война. У нее свой выбор. Пусть земля старшему лейтенанту Купченко будет, как говорится, пухом.

Все встали, выпили. Сели, стали закусывать.

Но старлей тут же налил по второй. Николаенко даже показалось, что ему налили значительно больше других. Если судить по длительности бульканья. А так ведь в кружках не видно, кому сколько.

Опять выпили. На этот раз за победу.

Не успели закусить, старлей снова наливает.

Выпили. Теперь за выздоровление лейтенанта Николаенко и за то, чтобы он, как и все присутствующие, дожил до победы.

На этот раз Николаенко не разобрал, больше ему налили или меньше. И вообще ему стало до фонаря, что, как и с кем. И майор мужик ничего, и остальные тоже. Ничуть не хуже своих, батальонных, офицеров.

— Вот я и говорю ему, — будто из ничего возник голос капитана Самородова. — Я и говорю: плевать мне на ваше начальство, у меня свое имеется. А он в пузырь: как со мной разговариваешь, мать-перемать! Да я тебя... А пошел ты, говорю, к такой матери! Нам, говорю, скоро в бой, мне, говорю, может, жить осталось дней пять-шесть или того меньше, а ты тут, тыловая крыса... Ну, тут меня замели — и на губу. А потом вызывают куда-то, идем, а там сидят трое полковников, и говорят: вы предстаете перед трибуналом. Вот те, думаю, и раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять. А главное — за что? За то, что послал куда-то тыловую крысу? Как же так, говорю, товарищи дорогие? А мне: нарушил устав, дисциплину, понизил звание офицера. И — звездочку долой. Был капитаном, стал опять старлеем. И — шагом марш в свой батальон! А вы говорите, что черти только в омуте водятся.

— А ты, лейтенант, в своем батальоне чем командуешь? — спросил майор Поливанов.

— Взводом.

— Что ж так? Прощтрафился?

— Да нет, почему же? Обязательно прощтрафился? Я ж в армии недавно: только осенью сорок второго училище закончил младшим лейтенантом. А дальше... как бой — так ранение, как бой — так опять ранение. А человека ранило — его вроде и нет. И ни званий тебе, ни наград.

— Да, бывает. А в этих отдельных батальонах шибко-то и не навоюешься. Разве что до второй линии немецких окопов.

— Да нет, мы два дня назад здорово им навтыкали. Обещали всех офицеров к награде представить и повесить в звании.

— Ну, дай-то бог, — пожелал майор Поливанов и предложил выпить за то, чтобы начальство лейтенанта Николаенко выполнило свои обещания.

— Да у нас начальство не шибко-то старается. Все больше за воротник себе заливает, — понесло Николаенко, который вдруг проникает к этим офицерам полной симпатией и доверием. — А смершевец у нас — так этот в каждом немецкого шпиона видит. Такая, между нами говоря, скотина.

— А-а! Все начальство одинаково. Мы вот тоже каждый на своем месте начальники — и тоже то одно забудешь, то другое. А война к концу идет, возьмем Берлин — и точка.

— В том-то и дело! — кричал Николаенко, расплескивая водку из кружки. — В том-то и дело, мать их растак! Нельзя останавливаться на Берлине. Надо переть дальше — аж до самого Ла-Манша! Всю буржуазию в океан, фабрики, заводы рабочим, землю крестьянам! Когда ж еще мировую революцию делать, как не в этот раз! А то совсем не туда идем, — несло его по кочкам. — Погоны ввели, гимн какой-то, черт знает какой! А «Интернационал» куда? Выходит, побоку? Я, например, не согласный!

Николаенко уже плохо видел и еще хуже соображал, что говорит он сам и что говорят другие. Он горячился, что-то доказывал, стучал по столу кулаком, кому-то грозился. Еще пил и еще. А потом отключился...

6. Очнулся лейтенант Николаенко от грохота, воя и стона. В щелях пульсировали красноватые отблески. Долбило со всех сторон то часто, вдогон друг другу, то сплошняком. Не сразу он разобрал, в чем дело. А когда до него дошло, понял, что это артподготовка, что началось то, чего все ждали со дня на день.

Николаенко рванулся, повел руками туда-сюда, ощупался: под ним какая-то дерюжка, под дерюжкой слежалое сено, сверху шинель, ремня нет, пистолета тоже. Голова тяжелая, тупая, во рту будто кошки ночевали. Хочется пить. Откуда-то сквозь грохот прорываются отдельные голоса и рык двигателей тяжелых машин.

Николаенко с трудом вспомнил, что было до этого, и испугался: он должен прибыть в батальон в тот же день после выписки из госпиталя, а сейчас... А сколько сейчас времени и какой сегодня день? Все еще сегодня или уже завтра?

Он с трудом поднялся на ноги, натянул на себя шинель, принялся шупать стены в поисках двери. Нашел дверь, толкнул — не открывается, дернул — то же самое. И никакой щеколды, никакого засова. Постучать? Стучать вроде бы стыдно. Решился — постучал. Никакой реакции. Забарабанил сильнее.

— Чего тебе? — спросил вдруг близкий простуженный голос.

— Откройте. Мне в часть надо.

— Сиди! В часть ему надо. Не велено открывать.

— Как это не велено? Да вы что? Я офицер.

— А вот то самое, что не велено. Раз арестованный, значит, — сиди, пока не прикажут.

— Как это — арестованный? По какому праву? Я — лейтенант Николаенко. Тут какая-то ошибка. Я из госпиталя. Мне в свою часть надо! — говорил Николаенко торопливо, а в душе что-то росло темное и страшное.

— Не велено, — повторил простуженный голос. — Начальство знает, когда открывать.

— Да вы что? Совсем, что ли, охренели?

— А ну молчать! — рявкнул голос за дверью. — Мне, как я есть часовой, не положено разговаривать с арестованными. Будешь нарушать — стрельну. Порядков не знаешь, а еще лейтенант!

Николаенко попятился и сел на дерюжку. Он ничего не понимал, но что-то ему подсказало, что его не просто так привезли в эту избу, напоили, втянули в разговоры и заперли в этом сарае. Он вспомнил угрозу старшего лейтенанта из особого отдела еще там, в Сталино: «А если еще что-нибудь откроется, тебе и сам бог не поможет...» — и застонал, раскачиваясь из стороны в сторону.

Грохот артиллерии вдруг затих, точно оборвалась какая-то толстая струна. Только вдалеке все еще долбило, но уже не так сильно, и как-то все отдельными очагами.

Захрумкили чьи-то торопливые шаги, знакомый голос спросил:

— Ну, как?

— Да как? Все так же, товарищ старший лейтенант. Бузил. Но у меня не забуишь.

— Бузил, говоришь?

Голос был знакомый, принадлежал старшему лейтенанту. Только фамилию Николаенко никак вспомнить не мог. А может, ее и не называли. Старлей и старлей.

Шаги приблизились к двери, заскрежетало железо, дверь распахнулась, серая тьма пролилась в черноту сарая, ослепив и одновременно вселив надежду, что все это какая-то чепуха — и ничего больше: ну, перепил, ну, положили в сарай, ну, поставили часового, чтобы по пьяному делу не забурился куда-нибудь, а сказали, что арестованный... тоже по пьяному делу.

Николаенко встал, шагнул к двери.

— Черт знает что! — воскликнул он, пытаясь придать своему голосу уверенность. — Мне в часть надо, дезертиром могут признать, наступление, а тут вот... — кивнул на часового, — говорит, что я арестованный.

— Пойдем, — весьма недружелюбно произнес старлей, тоже, видать, с перепою, пропуская вперед Николаенко.

Спрашивать у него не имело смысла, потому что шестерка. Вот сейчас придет в избу, там майор — все и разьяснится.

В знакомой избе за знакомым столом напротив горящей печки сидел капитан Самородов и что-то писал. Видать, вся служба у них заключается в писанине. А туда же: наш батальон на подходе! — вспомнилось Николаенко.

— Здравия желаю, товарищ капитан, — поприветствовал он офицера, переступив порог избы. — Ну и шутники же вы, скажу я вам. Только мне шутки ваши могут выйти боком: скажут, что дезертировал. И что тогда?

— Садись, — приказал капитан, кивнув головой на противоположную сторону стола.

Николаенко сел и увидел, что перед капитаном лежат его документы, на стене висят кобура с его, Николаенко, пистолетом и сидор.

— Вот, прочти, — подтолкнул к Николаенко четвертушку серой бумаги капитан Самородов. И уставился на него каким-то чужим взглядом, то есть совсем не таким, какой у него был вчера.

Николаенко стал читать:

«...на основании... по постановлению военного прокурора... подвергнуть аресту и препроводить в изолятор временного содержания для проведения дознания... лейтенанта Николаенко А.Д., год рождения — 1923, место рождения — г. Харьков... подозреваемого в совершении деяний, подпадающих под статью 58...» Далее шли пункты, подпись, печать и дата.

Все завертелось перед глазами Николаенко и утонуло во мраке. Затем мрак рассеялся, но бумажка никуда не исчезла, возникла снова — белая на сером столе. А в ней все то же самое: «...подвергнуть аресту и препроводить...» И не когонибудь, а его, Николаенко А.Д., год рождения и т.д.

— За что? — выдал из себя Николаенко, хотя уже и догадывался, за что.

— А вот здесь все написано, — постучал согнутым пальцем по листам бумаги капитан Самородов, криво усмехнувшись. И, толкнув листы к Николаенко, велел: — Читай! Внимательно читай, лейтенант.

И Николаенко, чувствуя, что тупеет окончательно, стал читать.

Оказалось, что несколько листов бумаги есть протокол. А в том протоколе написано, что Николаенко А.Д. в присутствии майора Поливанова, капитана Самородова, капитана Охрименко и старшего лейтенанта Мьльника поносил командование Красной армии, советскую власть и правительство Союза ССР.

— Это неправда! — вскрикнул Николаенко. — Вы все врете!
— Это я вру? Ах, ты-и... гни-ида! — прошипел капитан Самородов и, нависнув над Николаенко, резким и сильным тычком ударил его кулаком в подбородок.

Николаенко вякнул по-щенячьи и рухнул на пол вместе с табуреткой.

7. До полудня Николаенко просидел в сарае. Никто к нему не приходил, никто им не интересовался. Вдали беспрерывно рокотало, то усиливаясь, то ослабевая. Иногда над головой возникал гул множества самолетов и уплывал в неизвестность. Николаенко хотелось плакать. Он даже подумывал о побеге. А почему бы нет? Удерет, придет в свой батальон, а там бой, его либо убьют, либо ранят, либо... либо все разрешится само собой, и его оставят в покое. На худой конец — вырвать у часового винтовку и застрелиться.

В полдень принесли кружку кипятку и кусок хлеба, сводили в туалет. Впрочем, голода Николаенко не чувствовал. Состояние его было таковым, точно все тело оцепенело, перестав чувствовать и голод холод. Он ел механически, двигался тоже, из головы не выходила мысль, что надо как-то сообщить о себе брату или в батальон, или... Но он не знал, как сообщить брату или кому бы то ни было из тех, кто знал его и мог бы заступиться. Тем более он не представлял себе, как вырвет у караульного винтовку и сам, своими руками застрелит себя самого. В то же время эти мысли настойчиво бились в его мозгу, как бьется о стекло залетевшая в форточку птица. Птица затихала на какое-то время, когда Николаенко вспоминал о своей роте, о солдатах своего взвода, лейтенанте Красникове, о последнем бое, который завершился так успешно, но вспоминал как о чем-то далеком и недостижимом.

Иногда со стороны дороги доносился рев танковых двигателей, подвывание буксующих машин, иногда близко раздавались громкие команды и слышалось движение человеческой массы, привычно погромыживала вдаль артиллерия. А он в это время сидит в сарае, чего-то ждет, в роте о нем черт знает что думают, и старший лейтенант Кривонос... Впрочем, Кривонос, вполне возможно, знает о том, что случилось с Николаенко, доложил уже об этом комбату, комбат сообщил Красникову, и теперь его взводом командует кто-то другой...

А мама? А отец и брат? А Настя? Что подумают они, узнав, что он, Алексей Николаенко... А старший лейтенант Солоницын? Могут ведь и его. Потому что писали друг другу, хотя и не совсем открыто, но если подумать... И снова что-то черное окутывало тело лейтенанта, сдавливало мозг, и выхода из этой душливой черноты не было никакого.

8. После обеда, то есть после кружки кипятку и куска хлеба, в сарай втолкнули еще одного человека. И сразу же закрыли за ним дверь. Человек остановился у входа, глядя дыва-сь со свету в темноту. Затем спросил неуверенно:

— Есть тут кто-нибудь?

— Есть, — ответил Николаенко.

Новенький представился:

— Капитан Книжный.

— Лейтенант Николаенко... Идите прямо, товарищ капитан. Здесь сено.

Капитан сделал несколько шупающих шагов, остановился, протянул руку, слепо шупая воздух. Николаенко взял его руку и, как настоящего слепого, проводил вправо от себя.

— Садитесь, товарищ капитан.

— Спасибо, лейтенант, — поблагодарил капитан и тяжело опустился на сено. Затем сообщил: — Я слышал краем уха, что вот-вот будет машина, на которой нас отправят на пересылку. Или еще куда. Не разобрал... — Помолчал немного, спросил: — Вы впервые оказались в такой ситуации?

— Впервые.

— Вот и я тоже... И за что?

Николаенко, после всего пережитого, уже не доверял никому. К тому же он слышал, что к подследственным подсаживают людей, чтобы выведать у них всю правду. И хотя Николаенко понимал, что всю правду он еще вчера выболтал по пьяному делу, а еще большую — в своих письмах, он, между тем, поостерегся, потому и ответил сдержанно, с усмешкой:

— Клеветал на советскую власть, на советское правительство.

— Серьезно?

— Своими глазами читал в протоколе, который дали под-писывать, — подтвердил Николаенко, будто речь шла не о нем, и лег на спину: так было теплее.

— Да, с этим не шутят, — пробормотал капитан и замолчал.

Молчал и Николаенко.

Капитан возился, вздыхал, все никак не мог устроиться. А может быть, за ним числилось что-то более серьезное, грозящее и более серьезными последствиями, хотя последствия у самого Николаенко тоже не пустяковые: расстрел, в лучшем случае — десять лет заключения. Но ему почему-то не верилось, что это возможно. Ведь он все два с половиной года то воевал, то залечивал полученные раны. Получалось, правда, что на залечивание ушло времени больше, чем на непосредственные военные действия, но он в этом не виноват. Как

не виноваты и многие из его товарищей-лейтенантов, для которых первый бой стал и последним. Во всяком случае, он никогда не пытался отсиживаться в тылу, не изменил данной присяге, а что касается клеветы, так это и не клевета вовсе, а всего-навсего рассуждения по тому или иному поводу, которыми он делился в письмах со своим товарищем, потому что человек не может не рассуждать, не может равнодушно относиться к происходящему, и обязательно должен быть кто-то, с кем можно поделиться своими сомнениями и рассуждениями. Тем более что не обязательно всем и каждому думать одинаково буквально по всем вопросам. Наконец, он мог и ошибаться: ему ведь всего двадцать один год.

И Николаенко, забыв об осторожности, заговорил первым:

— Вот влипли мы с вами, товарищ капитан, так влипли. Наши уже, судя по всему, пошли в наступление, а мы тут... сиди вот и жди... А чего ждать? И где я больше пользы принесу? В бою или в тюрьме? Ясное дело, что в бою... А главное — пока разберутся, то да се, уже и война закончится. Обидно до... прямо и не знаю, как.

— У вас закурить не найдется? — спросил капитан Книжный, будто и не слышал обращенных к нему слов.

— Отобрали. Сказали, что в сарае курить не положено: сено.

— С-сволочи! — вдруг произнес капитан и таким тоном, что Николаенко даже поежился от просипевшей в этом единственном слове ненависти, и повернул голову к капитану.

Тот сидел, обхватив колени руками, и качался быстро-быстро, точно клевал что-то невидимое, рассыпанное в сыром воздухе, пропитанном запахом гниющего сена.

Сам Николаенко ни к кому ненависти не испытывал. Ни за то, что привезли его сюда, напоили, втянули в разговор, наперед зная, что он думает и что может сказать, если поверит своим собеседникам; ни за зуботычину, полученную от капитана Самородова, ни за арест, ни за то, что отобрали папиросы. Он, Николаенко, был глуп и наивен — теперь это ему самому ясно, как ясный божий день, и дружок его, старший лейтенант Солоницын, тоже глуп и наивен, и тоже, небось, сидит сейчас в кутузке и не верит в случившееся. Единственное, что мучило лейтенанта Николаенко, так это обида. «Кружки поставили, чтобы не было видно, сколько наливают, туфту какую-то рассказывал Самородов о стычке с каким-то тыловиком, — вспоминал Николаенко с обидой. — Наверняка и умершего старшего лейтенанта никакого не было, и приезжали они в госпиталь за ним, за Николаенко, и разговоры вели странные... А этот капитан Книжный... и фамилия у него...»

— Вот вас взяли за клевету, — вдруг заговорил капитан, заговорил назидательно и даже не то насмешливо, не то презрительно. — Я не знаю, лейтенант, что вы такое говорили, где и когда, но смею предположить, что если и не клеветали в чистом виде, то какая-то глупость в ваших разговорах... или что там у вас было? — присутствовала. Вы по молодости своей не понимаете, что любое государство обязано себя защищать от разброда и шатаний в умах своих граждан. Тем более в обстановке военных действий. Это не предполагает отсутствия размышлений и сомнений, но размышления и сомнения не имеют права выплескиваться наружу до тех пор, пока они не оформились во что-то определенное. И не у вас одного, а у многих и многих. Только за нечто, определенным образом оформившееся и ставшее достоянием определенного круга людей, не жалко положить и самую жизнь. Но при этом надо всегда помнить, что люди завистливы, злобны и бессовестны, что все хотят жить и непременно за счет других...

— Ну, это уж вы... это самое... Извините, конечно, товарищ капитан! — не выдержал Николаенко, которого больше всего задел тон капитана, столь не соответствующий его складной речи явно ученого человека. — А только у нас в роте, например, я могу за любого офицера поручиться... И даже за большинство рядовых... А иначе что же получается? Иначе получается, что и жить совсем невозможно, — запальчиво закончил он свою бессвязную речь.

— Все это чепуха! — не повышая голоса и не меняя интонации, отмел возражения Николаенко капитан Книжный. — Было бы по-вашему, вы бы тут не сидели. Наверняка кто-то донес, охарактеризовав ваши слова именно как клевету. А вы говорите... поручиться.

Николаенко сел. Вгляделся в лицо капитана. Лицо как лицо, но явно не лицо окопника: белое, чистое, и подстрижено, видать, недавно: волос под шапкой, правда, не видать, но височки ровненькие, аккуратные, будто только что из парикмахерской, и усы щеточкой, волосок к волоску.

«Все-таки, наверное, подсадной», — подумал Николаенко, но промолчать не мог, потому что все, что сказал капитан, было из какого-то чужого мира, к самому Николаенко никакого отношения не имеющего. И не только к нему лично, но и к той жизни, которой он жил до ареста: к своим родителям, к школе, где он учился, к одноклассникам, к учителям, к сокурсникам по пехотному училищу, к своей роте и батальону, к комсомолу.

«Крыса тыловая», — сделал вывод Николаенко, прежде чем открыть рот.

— Я не знаю, какой жизнью жили вы, товарищ капитан, — заговорил он, стараясь придать своему голосу не меньшую, чем у капитана, уверенность и презрительность. — Может, у вас так оно и есть: зависть, злоба и это... бессовестность. Может, и вы такой же, если так о других судите. Но среди моих товарищей этого не было, нет и не может быть. Потому что... потому что, когда вокруг смерть и все такое, человеку не до этого. То есть там, в окопах, видно сразу, кто чем дышит, и вас бы там, извините за грубость, просто бы пристрелили в первом же бою. У нас бывали такие случаи. Не много, конечно, но раза два-три — это уж как пить дать. Потому что, особенно когда идешь в атаку или там еще что, ты должен быть в своем товарище уверен, что он не подведет, не спрячется за твою спину, не дрогнет, а если надо, то и закроет тебя своей грудью. Вот. А вы говорите... Это не по-нашему, не по-советски, не по-комсомольски и... и не по-партийному, — закончил Николаенко, хотя очень не любил всяких таких официальных и торжественных слов.

Капитан Книжный слегка повернул к Николаенко свое белое лицо, пожевал губами.

— Дурак ты, лейтенант. И, видать, дураком и помрешь.

— Ну, вы это... полегче! А то я не посмотрю, что капитан, а и морду могу набить!

— Во-во! Морду — это вы все можете. Морду — это и есть ваша идеология, ваша культура, ваша природная, в конце концов, сущность. И после этого ты можешь говорить о дружбе и прочем? Да на твоём месте я бы помалкивал в тряпочку и рта не разевал.

— Тьфу! — сплюнул Николаенко и отодвинулся от капитана к стене. Он уже жалел, что пустился с ним в разговоры. Видать, этот капитан та еще контра недобитая и только теперь разоблаченная. Может, он самый настоящий шпион. Во всяком случае, в его рассуждениях нет ничего советского. Это там, на Западе, все люди враги друг другу. Но не у нас. И вообще: скорей бы уж куда-то везли и разбирались! Не может быть, чтобы там не понимали, что у него это по молодости. Если и прав в чем-то этот капитан, так только в том, что сомнения свои надо держать при себе. Даже по пьяному делу. Впрочем, он, Николаенко, и не пил еще так, чтобы до беспмятства. Это с ним впервые — и только потому, что его напоили специально. Но уж следующий раз он никогда ни на какие уговоры не поддастся. Тем более — тыловикам. Они все, видать, такие, как этот капитан. То есть каждый себе на уме.

На какое-то время в сарае, как, впрочем, и во всем мире, повисла тягучая тишина. Все точно притаилось в ожидании неизвестного чего. И сам Николаенко тоже притаился, чутко вслушиваясь в тишину. Но тут хлопнула входная в избу дверь, затем захрумкили приближающиеся шаги...

Кто-то решительно подошел к двери сарая, загремел замок, двери распахнулись.

— Входи, не бойсь! — прозвучал знакомый голос старшего лейтенанта, и в полутьму сарая вошел невысокий, но какой-то очень уж широкий человек с длинными, не по росту, руками, болтающимися почти возле колен.

Пока караульный возился с дверью, вошедший успел оглядеться и сразу же, не произнеся ни слова, полез на сено и устроился между лейтенантом и капитаном.

Николаенко успел разглядеть, что одет этот человек во что-то вроде бараньего кожуха, на голове баранья же шапка, на ногах сапоги, — видно, из местных, из поляков. Новенький сразу же лег на спину и натянул шапку на глаза.

«Черт знает что! — подумал Николаенко с брезгливостью к этому человеку. — Фашиста нам еще не хватало».

И капитан, видать, испытал то же самое: он отодвинулся от новенького к стене, отвернулся.

Прошло еще какое-то время. Николаенко лежал на спине, тарачился в бревенчатый потолок. Слабый свет пробивался сквозь редкие щели в двери, в полумраке все расплывалось, и уходило в беспредельную темноту. Казалось, что свет из щелей — это свет из другого мира, потерянного навсегда. Иногда Николаенко забывался, окутываемый дремой, но продолжалось это недолго: что-то будто толкало его изнутри — он открывал глаза, вглядывался, вслушивался, но все оставалось по-прежнему.

Снова захрумкал снег под ногами, снова брякнул замок и лязгнула железная задвижка. Двери распахнулись. В светлом прямоугольнике застыла фигура старлея Мыльника.

— Выходи по одному! Руки за спину! — прозвучала его команда.

Вышли, и Николаенко еще раз, уже при дневном свете, глянул на капитана Книжного: точно, лицо его было неприятно чистое, холеное даже и брезгливое. Сволочь, видать, та еще. А человек в штатском шел сзади, и Николаенко его разглядеть не успел.

Во дворе, слева и справа топтались два автоматчика, на крыльце стояли майор Поливанов и капитан Самородов, запихвающий что-то в полевую сумку. До Николаенко долетели слова майора: «Повнимательнее там на дороге: мало ли что».

Во двор, сердито урча, вползал задом крытый брезентом «Студебеккер».

Им приказали лезть в кузов. Николаенко полез первым, легко перевалился через железный борт, отметив, что рана никак не отозвалась на его усилия. Капитан забирался тя-

жело, но Николаенко руки ему не подал, точно и не видел его затруднений, прошел к кабине и сел на скамью. «Больше с ним ни слова», — решил он.

Капитана посадили снизу, следом легко забрался штатский: видать, силенкой бог его не обидел. Капитан сел рядом с Николаенко, штатский напротив. Между ними железная бочка, воняющая бензином, прикрепленная к переднему борту широкими брезентовыми ремнями. Два автоматчика залезли и сели у заднего борта лицом друг к другу.

И только теперь Николаенко со всей остротой почувствовал, что с ним случилось что-то страшное, несправедливое по своей сути, что впереди его ждет пустота, наполненная бесконечной тьмою. Он запрокинул голову, стараясь, чтобы навернувшиеся на глаза слезы отчаяния не пролились на его лицо и не стали бы заметны со стороны. Уж лучше бы его не ранило, а убило в этом последнем бою.

8. Ехали уже больше часа. Машину мотало из стороны в сторону. В щель между двумя крыльями брезентового полога виднелось одно и то же: перемешанный со снегом песок, уплывающие назад то сосны, то какие-то белые пространства.

Автоматчики курили. Николаенко, глядя на них, глотал голодную слюну. Сидящий напротив штатский дремал, опустив на грудь голову в бараньей шапке. Со стороны казалось, что ему все равно, куда его везут и что с ним будет. Но иногда Николаенко ловил на себе быстрые, точно выстрел, взгляды и отчего-то настораживался.

Несколько раз машину останавливали на КПП. Заглядывали в кузов, светили фонариками, пересчитывали седоков по головам. На одном из КПП Николаенко ясно разобрал, что везут их в какой-то Лукув, там должны сдать в коммандатуру, дальше поездом до Бреста. Ясно было, что везут в СССР, на родину, и это как-то успокоило Николаенко: если бы хотели расстрелять, расстреляли бы здесь. Значит, еще не все потеряно. Главное — дать о себе знать брату: тот заступится. А если не заступится, то могут разжаловать и отправить в штрафбат. Так он и так служил в штрафбате — его не испугаешь. И это было бы лучшим исходом.

Около одного из КПП разрешили спуститься на землю, оправиться по одному, затем каждому дали по куску хлеба и по алюминиевой миске перловой каши с комбижиром. А ложек не дали. Пришлось есть руками.

Штатский ел с жадностью необыкновенной. Видать, наголодался. Было ему лет сорок—сорок пять, короткая и кривая шея, одно плечо выше другого. То ли покалеченный, то ли

горбун. Но не явный, а если внимательно присмотреться. Лицо с резкими чертами, толстым угреватым носом, выпирающим подбородком, серой щетиной. Он не смотрел по сторонам, в разговоры не вступал. «Явный поляк», — более уверенно подумал о штатском Николаенко, подумал с неприязнью, хотя не смог бы объяснить, почему именно поляк, а не кто-то другой. Скорее всего потому, что о поляках много говорили: об их застарелой вражде к русским, о восстании в Варшаве, о каких-то аковцах, которые нападают на отдельные небольшие подразделения советских войск.

Капитан Самородов арестованных не подгонял, но на часы поглядывал и мерил длинными ногами расстояние между шлагбаумом и каменным строением, в котором разместилась команда КПП. Похоже, он ждал попутные машины, но все двигалось только в сторону фронта, и ничего назад. После еды дали по одной папиросе на брата. Покурили, поехали дальше. Ехали медленно, пропуская встречные колонны. Вечерело.

Уже в сумерках въехали в небольшой город Магнушев. Город разрушен не сильно, в центре сохранились отдельные дома или части домов. Вокруг них кипела тыловая жизнь: рычали грузовики, что-то с одних разгружали, что-то на другие грузили, стояли санитарные машины, возле них сутились люди в белых халатах. И вообще очень много людей куда-то спешило, что-то делало, лица у офицеров озабоченные и решительные.

Николаенко всегда с некоторым презрением смотрел на эту тыловую суету, но сейчас он бы и сам включился в нее, лишь бы с него сняли все подозрения и поклепы. Но никому не было до него дела, каждый был погружен в свои заботы.

Арестованных поместили в подвале полуразрушенного каменного строения. Здесь, в сырых казематах с массивными железными дверями, имелись деревянные нары, здесь шла своя жизнь, хотя весьма странная и непонятная: в сыром полумраке звучали голоса, иногда раздавался смех. Николаенко даже удивился, что так много народу как бы вырвано из войны, отделено от нее железными дверями и решетками. И далеко не все тужат по этой причине. Неужели все эти люди только и делали, что клеветали на советское правительство или распространяли запретные антисоветские мысли? Конечно, тут собраны люди разные, но и подобные Николаенко наверняка имеются тоже. Впрочем, от этого легче не становилось, но первый ужас и оцепенение прошли: человек ко всему привыкает. Или смиряется с выпавшим на его долю несчастьем.

9. Утром следующего дня в машину посадили еще пять человек. У каждого с собой сидор, а у одного старшего лейтенанта так даже фибровый чемодан. Вернули и Николаенко его тощий сидор с запасным бельем.

Капитан Самородов был явно озабочен прибавлением подопечных. Он сам залез в кузов, проверил, кто как сидит, заставил арестантов сесть поплотнее, чтобы между ними и конвоирами соблюдалось расстояние не менее двух метров. Но едва он слез, люди несколько разомкнулись, и расстояние сократилось до метра с небольшим. Однако конвоиры этому не препятствовали.

Поехали.

Оказалось, что в восточном направлении идет целая колонна машин. Через полчаса или меньше по понтонному мосту переехали через широкую реку. Николаенко догадался, что это Висла. Сюда, то есть на плацдарм, они переходили по этому же самому мосту, но пешим строем. Топали аж от самого Люблина, дальше которого железная дорога не действовала. И вот теперь он едет в обратную сторону..

Николаенко сидел у самой кабины, здесь он обнаружил щель в брезентовом пологе, через заднее стекло видел плечо и руку шофера, время от времени дергающего рычаг переключения скоростей, часть радиатора машины и бегущую навстречу левую сторону дороги, стволы деревьев, кусты и снег. Иногда в поле зрения попадал кузов впереди идущей машины, тогда шофер тормозил, дергал рычаг и, размахивая освободившейся рукой, что-то, судя по всему, объяснял или доказывал сидящему рядом капитану Самородову, которого видно не было.

После одного из КПП дорога раздвоилась, колонна распалась. Теперь машина двигалась значительно быстрее. Да и дорога стала лучше, не так трясло. Сбоку тянулся и тянулся густой лес. Шофер гнал на третьей скорости, то сбавляя, то надавая газу. Смотреть было не на что. Николаенко дремал: гул машины и болтанка убаюкивали. Уже ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Наступило то состояние тупого равнодушия, когда все становится безразличным и хочется лишь, чтобы быстрее все кончилось — неважно чем.

10. Вдруг ахнуло — и машина точно налетела на стену. Николаенко бросило на кабину, он ударился боком и головой, и как раз тем боком, где рана. На него тяжело навалилось несколько тел, сдавили до хруста в ребрах. Но все это длилось мгновение. Затем какая-то сила швырнула всех назад — и Николаенко очутился теперь на полу, вернее, на куче копошащихся человеческих тел. Машина, однако, еще

какое-то время куда-то двигалась короткими рывками, потом на что-то наткнулась и встала. И тотчас же сбоку слышались автоматные выстрелы, по железному борту зацокали пули.

За эти несколько мгновений Николаенко успел отметить, что взрыв был значительно слабее противотанковой мины, что он больше походил на взрыв связки гранат, что стреляют слева, что стреляют не только из советских ППШ, но и немецких автоматов «шмайссер», что стреляющих не больше пяти-шести. Потом сзади раздалось еще два взрыва — на этот раз точно немецкие гранаты, но не в связке, а по одной. И трескотня автоматов усилилась.

Один из охранников выбрался из кучи тел первым, ползком добрался до заднего борта, припал к прорехе в брезенте и стал стрелять из автомата. Другой еще копошился на полу. И остальные копошились рядом. Пули все чаще ударяли в железный борт «Студебеккера», дырявили брезент. Черный душливый дым заполнял кузов.

Подниматься было опасно, но и лежать, ожидая невесть чего, тоже казалось не менее опасным. Николаенко налег на стонущего охранника, схватил автомат, вырвал из его рук. Тот почти не сопротивлялся. Однако прохрипел с натугой:

— Убью, с-сука!

— Убьешь, убьешь, — успокоил его Николаенко, прикидывая, откуда лучше вести огонь.

Но тут, оттолкнув его в сторону, мимо метнулась черная тень, навалилась на стрелявшего охранника, взлетели кулаки, охранник что-то закричал, другой тоже, и в распахнутом треугольнике света возникла фигура в бараньей шапке с автоматом в руке, направленном в сторону кабины.

Николаенко понял, что это смерть, что он не успеет не только выстрелить, но даже повернуть автомат в сторону человека в бараньей шапке. И не то чтобы разумом понял, а инстинктом зверя, приученного к драке, когда не рассуждают, не прикидывают, что делать и как, а делают то, что диктует этот самый инстинкт и приобретенный опыт.

Он спружинил ногами и, оттолкнувшись от чьего-то тела, рванулся вперед...

Над головой его протарахтела длинная очередь, сполохи света заметались по замусоренному железному полу и задранной шинели лежащего у борта охранника.

Сзади кто-то взвизгнул...

Слету Николаенко ударил в мягкое головой — и человек в бараньей шапке исчез. Послышался шлепок упавшего тела и звяк оружия.

А уже совсем близко слышались возбужденные голоса на панском, и все больше «Пан! Панове!».

Рядом кто-то стонал.

Но по-прежнему между смертью и жизнью оставались мгновения. Фронтовой опыт подсказывал Николаенко, что терять эти мгновения нельзя, и он метнулся к кабине, откуда валил черный дым, сунул руку под брезент, сорвал с крючьев веревку и соскользнул на снег в образовавшуюся дыру. И почти в то же мгновение в кузове рванула граната.

Горели мотор и кабина. На снегу, раскинув руки, лежал капитан Самородов. Сзади, метрах в тридцати, горела санитарная полуротка, выкрашенная в белое, с красными крестами. Из раскрытой кабины свешивалась, за что-то зацепившись, женская фигура в белом полушубке. Впереди дымил еще один «студер».

Прикрываясь дымом, Николаенко откатился в кювет, в два прыжка достиг сросшейся с елью сосны. Вслед ему протрещал «шмайссер», а может быть, и не ему вслед, а кому-то другому. Среди дыма, расплзающегося между деревьями, мелькали тени людей — и Николаенко дал короткую очередь по этим теням. Раздались крики, и опять что-то там «панове, панове!», а что, Николаенко не разобрал.

«А-а, гады! Не нравится? Ну, я вам еще!»

В него точно бес вселился — веселый такой бес, отчаянный, которому все нипочем. Кончилась неизвестность, кончилось все то, что произошло за последние двое суток, точно это был сон, или бред, или еще что-то похожее, но никак не жизнь. А жизнь — это бой, это автомат в руке, и над тобой никого — одни лишь сосны и небо.

Николаенко стрелял короткими очередями по три-четыре патрона, как на учениях, то, перебегая от сосны к сосне, то, перекатываясь по хрусткому от мороза снегу, механически отмечая количество расстрелянных патронов. Его окружали, обходя слева и справа. Он видел их отчетливо, в них не было ничего страшного. Они тоже прятались за деревья, тоже перебежали, стреляя от живота, как стреляют обычно немцы, идя в атаку на наши окопы.

Трещали автоматы, пули шлепались в деревья, сбивая кору и ветки, сыпалась хвоя. Когда в диске осталось не более десятка патронов, Николаенко громко клацнул затвором, выбросив один патрон, затем, выждав, когда прекратится стрельба, медленно поднялся и пошел им навстречу.

Их было человек десять-пятнадцать. Все в знакомой форме польской армии: доводилось ему видеть поляков из войска польского, которые шли во втором эшелоне к фронту, а штурмовой батальон двигался в ту же сторону. Он уже тогда

заметил — и не он один, — что многие из поляков смотрели на советских солдат угрюмо, исподлобья. Поговаривали, что иные из них перекидываются на сторону подпольной армии Крайовой, которой руководят из Лондона, что имели место случаи, когда целые подразделения уходили в леса, поубивав советских офицеров, чтобы воевать против Красной армии. Видать, эти солдаты как раз из таких подразделений.

«Ну, что ж, господа панове, или как там, вашу мать... У нас тоже говорят: «Или пан, или пропал». Так пропадать даже лучше. А то черт знает, что придумали: Николаенко и этот самый... враг народа. А лейтенант Николаенко врагом народа никогда не был и не будет. Как это так — враг народа? Это значит, что он враг своей матери и отцу, своим товарищам? Ну, это вы, товарищи дорогие, врете. Под вышку подвести хотите. Я уж как-нибудь сам...»

О том, чтобы сдаться этим людям, в голову Николаенко даже маленькой мыслишки не приходило. Может, они бы и посчитали его если не своим, то как бы и не врагом, зато врагом советской власти, врагом своей родины. А для Николаенко советская власть и родина — это все: его жизнь до войны, его родители, родной Харьков, товарищи и друзья по школе, его взвод и командир роты лейтенант Красников, старший лейтенант Солоницын... Да разве все перечтешь, что поднимается под этими двумя словами! Тут и считать нечего. А эти — они его враги. Потому что они враги всего, что стоит за его, Николаенко, спиной. И выбирать ему не из чего.

Поляки сходились в одну точку, уже не таясь, собирались вокруг человека в польской квадратной фуражке с белым орлом и желтыми лычками на погонах.

Николаенко переложил автомат так, будто он собирается им действовать наподобие дубины. Пусть думают, что у него все патроны кончились.

Поляки стояли и смотрели на приближающегося Николаенко с любопытством. Один было поднял пистолет, но другой отвел его руку и что-то сказал — что-то знакомое, но не до конца. Впрочем, и это тоже не имело значения.

И тут, запыхавшись, к ним подбежал тот, в рыжем зипуне, похожий на горбуна, что ехал с Николаенко в кузове, и что-то быстро-быстро залопотал по-своему. И опять в его торопливой речи прозвучало что-то знакомое. Но для Николаенко и его слова не имели значения. Даже если он говорил, что Николаенко из арестантов, что он вроде бы как свой человек. Если он говорил именно это, то ничего более обидного для Николаенко он сказать не мог.

До поляков оставалось шагов десять.

Николаенко остановился. Провел рукой по лицу, размазывая кровь. Тут же дала о себе знать еще не зарубцевавшаяся рана: по груди и животу текло теплое, рубаха намочка, от этого было как-то не по себе, неуютно.

И на какое-то мгновение решительность оставила Николаенко: ему показалось, что это свои поляки, что тут вышла какая-то ошибка. Мало ли что случается: одни приказали одно, другим другое, командиры между собой не согласовали, а в результате свои постреляли своих.

И Николаенко опустил автомат, вглядываясь в лица стоящих напротив людей: лица как лица, ничего особенного.

В это время тот из них, что с нашивками на погонах, отмахнувшись от слов гражданского поляка, сделал пару шагов вперед и остановился напротив Николаенко.

— Ну, что, долбаный москаль? — произнес он с презрением, даже большим, чем было его в речах капитана Книжного. — Отвоевался? И кто ты теперь? Ни нашим, ни вашим? Страшно, небось, умирать-то?

Говорил поляк по-русски хорошо, без акцента. Но Николаенко этому не удивился. Он сплюнул на снег сгусток крови, передернул плечами.

— А тебе? — ответил вопросом на вопрос.

— Мне-то? Ха! А я не умру, я буду жить долго, — усмехнулся поляк. — Я еще посмотрю, как будешь умирать ты. Небось, в штаны наложишь...

— Я-то? Ну, это ты врешь, собака! — выкрикнул Николаенко, захлебываясь собственной ненавистью. — Женщин стрелять? Да? Врачиху убили! Сволочи! Фашистские прихвостни! Все равно вам конец!

— Ах ты русское быдло! Коммуняка! Пся крев! — взорвался поляк. — Да мы тебя на куски порежем, да я... — и он стал поднимать пистолет, явно целя Николаенко в ногу.

Но Николаенко уже поймал пальцем спусковой крючок, крутнулся на месте — автомат забился в его руках, выпуская оставшиеся пули.

И почти вместе с его автоматом ударили сразу несколько...

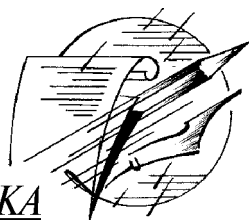
Однако Николаенко успел увидеть, как падает его враг, как в широко раскрытых его глазах стынет ужас непонимания... и тут же сам провалился во тьму...

Андрей ИВАНОВ,
доктор философских наук

ЗНАКИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

Ощущение того, что мы стоим на пороге каких-то глобальных потрясений, носит уже массовый характер. При этом апокалиптические настроения охватили не только страны, пребывающие в состоянии кризиса, как и Россия, но и вполне процветающие государства Западной Европы. Вокруг проблемы того же «конца света» 2012 года уже успела сложиться целая бизнес-индустрия, мастерски эксплуатирующая страхи и предрассудки массового сознания.

Однако и научно-технократическое бодрчество, типа того, что в мире ничего особенно опасного не происходит, а все экологические и технократические катастрофы последних десятилетий — не более чем следствие естественных изменений климата и усложнения техносферы, в свою очередь, не могут вызвать ничего кроме недоумения. Антропогенная дестабилизация биосферных процессов на всем пространстве земного шара, включая Антарктиду и Арктику, — это реальный факт, и считать человечество невинным за разрушение своего природного дома все равно, что считать дровосека невинным за деградацию лесного массива, который он вырубал десятилетиями. Тем более что многие последствия сказываются не сразу. Когда только начала развиваться атомная промышлен-



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

ность, кто знал, сколькими жертвами и бедами это обернется? Когда с научной эйфорией, достойной лучшего применения, ученые бросились механически тасовать геном живых существ, кто из них предвидел весь комплекс угроз, который возникнет из человеческого соблазна в одно мгновение породить новую форму жизни? Понятно, что человечество веками ждет конца света, а он все не наступает и не наступает. Но ведь это еще не основание считать, что глобальная катастрофа нашей цивилизации невозможна. Увы, такой печальный исход объективно весьма вероятен, в чем единодушны многие ученые из самых разных отраслей знания.

В этой статье я бы хотел, избегая обывательских суеверий и ложного технократического оптимизма, рационально проанализировать некоторые события последнего времени как те знаки, которые посылает окружающий мир, дабы в очередной и, не исключено, в последний раз предупредить нас о грозящих опасностях и, одновременно, напоминая о забытых ценностях. Я, естественно, буду исходить из вполне определенных философско-мировоззренческих предпосылок, а именно, что Космос, частью которого мы являемся, устроен справедливо и мудро, а наши человеческие разум и нравственная интуиция не возникли случайно из безжизненной и неразумной материи и укоренены в разумной основе вселенной, в свою очередь, нуждающейся в нашем свободном творчестве и нравственно ответственном деянии.

Можно, конечно, верить, что появление сознания и разума на Земле и в Космосе — всего лишь случайное стечение благоприятных физических условий и факторов, которые могли и не сложиться. Но есть один часто забываемый факт, который делает эту веру не более чем наивной верой: все наши рассуждения о физической Вселенной и ее законах, как и вообще любое рассуждение о внешних объектах, исходят из первичной реальности сознания. Нам все дано только сквозь его призму; он — необходимая и существенная предпосылка всех наших рассуждений о мире и самих себе. Мы не способны выскочить за пределы собственного сознания точно так же, как не может барон Мюнхгаузен вытащить самого себя за волосы из болота. Из факта безусловной первичности сознания относительно любых его конкретных содержаний (что было четко зафиксировано уже Р.Декартом) можно, естественно, сделать разные философские выводы. Один из возможных фундаментальных ходов мысли состоит в том, чтобы признать: сознание столь же укоренено в физическом Космосе, сколь и Космос укоренен в нем. Это касается не только нашего несовершенного человеческого сознания, но и сознаний гораздо бо-

лее высокого уровня, способных, по-видимому, куда как к более мощной познавательной и конструктивной деятельности, нежели мы способны себе представить. У нас ведь и между людьми разница в качестве сознаний колоссальная, особенно если сравнить сознание В.И. Вернадского и П.А. Флоренского с сознанием какого-нибудь двуногого дикаря. Подчеркну еще раз: вера в иерархию сознаний и разумность устройства Космоса гораздо более научна, чем иррациональная вера в его исходную неразумность и безжизненность. Следует вообще отказаться от совершенно ложного мнения, которое еще весьма распространено среди ученых, будто атеизм и скептицизм — это синонимы научности и рациональности.

Дело обстоит прямо противоположным образом, и в этом будет заключаться ключевой тезис данной статьи: именно иррационально-атеистическое отношение к Космосу как к первично безжизненной и лишенной сознания физической среде, равно как и безответственное отношение к материальным продуктам и живым актам собственной мысли, — породили тот тяжелейший цивилизационный кризис, свидетелями которого мы все являемся. Именно об этом говорят и те знаки-предупреждения последнего времени, о которых речь пойдет ниже. Но начну я свой анализ со страшного знака совсем другого рода — не иррационально-атеистического, а иррационально-религиозного, ведь тупиковые крайности, как известно, сходятся.

Знак 1. Террористические взрывы смертниц на станции «Лубянка» и «Парк культуры»

Я не буду, да и не в моей это компетенции, обсуждать проблемы международного терроризма, его причин и сопутствующих условий, а уж тем более методов государственной борьбы с ним. Я лишь подчеркну некоторые знаковые вещи:

— взрывы в московском метро устроили совсем молодые женщины-вдовы, получившие хорошее образование и даже причастные к школьному воспитанию детей;

— родители (по крайней мере, отец одной из смертниц) знали, какую страшную вещь задумали их дети;

— женщины-смертницы перед преступлением молились, т.е. верили в высшую — нравственно-религиозную — санкционированность своего чудовищного деяния;

— наш информационный официоз в очередной раз отказался серьезно и публично обсудить давно назревший кантовский вопрос: как возможен сегодня воинствующий фашизм, приводящий к массовым жертвам?

Во-первых, самоубийство вообще, а тем более самоубийство с убиением сотен безвинных людей, — это сам по себе колоссальный вызов человеческой природе и культуре. Если же смертница — женщина, т.е. мать-жизнедательница и хранительница устоев культуры, то это — тройной вызов основам человечности. Не пытаться системно и соборно разбираться, что стоит за взрывами смертниц в Москве, — значит быть соучастниками будущих потенциальных преступлений подобного рода. Как человек превращается в воинствующую нелюдь? Какими порочными идеями он зажигается, которые оказываются сильнее первичного инстинкта самосохранения и чувства сопричастности с другими людьми? Одними технологиями зомбирования и жаждой мести феномена «религиозного смертничества» не объяснить, как и не победить его чисто полицейскими методами.

Во-вторых, для меня темным знаком является принципиальная ориентация наших властей на физическое уничтожение террористов («мочение в сортире»), а не на их поимку, суд и справедливое публичное наказание (при отсутствии смертной казни по суду. — **Ред.**). Непонятно, зачем нам в России повторять практику Израиля с его ветхозаветным принципом «око за око». Ничего кроме яркого озлобления у мусульманского населения это не вызывает. Почему у нас в России результаты должны быть иными? Из порочного круга крови, как известно, вырваться невозможно. Может быть, властям просто удобно переводить стрелки народного негодования с тупиковых реформ, напоминающих всенародный разор, на пресловутый терроризм, борьба с которым требует-де огромного государственного напряжения и финансовых расходов. Опять-таки очень удобно сплачивать разобщенный народ (нищего учителя с богатым Чубайсом) вокруг общего террористического врага. Чтобы убедить меня в ложности этих подозрений, власть должна продемонстрировать умение эффективно и в рамках закона противодействовать терроризму, а самое главное — системно бороться с его социальными, психологическими и религиозными корнями. А как с ними бороться, если нет гласного и всестороннего обсуждения проблемы, а есть одни фигуры умолчания и призывы не накалять ситуацию в обществе.

В-третьих, знаковым является вялая публичная реакция исламских кругов в нашей стране и за рубежом на феномен исламского терроризма-смертничества. А ведь это — прямой метафизический и моральный вызов исламу. При широкой географии религиозного террора в мире, фанатиков-смертников (а тем более — смертниц!) нет ни в христианстве,

ни в индуизме, ни в иудаизме, ни тем более в буддизме. Исламской догматике многие европейские аналитики прямо вменяют в вину отсутствие запрета на убийство человека и тезис о возможности прямого попадания в исламский рай (с яствами и любвеобильными гуриями) для мужчин-мучеников, погибших за веру. Они избегают даже Страшного суда в конце времен. Что касается женщин, то в некоторых исламских источниках можно найти утверждения об ущербности их душ без души живого мужа. Если же женщина была при жизни правоверной мусульманкой, то может надеяться на вечное блаженство с мужем в раю. Отсюда мученическая гибель «черной вдовы» в битве с врагами ислама оказывается едва ли не самым предпочтительным вариантом завершения земного пути.

Понятно, что в богатейшем исламском идейном наследии есть совсем другие интерпретации сложных мест Корана и прямое осуждение религиозного насилия, включая признание фанатика-смертника преступным самоубийцей. Самоубийство в исламе, как и в большинстве религий, является одним из самых страшных грехов. Но ведь надо обсуждать эти проблемы на телевидении — гласно и честно, с участием духовных исламских авторитетов. Пусть в этом публичном диалоге, где, конечно, недопустимо никакое оскорбление религиозных чувств верующих, примут участие представители других конфессий, а также психологи и социологи, политики и религиоведы, представители разных религиозных общин. Известен старый психотерапевтический эффект: как только причины болезни начинают осознавать и проговаривать, она начинает отступать.

Важно также, чтобы публично и всеми религиозными конфессиями было зафиксировано: **подлинная религиозная вера несовместима ни с какими видами насилия, и никаких посмертных наград не может быть для изуверов, убивающих безвинных людей. Их ждут только адские муки и небытие, если посмертная жизнь существует.**

А она с высокой степенью вероятности существует, о чем свидетельствуют исследования людей, бывших в состоянии клинической смерти, а также многочисленные факты общения с существами иных слоев реальности. Причем таких фактов становится все больше и больше, и в этом нет никакой «дурной мистики». Напротив, в этих знаках «жизни после смерти» есть глубочайшая рациональность. Странным было бы обратное: если бы в Космосе, устроенном справедливо и мудро, люди не получали бы воздаяния по заслугам, уж коли не в этом, то в иных, более справедливых мирах.

Кстати, псевдорационалистическое неверие в загробную жизнь базируется на двух основных предрассудках: а) я лично не вижу никакой загробной жизни и б) жизнь очевидно прекращается вместе со смертью физического тела человека.

Но из того, что чего-то не видишь лично ты и окружающие, еще совсем не следует, что этого не видят и не знают люди с более развитым сознанием. Многие способны видеть вещи сквозь плотные предметы (явление проскопии), видеть в темноте, на ощупь определять цвета. Удивительными способностями сознания обладают гении. Моцарт, например, слышал всю симфонию сразу и целиком; глаз Леонардо безошибочно различал все завихрения воды, падающей в бассейн с высоты нескольких метров. Святым же праведникам и подвижникам, о чем свидетельствуют не только их жития, но и сотни очевидцев, открывались иные слои реальности, просто недоступные для научного наблюдения. Некоторые опыты с фотографиями прямо фиксируют различные так называемые астральные сущности. Здесь надо вести дальнейшие экспериментальные исследования, приняв посылку, что подобные явления в природе возможны.

Что же касается мнения, будто наше сознание гибнет со смертью физического тела, то для этого надо сперва обосновать тезис, что его реальность напрямую зависит от физиологических процессов в теле и мозге. А она от них зависит, как известно, весьма косвенно, ибо «при участии» — вовсе не значит «по причине».

Если же мы признаем, что сознание — это нередуцируемая к материи идеально-информационная реальность, тогда смерть и недвижимость физического тела никак не будут свидетельствовать о его смерти. Тело может умереть, но сознание будет жить и действовать, опираясь на свои более тонкие материально-несущие основы, нежели физиологические процессы в мозге. Многочисленные исследования людей, находившихся в состоянии клинической смерти, говорят об их способности видеть свое умирающее тело со стороны и испытывать вполне определенный опыт посмертных состояний сознания. Это, в свою очередь, ставит вопрос о существовании особых материальных переносчиков явлений сознания, к изучению которых только-только подступает современная наука. Кстати, самоуверенный отказ некоторых ученых обсуждать «антинаучную» проблему жизни после смерти сам по себе является антинаучным и иррациональным. Такой отказ только порождает волну оккультных домыслов и спекуляций. Вместо ученых феномен жизни сознания после смерти будут «изучать» «грабовые», наживаясь на людской до-

верчивости и людском горе. Кстати, связь Г.Грабового с трагедией в Беслане — тоже знаковое явление.

К обоснованию тезиса о том, что наука может приобретать иррациональные черты и даже превращаться в магию, я вернулся чуть позже, а пока хочу зафиксировать ключевой вывод из страшного знака массового убийства безвинных людей в Московском метро: религиозному изуверству можно положить предел только путем его публичного и аргументированного развенчания совместными усилиями рациональной науки, рационально мыслящих деятелей Церкви и равнодушной общественности. Что же касается силового государственного ответа террористам, то любое неконтролируемое насилие вызовет лишь волну ответного насилия и появление новых «мучеников» за веру. Кровь рождает только кровь, как культ могил порождает лишь новые могилы.

Знак 2. Крушение самолета с польской элитой под Смоленском

Крушение самолета с политической и военной элитой Польши потрясло всех нормальных людей до глубины души. Сопереживание полякам — чувство естественное и искреннее. Иного и быть не могло, ведь мгновенная гибель такого количества высокопоставленных людей одной страны ужасна. Однако нравственное сопереживание трагедии польского народа соседствует с тайным, но стойким чувством не случайности произошедшего. Спрашивается: разве можно сплачивать нацию вокруг могил прошлого, принося в жертву исторической некрофилии стратегические интересы будущего? Разве в угоду историческим обидам, пусть и имеющим основания, можно забывать о глубокой объективной потребности современных наций, тем более славянских, во взаимном доверии и уважении? Нельзя призывать к покаянию чужой народ, не будучи готовым покаяться самому. При требовании покаяния от других никогда не оказываются победителей: одни проигравшие. А ведь Катынское дело было, по сути, превращено польской политической элитой в пляску на костях, в какое-то совсем не христианское, а скорее языческое магическое камлание. Культ могил и мучеников словно притянул к ним новые могилы и новых мучеников. Возникшая сатанинская воронка потребовала новых человеческих жертв.

У меня как внука русского офицера, освобождавшего Польшу от фашистов и потерявшего там своих близких друзей, возникает один совершенно праведный вопрос: разве мы

сотнями тысяч жизней, положенных ради спасения польской нации и польской культуры, заслуживаем упрека в катынской трагедии? Разве не кощунственно требовать от нас публичного покаяния, когда мы спасли от уничтожения их священный Краков? Катынь — это указующий знак, из которого надо всем извлекать уроки, причем не только русским и полякам:

— за все несправедливости в этом справедливом мире приходится платить, причем страдают не только их непосредственные, но и косвенные виновники, и, по-видимому, нет абсолютно безвинных жертв. И коль скоро над порочными причинами прошлого, приводящими к трагическим последствиям сегодня, мы не властны, то не будем хотя бы плодить разрушительные причины в настоящем, дабы их ядовитые плоды не пожали потомки в будущем;

— нельзя превращать настоящее в орудие мести за прошлые — подлинные и мнимые — исторические обиды, равно как и прошлое недопустимо использовать для решения нынешних политических проблем;

— недопустимо нравственно судить своих и чужих предков. Мы должны быть им благодарны за сохранение жизни и культуры на Земле. Ответственное историческое сознание требует сильного понимания и объяснения исторических событий с обязательным извлечением личных моральных уроков. По самой высокой нравственной мерке нужно судить **самих себя** и не потворствовать **в настоящем** тому, что тебе не нравится в истории. Сегодня все клеймят сталинизм и рабское тоталитарное сознание, но чьи портреты висят в чиновничьих кабинетах по всей России?;

— в истории взаимоотношений между народами ничего не следует скрывать и забывать, как бы это ни ущемляло национального самолюбия. Но сознательный упор должен быть сделан на то, что взаимно сближало и вдохновляло, а не разъединяло народы. Разве в нашей совместной истории с поляками не было героической битвы при Грюнвальде в 1410 году, когда мы вместе отразили нашествие на славянские земли тевтонского ордена? Разве не было искренней человеческой симпатии и взаимного творческого восхищения у двух гениев наших национальных культур — Мицкевича и Пушкина? Они оказались способными переступить через ложную национальную гордыню, почему же этого не можем сделать мы? Разве не отогревали и не давали приют сосланным полякам мои земляки в Алтайском крае? О щедрости сибирской русской души не раз рассказывал тот же Войцех Ярузельский.

Знак 3. Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС

Я, естественно, не собираюсь входить в технические причины этой ужасной катастрофы. Ими должны заниматься честные и независимые профессионалы. Моя задача совсем в другом. Саяно-Шушенская ГЭС была едва ли не последним советским гигантским энергетическим проектом, разрекламированным как чудо инженерно-технической мысли. Ради ее огромных потенциальных мегаватт были уничтожены тысячи культурных памятников и наскальных рисунков разных эпох, расположенных в долине Енисея; нарушен гидрологический режим реки, повреждена вся экосистема региона. Строители и конструкторы, как всегда, убеждали народ в абсолютной безопасности станции, в том, что все просчитано, продумано и находится под контролем. И что в итоге? Техногенная катастрофа с огромным количеством погибших, с весьма туманными перспективами возобновления работы станции, с сумасшедшими затратами на ее ремонт и, самое главное, непредсказуемым характером поведения реки, на которую набросили бетонную удавку. В результате суровой зимой 2010 года возникла реальная угроза прорыва плотины, и пришлось спешно пробивать отводные каналы для оттока паводковых вод. Не слишком ли высокая плата за технократическое самомнение, за бездумное и безответственное вторжение в естественные экосистемы, обладающие, как сегодня выясняется, ценностью гораздо более высокой, чем все техногенные объекты, построенные на них?

Разве все это — не зримый предупреждающий знак для РусГидро и всего нашего правительства, которые с упорством, достойным лучшего применения, собираются сегодня возводить огромные Эвенкийскую и Богучанскую ГЭС и несколько раз предпринимали попытки вернуться к проекту Катунской (ныне Алтайской) ГЭС? Мало того, что в этом видится стойкое желание окончательно закрепить статус Сибири как колонии, но проглядывает абсолютная экологическая и культурная безответственность бизнеса и власти, которые ради барышей готовы пожертвовать нашими стратегическими сибирскими природными и рекреационными ресурсами. Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, на мой взгляд, совершенно недвусмысленно и знаково свидетельствует: нет сложных технических систем абсолютно безопасных, особенно если они связаны с механическим вторжением в сложные и хрупкие экосистемы. Перекрытие плотинами рек, особенно крупных, — это всегда потенциальная экологическая и социокультурная катастрофа, если вспомнить

не только несчастный Енисей, но те же Волгу и Обь. Реки — это ведь не только энергоресурсы, но и вода для бытового потребления, и обиталище многих видов птиц и рыб, и место отдыха для миллионов граждан. Та же популяция пресноводных рыб в мире вдвое сократилась за последние четверть века. Реки — это еще и важнейшая часть культурного ландшафта России, вдоль которых расселялись наши предки, строили на высоких берегах городища и храмы. Реки синевой своих вод вдохновляли творчество сотен художников, композиторов и поэтов. Но ведь русские реки — это в буквальном смысле слова становые жилы нашего евразийского пространства. Они вместе с током вод переносят и огромное количество информации, которая может быть созидательной, но может быть и разрушительной. К анализу этой их функции только-только подступает современная наука. Те же алтайцы и русские староверы были убеждены, что Катунь несет талые воды с ледников, благие для человеческих тел и душ. Вихревые воздушные кольца, прокатывающиеся вдоль всего русла этой священной алтайской реки, физически ощущаются сотнями людей как очищающие и врачующие их организм. Разве все это можно измерить в мегаваттах и рублях, и разве за отказ от истинного и вечного ради суетного и ложного не справедливо следует кара?

Ставка сегодня должна быть сделана не на эскалацию энергетической гигантомании — технологического реликта XX века, а на комплексное развитие технологий нетрадиционной энергетики и энергосбережения. Это должно стать государственным приоритетом в области высоких технологий. Вместо сумасшедших денег, отданных на весьма сомнительные нанотехнологии, которые по старой привычке проест А. Чубайс, лучше бы создали в Сибири на базе Новосибирского Академгородка всероссийский инновационный центр по разработке и внедрению объектов нетрадиционной энергетики с соответствующим льготным законодательством. Это ведь национальный позор, что в сфере использования энергии малых водных потоков, солнца, ветра, биогаза мы находимся едва ли не позади планеты всей. В том же Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, граничащем с Республикой Алтай, нетрадиционная энергетика — самая динамично развивающаяся инновационная отрасль, гордость всех китайских технопарков. Она, по свидетельствам самих китайцев, экономически рентабельна и предельно наукоемка, способствует самому эффективному сращиванию науки и образования с бизнесом, повышает общую культуру и экологическую ответственность бытовых и промышленных потребителей, исключает разворовывание государственных средств в ходе крупных земляных и прочих работ.

Словом, Саяно-Шушенская ГЭС — знак того, чего нельзя делать с природой и в каком направлении должна позитивно эволюционировать созданная нами техносфера. Она призвана служить гармоничному воспроизводству природных и социальных условий бытия, а также интересам всестороннего развития самого человека.

Знак 4. Землетрясение на Гаити

Масштабы катастрофы на Гаити, случившейся после землетрясения 2010 года, с трудом укладываются в голову: свыше 230 тысяч погибших и полностью разрушенная инфраструктура страны. Люди, и без того бедные, в одно мгновение лишились и того малого, что имели. При этом поразили три вещи:

— бессилие современной науки предсказывать подобные землетрясения с высокой степенью вероятности;

— неспособность развитых стран рационально организовать оказание гуманитарной помощи даже маленькой стране, подвергшейся тотальному разрушению;

— «дар» современного «информационного» общества забывать о страшных человеческих трагедиях уже через несколько недель. Так быстро забывает о боли собачка, захваченная новым внешним стимулом.

Но попробуем представить, что бы творилось в мире, если бы одновременно в разных концах Земли случились «три Гаити» или подобное землетрясение произошло бы в сытых Европе или США? Гаитяне — те хоть привыкли довольствоваться малым, но вот что будет с привычными к теплым туалетам и ежедневному душу жителями «цивилизованных государств»? В чем они обретут новый смысл своего существования? Насколько быстро хваленый цивилизованный и толерантный западный человек превращается в двуногого зверя — свидетельствуют события в Новом Орлеане, когда его затопило. Кстати, нормальная жизнь в этом злосчастном городе полностью не восстановлена до сих пор.

А ведь налицо общая дестабилизация земного климата и нарастающее от года к году число природных и техногенных катастроф во всех частях Земли. В этом плане Гаити — разве не предупреждающий знак того, что трагедия может воспроизвестись в гораздо больших масштабах, и разве не повод, чтобы вновь серьезно задуматься над старыми вопросами:

— ради чего живет человек на Земле: ради славы, власти, комфорта и удовольствий или ради совершенствования и творчества — в мире с другими людьми и с природными стихиями?

— не являются ли природные катастрофы таких масштабов вовсе не случайностью, а возмездием за наши дурные деяния, порочные помыслы и сугубо плотские жизненные устремления, и не служит ли созданная нами агрессивная и бездушная мировая информационная среда активным источником природных и техногенных катастроф?

— мы существуем на тонкой плотной оболочке толщиной в несколько десятков километров, а под ногами у нас кипит смертоносная магма и пульсирует ядро Земли, о законах деятельности которых ученые только догадываются, а обыватели даже не задумываются. Но не провоцируем ли мы сами ситуацию глобального природного апокалипсиса, когда катастрофы, подобные гаитянской, станут происходить повсюду и непрерывной чередой, ведь объективная статистика увеличения частоты и силы природных аномалий за последние полвека свидетельствует именно об этом?

Я не собираюсь давать здесь ответы на эти вопросы. Они сложны и заслуживают обстоятельного обсуждения и, самое главное, конкретных научных экспериментов. Другое дело, что непосредственное воздействие наших мыслей на окружающие природные формы (те же растения и воду) — это сегодня безусловный научный факт, имеющий многочисленные экспериментальные подтверждения. Главная задача теперь заключается в том, чтобы экспериментально обнаружить и теоретически осмыслить ту незримую реальность Космоса, которая переносит и аккумулирует эти психические воздействия. Не случайно, по-видимому, в наиболее глубоких научно-философских и религиозных концепциях XIX—XX веков высказывается гипотеза о существовании *психической энергии*, лежащей в фундаменте эволюции нашей Вселенной и неразрывно связанной с человеком. Научное признание, познание и практическое освоение этой энергии является, возможно, одной из насущнейших задач нынешнего исторического момента. Здесь же, не исключено, откроются и принципиально иные горизонты для эволюции нашей техносферы, призванной безусловно хранить потенциал нашей биосферы и, одновременно, существенно расширять наши творческие возможности. Но мы от понимания сущности этой энергии и ее практического использования пока, увы, весьма далеки. Здесь я перехожу еще к одному знаковому событию весны 2010 года.

Знак 5. Извержение вулкана в Исландии: атрофия предсказательных и эскалация магических черт современной науки

Малозначительное извержение вулкана в Исландии, которое первоначально никто всерьез и не воспринял, очень скоро превратилось в настоящую катастрофу для авиацион-

ных перевозок и для миллионов людей. За несколько апрельских дней 2010 года авиафирмы понесли убытки, каких еще не знали в своей истории. А в каких суммах измерить проблемы и переживания людей, запертых в аэропортах? Техника в очередной раз оказалась бессильной и уязвимой перед лицом природных стихий. И, что очень показательно, — никто из специалистов толком предсказать этого не смог. Правы В.И. Бояринцев, А.Н. Самарин и Л.К. Фионова, которые в своей статье «Кто в доме хозяин?» констатируют: «Самолеты, застывшие в аэропортах всего мира, — это не просто мировой транспортный коллапс. Это — знак природы, которая показывает человеку, кто на планете главный»

Можно задать в этой связи и более общий вопрос: не слишком ли много непредсказуемости в наших отношениях с природой и с творениями собственных рук, чтобы мы самоуверенно начинали рассуждать про всякие там «информационные» и «постиндустриальные» общества? **Надо честно признаться: от статуса господина природы человек сегодня даже дальше, чем сто лет назад.** Там хотя бы не было такой безумной и массовой потребительской ориентации жизни, и люди хоть перед чем-то еще благоговели. Не было там сомнительных техногенных и экономических экспериментов глобального характера. Предсказательные возможности нашей науки выросли за это время также минимально, несмотря на создание многочисленных и дорогих станций наблюдения, лабораторий, научно-аналитических и прогностических институтов.

Знаменательно: самые важные события последнего времени наука предсказать не сумела. Глобальный экономический кризис осени 2008 специалисты предсказать не смогли; землетрясение на Гаити и катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС — тоже. Последствий извержения вулкана в Исландии не просчитали, по поводу возможных последствий экспериментов на адронном коллайдере (БАКе) полемизируют сами физики. Совершенно неожиданными оказались для человечества факты нарастающей наркотической зависимости человека от электронных игр, от дисплея компьютера, от футбола, хоккея и прочих адреналиновых вливаний. Столь же непредсказуемыми эффектами чреваты наши биотехнологические игрища, о чем речь пойдет чуть ниже. Но зато **современная наука начинает парадоксальным образом все больше напоминать черную магию**, о чем, кстати, предупреждали наиболее дальновидные мыслители России и Европы еще в начале прошлого века: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский — у нас; Э. Кассирер и К.С. Льюис — на Западе.

Сущность магии, как известно, состоит в том, чтобы посредством конечной системы действий или словесных формул добиться чудесных практических результатов — контроля над людьми и природными стихиями, богатства, бессмертия, уничтожения врагов и т.д. Но разве не духом магии веет от изошренных словесных и визуальных манипуляций сознанием людей, с чем мы ежедневно сталкиваемся в средствах массовой информации; от попыток путем механических перетасовок генома добиться изменения свойств целостного организма в желаемом направлении, а посредством перекомбинаций атомов на микроуровне получать вещества с какими угодно заданными свойствами. Мир природы и человеческого сознания здесь уподобляется конструктору, где можно произвольно и безнаказанно менять и комбинировать детали; а, влияя на часть, магически изменять свойства целого. Само слово «технология» в последнее время приобрело особую магическую популярность и привлекательность для общественного сознания, причем именно в своем магическом — манипулятивном и ритуальном — смысле. А сорное словосочетание «как бы», которым буквально отравлено языковое сознание россиян (это отлично знакомо любому педагогу!), — разве оно бессознательно не свидетельствует об иррационально-магической аберрации зрения, когда утрачиваются грани между мнимым и реальным, дозволенным и недозволенным, истинным и ложным, созиданием и разрушением?

И ведь практически не обсуждаются важнейшие вопросы о том, какой хаос и информационно-структурную дезорганизацию могут порождать такие мертво-механические вторжения в целостные живые системы. А ведь факты вопиют: клонированная овечка Долли отличалась неестественной агрессивностью и быстро состарилась; генетически модифицированные продукты питания вызывают аллергические реакции у людей. Лабораторные опыты по систематическому кормлению крыс генетически модифицированной соей, проведенные доктором биологических наук И.В. Ермаковой, дали и вовсе настораживающие результаты: подопытные животные уменьшались в размерах и в конце концов теряли репродуктивные способности. Какой веер этических, социальных и экзистенциальных проблем породили операции по перемене пола и пересадке органов, искусственному омоложению и суррогатному материнству, — о том свидетельствует огромная современная литература по проблемам биоэтики.

Здесь глубоко иррациональна и магична сама безудержная готовность тысяч и тысяч ученых из-за денег, славы или

простого безответственного любопытства пускаться в **смертельно опасное экспериментирование над жизнью**. Иррациональный естествоиспытатель подчас похож на маленького мальчика, нашедшего боевую гранату и расковыривающего ее гвоздиком. «Современный человек плохо знает природу развиваемых им технических средств цивилизации, — справедливо писал еще Н.А. Бердяев. — Магическая природа этих технических сил остается закрытой для современного человека. Создается магическая среда, заколдовывающая душу человека... В колоссальной технической цивилизации точно выпущены на свободу злые демоны, мстящие падшему человеку за его царственное притязание».

В подтверждение этих слов мы сталкиваемся сегодня с примерами уже не просто научно-магического отношения к миру, а с фактами **откровенной черной магии и некрофилии**. Таково замораживание мозга богатых клиентов в американских клиниках (а сегодня уже и у нас!) с целью их воскрешения в будущем; таковы настоячивые попытки механическим путем, обманывая природу, продлить человеческую жизнь до нескольких сотен лет, нейтрализовав «ген старения» или, наоборот, выведя из рецессивного состояния «ген бессмертия». При этом элементарное логическое промышление подобных «научных» экспериментов быстро обнаруживает их иррациональный и античеловеческий характер. На миг представьте себе человека нашего времени, воскресшего лет через 60—70 среди своих внуков и правнуков в совершенно новом технологическом и социокультурном контексте. Что кроме насмешек и недоумения его ожидает? Чему сможет научить он своих потомков кроме ненасытной любви к собственному телу? Или вообразите, что человек сможет жить до 200—500 лет. Спрашивается: куда ему торопиться, что может стимулировать его творческие способности, что способно придать остроту и интенсивность его личному бытию, коль скоро смерть — эта величайшая из жизненных погонщиц — отодвинута почти что в вечность? И что делать детям и внукам, если все рабочие места давно заняты бабушками и прабабушками? И зачем вообще нужны дети — обуза и вызов обществу этих наслаждающихся жизнью нетленных мертвецов? Можно слышать аргумент, что, живя так долго, человек сумеет сполна реализовать свои творческие планы. Но сполна реализуют творческие замыслы на Земле те, «кто жить торопится и чувствовать спешит». А здесь-то человеку куда и зачем торопиться?

На мой взгляд, действенным противоядием эскалации научного иррационализма (или антинауки) могут стать, во-пер-

вых, трезвое, без ложной научно-атеистической гордыни, обращение к религиозному опыту понимания мира и человека, где магические соблазны и бесовские прелести были давно и системно осмыслены; во-вторых, широкое обсуждение и принятие **этических критериев рациональной научной деятельности**, выступающих органическим дополнением логико-методологических критериев рациональности научного знания. Специально хочу подчеркнуть, что эти этические критерии рациональности должны прилагаться и к фундаментальным, и к прикладным исследованиям. Ведь сама предметность современного фундаментального знания часто не является этически нейтральной (человеческий геном, здоровье, сознание), а антинаучно могут вести себя и маститые академики, создавая разного рода инквизиционные общества по борьбе с лженаукой, но, в конечном счете, защищающие свои собственные научные и мировоззренческие предрассудки. К таким этическим критериям научно-рациональной деятельности в самом первом приближении и, не претендуя на их исчерпывающий характер, я бы отнес недопустимость:

— априорных запретов на существование каких-либо процессов и явлений в мире, типа той же психической энергии, жизни после смерти, инфернальных бесовских сущностей или феномена одержания. Дело науки искать рациональные объяснения загадочным явлениям бытия, сколь бы необычными они нам ни казались. Явления и идеи, которые кажутся сегодня совершенно иррациональными и невозможными, завтра часто становятся тривиальными. Так, для любого ученого XVII—XIX веков абсурдной выглядела даже сама идея делимости атома, а Лобачевского чуть ли не в лицо называли сумасшедшим за идею неевклидовых геометрий;

— ценностных квалифицирующих суждений (типа «лженаука», «шарлатан», «псевдонаука») относительно конкретных ученых, существующих научных теорий или школ. Если взгляды научных оппонентов сомнительны или ложны — приведите соответствующие экспериментальные факты и теоретические аргументы, но воздержитесь от наклеивания ярлыков;

— сознательного сокрытия от научной общественности возможных опасных и разрушительных последствий проводимых научных исследований и экспериментов;

— утаивания истинных и выдачу за действительные желаемых научных результатов, особенно если это связано с проблемами здоровья и продлением жизни человека.

И, наконец, надо честно признаться: современные ученые, а не только безответственные власти и бизнес, несут прямую

этическую ответственность за нынешнее нарастание стихийных возмущений в биосфере. Воистину, самое разрушительное, что только может быть на Земле, — это циничный и бездушный интеллектual без святынь, без чести и без совести. Он не столь уж и далек от религиозного фанатика-смертника, разве что разрушительные последствия его опытов проявляются опосредствованно и не всегда сразу.

Однако угроза внешнего апокалиптического сценария — еще цветочки по сравнению с возможностью апокалипсиса внутри нас, к чему наука тоже приложила руку.

Знак 6. Индонезийский рыбак с корнями вместо конечностей

Информационные агентства всего мира распространили фото- и видеоматериалы об индонезийском рыбаке Деде, у которого после раны на колене руки и ноги стали постепенно превращаться в древовидные образования. Выяснилось, что поранился он на поле с генетически модифицированными объектами, и у него была нарушена антивирусная защита организма. В результате хорошо известный вирус папиломы стал бесконтрольно развиваться в его организме и принял столь пугающую форму. Есть и другие факты, аналогичные приведенному, когда трансгенные объекты, созданные человеком, ведут себя агрессивно: проникают в другие организмы и начинают активно использовать их биологические ресурсы ради собственного выживания. Показательным случаем стало регулярное вызревание в руке женщины иголки от кактуса. Будучи удаленной хирургическим путем, иголка через некоторое время появляется снова. Оказывается, эта женщина однажды укололась генетически модифицированным кактусом.

Подобные знаки, быть может, самые зловещие из всех. Они требуют тщательного и гласного научного исследования и обсуждения. Слишком уж опасным выглядят забвение тех фундаментальных функций, которые призван выполнять человек — хранитель и пастырь земного бытия — относительно низших форм жизни в биосфере. Как иерархически высшее начало на Земле, он обязан разумно и ответственно управлять низшими созданиями природы: сохранять существующее биологическое разнообразие и естественные биогеоценозы, проявлять силой своего разума скрытый эволюционный потенциал ландшафтов и существующих биологических форм. Он этим с большим или меньшим успехом занимался в течение тысячелетий, выводя естественным путем новые породы домашних растений и животных, засевая поля и выступая мощным фактором эволюции биосферы.

Он — худо-бедно — всегда являлся и пока еще является разумным управляющим началом относительно жизни собственного тела, где есть и минеральные, и растительные, и животные формы — те же вирусы и бактерии. Известно, что здоровье и творческое долголетие зависят не только от наследственности, состояния окружающей среды, правильных физических действий и питания, но в очень значительной степени от нашего состояния духа — бодрости, оптимизма, постоянных интеллектуальных усилий и нравственности помыслов. Колоссальный эмпирический материал о жизни святых всех мировых религий, который был собран нашим великим социологом П.А. Сорокиным, неопровержимо свидетельствует: физическое здоровье тела, продолжительность и качество жизни человека напрямую зависят от состояния его духа. Так, святые, многие из которых подвергались гонениям и пыткам, пребывали в тяжелых бытовых условиях и практиковали аскезу, тем не менее, жили даже дольше, чем современные американцы. Известно также, что раны у бойцов победившей армии заживают быстрее, чем у побежденных, а количество заболеваний в материально благополучной, но психологически дестабилизированной стране возрастает многократно. Известно, что наши солдаты на фронтах Великой отечественной войны мало болели обычными болезнями, а вот в условиях нашей злосчастной перестройки, наоборот, заболеваемость возросла многократно.

Все это заставляет признать, что современные люди попросту забыли о своих обязанностях относительно всего живого на Земле. И это забвение смертельно опасно в первую очередь для них самих — их психического и физического здоровья. Так, биотехнологическая погоня за «нужными для человека» свойствами биологических объектов приводит к утрате веками шлифованнейшей целостности их бытия, к внутренней энергетической и информационной разбалансировке, а также к выключению их из органической связи с внешними природными объектами и системами. Таким образом, высшие управляющие системы в лице человека не просто отказываются от выполнения своих разумных созидательных и контролирующих функций, но начинают самовольно творить в природе насилие и произвол.

Что происходит в обществе, когда «верхи» издеваются над собственным народом и существуют только ради самих себя? Правильно: они рано или поздно провоцируют народный бунт, отнюдь не бессмысленный. По-видимому, в природе дело обстоит точно так же, и «низшее» в лице вирусов, бактерий, животных и растительных клеток нашего организма, а

также генетически модифицированных объектов (этаких биологических уродцев-компрачикосов) устраивает бессознательный бунт против «высшего», т.е. против человека, переставшего быть ответственным хозяином. При этом низшее, бунтуя, начинает жить по собственным законам, обеспечивая свою выживаемость и воспроизводство за счет жизненных сил высших организмов. Об этом говорит агрессивность, с которой ведут себя в природе и в нашем теле многие искусственно и безответственно созданные нами трансгенные биологические структуры. Об этом же говорит бесконтрольное деление раковых клеток и возможность пробуждения доселе спящей наследственной памяти у низших клеток нашего организма. Если учесть, что онтогенез человеческого организма повторяет филогенез, то совсем не фантастикой выглядит предположение, что в скором времени в результате искусственного нарушения эволюционно сложившихся корреляционных связей в геноме у людей начнут расти не только корни вместо рук, но и клешни рака, и членики насекомых.

А ведь еще ведутся эксперименты по вживлению в организм человека электронных чипов; по изготовлению генномодифицированных медицинских препаратов из клеточных структур свиньи, весьма близких по структуре к клетке человека; по использованию в медицинских целях тканей человеческих зародышей, изъятых в результате абортот и т.д. Во всех этих «научных» экспериментах присутствует какая-то потрясающая духовная ограниченность и безответственность — действительно типичная черная магия, расплачиваться за которую придется всем. Фанатизм ученых здесь, действительно, оказывается сильно похожим на фанатизм религиозных фанатиков-террористов. Просто там — прямо насилуют людей; здесь — природе, но косвенно — и самого человека.

Правда, можно со стопроцентной уверенностью предположить, что если эти жуткие сценарии — не дай Бог — и впрямь начнут массово сбываться, то практически подтвердится древняя и вечная истина, на которой настаивали все по-настоящему глубокие религиозно-философские учения Востока и Запада: **внутренним иммунитетом против генноспровоцированных антропологических кошмаров и внешних природных катастроф будут обладать именно духовные люди, отличающиеся нравственным образом мыслей и действий, способные к жертве ради других и органически неспособные сделать подлость ближнему.** Именно они-то и воплощают подлинно разумное отношение не только к себе подобным, но эталонное отношение высшего по отношению к низшему,

когда ясные и светоносные информационные импульсы, идущие от человеческого сознания способны гармонизировать внутренние и внешние природные процессы и стихии. Тогда-то и станет очевидным, говоря языком В.С. Соловьева, безусловное преимущество невидимой силы мирового добра над видимым господством мирового зла. Кстати, история мировых религий безусловно подтверждает благотворное воздействие тех же святых на окружающие природные формы. Лучшие розы в России, между прочим, росли в Оптиной пустыни, а урожайность монашеских огородов и парников на тех же Соловках была исключительной.

Но, конечно, очень хочется, чтобы люди вовремя опомнились и, избежав роковых сценариев, начали вновь и сознательно выполнять в биосфере свои созидательные пасторские функции — на благо и себе, и всем остальным живым существам планеты. А начинать всем действовать можно уже сейчас, начиная совсем с малого — хотя бы лично не сквернословить и не мусорить вокруг себя; а соборно — не давать нуворишам и технократам осквернять наши национальные святыни и обезумевшей власти — разваливать науку, культуру и образование. Атрибут духовного человека — это еще и активное противостояние злу. Без «противления злу силою» — силою не оружия и хулы, а коллективного протеста и гражданского неповиновения — знаки последних времен грозят превратиться в зримую инфернальную реальность.

Знак 7. Московский Сити

Я имею в виду огромный черно-серый Сити, вздыбившийся над Москвой почти в самом ее центре. Он — типичное инородное тело, механически имплантированное в столицу. Этаким кусочек одного культурного генома, встроенный в совсем другой культурный геном. Геометрически правильные формы зданий Сити образуют вопиющий контраст с ажурными слоями и шпилями тех же сталинских высотных домов, некогда безусловно украсивших столицу. Для меня, вся молодость которого прошла в стенах Московского университета и для которого панорама Москвы с Ленинских гор — одно из самых дорогих воспоминаний, лужковский Сити наглядно воплощает то, что сделали с моей страной за последние двадцать лет.

Тьма невежества и корысти вытеснила свет истины и ценность бескорыстия. Произвол бесконтрольных властей и нуворишей породил массу безобразных вещей и явлений, типа безработицы, биржевых и банковских спекуляций, бомжева-

ния, коррупции, публичного унижения культуры, науки, образования. Нудная болтовня о демократии прикрывает абсолютное нежелание власти прислушиваться к критике и учитывать мнение собственного народа. Купеческий пьяный размах нашего бизнеса и примкнувшей к нему богемы плодит чудовищную художественную безвкусицу и инфернальщину. Одни телесериалы чего стоят. А есть еще обильно подкармливаемая научная магия и информационная бесовщина с экстрасенсами и ведьмами в третьем поколении. Есть полное забвение русской провинции и всей России азиатской. Есть, наконец, каждодневное властное вранье с экранов телевизоров. В этом ряду — лживое заявление одного из лидеров страны, что население Сибири-де растет, хотя тот же Алтайский край ежегодно теряет несколько тысяч рабочих рук.

Московский Сити и есть наглядная демонстрация художественной безвкусицы, презрения к культурным традициям страны, морального произвола, буржуйского куража и общей предельной бездарности правящего режима.

Московский Сити — тоже зримая реальность наступления последних времен. Слава Богу, что парит над столицей белое здание Московского университета — живого символа научных и образовательных достижений нашей страны. А еще стоит, как незыблемая твердыня нашей духовности, Троице-Сергиева Лавра. И живы пока еще Русский север с Ладогой и Печорой, Валдай с истоками Волги, Байкал, Алтай и многие другие наши культурные и природные святыни. Но, значит, у нас есть еще достаточно духовных и природных сил, чтобы не кануть в последние времена, а выйти из них к новым историческим высотам.

ДО ВЫСТРЕЛА

Если живописно, портретно, как это могут художники, изобразить нашу Культуру, то, вероятно, возникнет не лишняя привлекательности, но худенькая, бедно одетая женщина, которую окружают полуголодные дети. На выношенных, в заплатках, рубашках детей написаны их имена: Библиотека, Музей, Школа, Наука, Искусство. Женщина и дети стоят с протянутой рукой — просят милостыню.

Разглядывая некогда роскошное, а ныне заштопанное платье женщины, мы подумаем, что художнику удалось точно изобразить нынешнее состояние российской культуры. И тут мы обратим внимание на то, что женщиной с детьми картина не ограничивается, что за ними, чуть в отдалении, на фоне роскошного автомобиля стоят двое хорошо знакомых нам господ и ведут разговор:

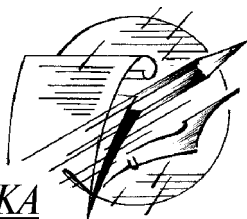
— Разве столь почтенную даму еще не приватизировали?

— Да кому нужна эта нищенка?!

Однако и вторым планом рисунок не ограничивается, есть третий, наиболее впечатляющий, и мы к нему еще вернемся...

«Утопия» — с греческого — остров, которого не существует в природе, а по другой версии — «благословенное место».

Впервые человечество познакомилось с таким «благословенным местом», про-



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

читав книгу великого и столь же трагичного англичанина Томаса Мора, которую он так и назвал «Утопия». После его книги мир стал называть утопией все, чего не может быть на самом деле, что изначально является собой несуществующее, несбыточное. Тем более, не может быть таких стран и городов, которые описали в своих книгах Т. Мор, Т. Кампанелла и другие великие мечтатели-утописты. Придуманые ими страны и города являют собой не что иное, как идеал общественного строя или государства, живущего по нереальным законам, планирующего нереальные преобразования на пользу всего общества и каждого его члена в отдельности. И преобразования эти никогда и никем не будут осуществлены ввиду их абсолютной невозможности.

Помните, как вначале так называемой перестройки завзятые критики социализма, словно жупелом, размахивали словом и понятием «утопия»? Они крушили налево и направо всех, кому была дорога социалистическая Родина и жизнь при социализме. Они устно и печатно зубоскалили, высмеивали, предавали остракизму наш «утопический социализм», наши свершения и планы, не уставая доказывать, что самые большие ценности — это западная цивилизация, западная культура. Они запаматовали, а возможно отбросили тот факт, что именно Запад породил и выпестовал утопическую мысль, что именно западные мыслители Мор, Кампанелла, Маркс, Шарден, Толкиен, а еще ранее Платон и многие другие призвали человечество строить государства по разуму и совести.

Но вот минули два десятилетия, отделившие нас от социалистического общества. И многие из реальностей нашей прошлой жизни сегодня нам вполне могут показаться не чем иным, как утопией. Или тем, во что трудно поверить, глядя из нашего сегодня, в которое большинство из нас попало против своей воли.

Для примера возьму самое дорогое, что есть у каждого из нас, — детей. Помните, что сказал о детях советский педагог и писатель А.С. Макаренко: «Дети — это граждане!» Как к гражданам к ним и относились в нашей стране. Дети у нас действительно были привилегированным классом.

Еще когда ребенок только собирался родиться, еще в утробе матери к нему подходили с полной ответственностью и уважением. Он был окружен заботой и необходимым медицинским обеспечением. Будущая мама состояла на учете в женской консультации, ее плод развивался и рос под наблюдением врачей. При необходимости ее отправляли на отдых, на лечение, на сохранение плода. И все это не только бесplatно, но и с любовью и радостью.

И человек родился!

Заботы общества не снижались. За новорожденным и его мамой велось постоянное наблюдение, оказывалась не только медицинская, но и материальная помощь. А в случае необходимости государство брало ребенка на полное свое содержание. Потом ясли, детский сад, школа, институт — и все это бесплатно. К тому же в институте или техникуме молодые люди получали стипендию, в профессионально-технических учебных заведениях обеспечивались одеждой и питанием, а во время производственной практики им выплачивалось 33% заработной платы. Все это снимало значительную часть материальных затрат с их родителей.

Да и при поступлении в институт твой прием, как правило, определялся только твоими знаниями: знаешь — сдавай экзамены и будешь принят.

Но не только содержанием и образованием исчерпывалась забота государства о своих гражданах. Еще был огромный, сложный мир просвещения и воспитания: спортивные секции — становись ловким, сильным, здоровым; технические станции — осваивай приборы и машины; художественные студии; литературно-творческие объединения для начинающих поэтов и прозаиков. И, пожалуй, самая богатая, самая величественная сфера коллективного творчества — Народный театр.

Часто какое-нибудь увлечение молодых перерастало в целенаправленный, творческий труд и становилось любимой профессией на всю жизнь. Это и была свобода или одна из граней свободы человека — возможность выбора, возможность не столько «иметь», сколько «быть». И для подавляющего большинства советских людей понятие «быть» преобладало над понятием «иметь». Я знаю несколько случаев, когда семья, ожидавшая в течение многих лет очереди на квартиру, отказывалась ее получить только потому, что другая семья находилась в более стесненных условиях, и уступала свою очередь ей. «Дайте сначала им, а мы еще подождем». Для них быть людьми, быть возвышенными и благородными было важнее, чем иметь. Даже квартиру.

Позволю себе привести второй пример социалистической «утопии». Только что закончилась война, страна в руинах и братских могилах. Нужно восстанавливать разрушенные города, народное хозяйство, промышленность, экономику. Нужно срочно крепить оборону. Но вряд ли это в полной мере возможно без сохранения и развития культуры. И Совет Министров СССР принимает безотлагательные меры по ее поддержке. На своем заседании от 15 июля 1947 года он утверждает Постановление № 2542 «Об улучшении жилищных условий писателей». В нем говорится:

«В целях улучшения жилищных условий писателей и создания благоприятных условий для их творческой работы Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Установить, что, занимаемая писателями жилая площадь, в случае ее освобождения, передается в распоряжение Правления Союза советских писателей СССР — в Москве, Правлений республиканских Союзов советских писателей — в республиках и местных отделений Союза — в краях и областях.

2. Обязать Министерство государственной безопасности СССР (т. Абакумова), Министерство внутренних дел СССР (т. Круглова), Министерство иностранных дел СССР (т. Малик) и все организации, занимающие жилую площадь в домах Союза советских писателей СССР для своих учреждений или для своих сотрудников, к 1 мая 1948 года освободить эту площадь и передать ее Правлению Союза советских писателей СССР.

3. Обязать Мосгорисполком (т. Селиванова) в 1947 и 1948 гг. предоставить жилую площадь для переселения проживающих в домах Союза советских писателей СССР лиц, не имеющих связи с Союзом советских писателей, за исключением инвалидов и их семей и семей погибших воинов.

4. Обязать Мосгорисполком (т. Селиванова) выделить Союзу советских писателей СССР в 1947—1948 гг. 25 квартир и ежегодно, начиная с 1949 г. выделять по 10 квартир для писателей. Обязать Ленинградский горисполком (т. Лазутина) выделить Союзу советских писателей в 1947 году из вводимой в эксплуатацию жилой площади 10 квартир.

5. Обязать Советы Министров союзных и автономных республик, а также краевые, областные и городские исполкомы предоставлять писателям жилую площадь наравне с учеными в первую очередь.

6. Осуществить в 1948 году в Москве строительство 2-х секций дома № 17-19 по Лаврушенскому переулку. Строительство секций дома возложить на Мосгорисполком. Предложить Госплану СССР (т. Ковалеву) и Министерству финансов СССР (т. Звереву) учесть в плане на 1948 год финансовое обеспечение строительства. Предложить Ленинградскому, Киевскому и Минскому горисполкомам провести аналогичные мероприятия для писателей.

7. Построить для писателей 100 дач. Строительство возложить на Министерство строительства военно-морских предприятий (т. Дыгай). Госплану СССР (т. Ковалеву) и Министерству строительства военных и военно-морских предприятий (т. Дыгай) представить к 1 августа 1947 года в Совет Министров СССР предложения о мероприятиях по обеспечению строительства дач писателям.

8. Обязать Мособлисполком (т. Бурьличева) отвести Союзу советских писателей СССР земельные участки для 100 дач размером до 0,5 гектара на одну дачу.

*Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин
Управляющий Делами Совета Министров СССР Я. Чадаев».*

Впечатляющий документ, не правда ли? И так не только с писателями, но и с другими деятелями культуры и науки. Разве теперь такое возможно?

Зато возможно другое. За два унижительных для страны десятилетия, при попустительстве властей предрержащих, у писателей, и не только у них, отнято почти все, что было возведено, построено, создано на часть их зарплаты (гонораров). Захвачены здания издательств, писательские поликлиники, Дома творчества, помещения редакций и даже Дома, где они строили свою творческую и организационную работу. Один из них — ЦДЛ. Грабеж продолжается. И если в ближайшее время государство не примет Закона о творческих Союзах и творческих работников, писатели, художники, композиторы лишатся последнего. А то, что еще остается будто бы писательским, к примеру, здание Международного сообщества писательских союзов, или так называемый «Дом Ростовых», фактически тоже не принадлежит писателям.

Выдающийся российский поэт Расул Гамзатов с горечью говорил, что ныне писатели, творческая интеллигенция отделены от государства. Как церковь. Но мы видим и с большим удовлетворением относимся к тому, что ныне церкви возвращается все то, что было у нее отнято в прошлые годы. Не пора ли и с творческими союзами поступить так же?

Еще о том, что ныне возможно, причем, говорю это с глубоким прискорбием. В конце 90-х дочь моих друзей поступала в Санкт-Петербургский государственный университет (ЛГУ). Прекрасно сдала два экзамена — сочинение и французский. А на последнем, на истории, ей просто не дали ответить. Только стала отвечать, как ее перебили: «А почему вы с этого начали? Достаточно, с вами все ясно». И, вписав в экзаменационный лист тройку, показали на дверь. — «Но ведь и на тройку я наговорить не успела», — сказала девочка. — «Ах, вы нам дерзите? Прощайте!»

Это лишь один штрих крепнущего бескультурья, которое граничит уже с преступлением. Педагог-преступник — явление обычное в нашем рыночном обществе. Предпочтение отдается корыстному «иметь», а не возвышенному «быть». Точнее, «быть» негодяем, стать негодяем, но «иметь» деньги. И это в стране, где учительство веками оставалось благороднейшей из профессий. А русские учителя отличались осо-

бым, подвижническим трудом, их авторитет был столь же высок и непререкаем, как авторитет священника.

Дочь моих друзей, рассказывая о своем последнем экзамене, вдруг подчеркнула, сколь внешне непривлекательна была женщина-экзаменатор.

Еще совсем недавно, каких-то два десятка лет назад Советский Союз среди прочих высоких значений имел и самобытное культурное значение. Мы занимали ведущее положение в мире в различных отраслях: в образовании и просвещении, в освоении космоса, в создании военной техники, в спорте, искусстве. Три самых выдающихся композитора XX века — Прокофьев, Шостакович, Свиридов — представители нашей страны, нашей культуры. И четвертый — Стравинский — тоже наш, хотя и жил на Западе. К ним специалисты причисляют еще венгра Бела Бартока. В той же Америке нет ни одного, кого следовало бы поставить рядом с ними. Подобное можно сказать о живописцах, о нашем хореографическом искусстве. На Западе преобладает масс-культура, которая нынче хлынула к нам. И, к сожалению, отыскала у нас немало эпигонов и подражателей. Происходит подмена настоящего искусства, настоящей культуры ее суррогатом. Мы видим, как целенаправленно подменяется большее значение меньшим. В театре на первый план поставлен не драматург, а режиссер (чего стоит лишь переименование БДТ им. Горького в Товстоногова!). На телевидении — не врач и учитель, не художник и композитор, а политолог и шоумен. В литературе — не прозаик и поэт, а делатель триллера и хохмач. Классику вытесняют детективы, на первый план выходит витражный дамский роман.

Подмена истинных ценностей мнимыми, имитация труда, а не сам труд, приводят к резкому падению нравственности в обществе. Прежние ценностные величины: быть умным, быть благородным, быть просвещенным целенаправленно заменяются на: быть сексуальным, быть властным, быть богатым.

Главную подпитку всех этих так называемых преобразований, а на самом деле растления нации, осуществляют не какие-нибудь случайно попавшие в руководство страны Горбачевы и Ельцины, а люди столь же неумные, зато еще более бессовестные, знающие, как с нами поступать. Они изначально определили для нас минимум того, что позволяет нам «выживать». И помогают им силы опытные, прежде всего американские. Хотя ныне США — самая мещанская страна, главные черты характера которой — вульгарное стяжательство и алчность. Цунами «Катрина» показал, чего стоит

так называемое американское благополучие. На примере Америки хорошо видно, что высокая материальная и техническая обеспеченность еще не является гарантией роста культуры. Это особенно заметно по уровню литературных произведений: за 20 — 25 последних лет в американской литературе не возникло ни одного хоть сколько-нибудь интересного писательского имени.

И не случайно, что после распада Советского Союза нашу страну наводнило огромное количество пособий, где нас учат, как обойти, опередить других. Как добиться успеха и сделать карьеру. Как выработать в себе черты характера, которые помогут расправиться с конкурентами в борьбе за власть и за деньги. Возьмите хотя бы популярные издания Д. Карнеги: «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей», «Как выработать уверенность в себе и влиять на людей», «Как перестать беспокоиться и начать жить».

Воспитание по Карнеги — типичная буржуазная школа, в которой учат и воспитывают отдельное лицо, дают рецепты, как приспособиться не к жизни среди равных и уважаемых тобой людей, а к борьбе с ними за свое собственное благополучие. И странно ли, что такому лицу или субъекту прививаются навыки и качества хитроумного хищника, расчетливого проныры, всегда готового идти по головам.

При этом внушается мысль, что богатые, состоятельные люди должны помогать бедным. Уже здесь заложена основа, воспитывающая зависимость одного человека от другого.

Обратимся к А.С. Макаренко, вот как он описывал свое дореволюционное воспитание: «Нам на каждом шагу не говорили, что ты будешь зависеть от богатого класса, от царского чиновничества, но это пропитывало всю суть нашего воспитания. И даже когда говорили, что богатый должен помогать бедным, то в этом, казалось бы, таком прекрасном требовании, в сущности, заключалось определенное указание на ту зависимость, которая существует в жизни между богатым и бедным. То, что богатый будет мне, бедному, помогать, означало, что богатый имеет богатство, что он в силе мне помочь, а я могу только рассчитывать на его подачки... В этом и заключалось глубокое внушение той системы зависимостей, которая должна была меня встретить в жизни. Зависимость от состояния, от доброй воли, от богатства, от милостыни и жестокости — вот цепь зависимостей, к которой готовился человек».

Добавим от себя: но богатый может дать или не дать. Или сегодня дать, а завтра нет. Вот богатые господя нашего времени: на «заработанные» ими миллиарды могли бы не один

год существовать хоть детский дом, хоть дом престарелых. И что? Кажется, мы не слышали, чтобы они расщедрились на помощь детям и старикам. Как правило, приобретают яхты, футбольные команды, заморскую недвижимость... Вот уж воистину: «Где кончается бедность, там начинается жадность». Мы видим, что нам сегодня, как никогда ранее, требуется национальная идея изживания мешанской убежденности, что можно жить без культуры, но с деньгами.

Особой нашей заботой должно стать сбережение главного исторического наследия и культурного достояния страны — русского языка. В нынешний, далеко не совершенный Закон о государственном языке необходимо внести поправку, согласно которой правительство России будет ежегодно отчитываться за соблюдение норм и правил русского языка. А в Государственной думе на самом видном месте должны быть слова: «Сберечь язык — сберечь народ!» А то проявляем острую заботу, когда речь заходит об отношении к русскому языку на Украине и в других прекрасозвучных местах, и почти ничего не делаем для того, чтобы сохранить его живым у себя, в России. Подчеркну: не «правильным», как того добиваются некоторые радетели, а живым. «Правильный» язык — это мертвый язык, эсперанто.

Огромных успехов добилась социалистическая культура всего лишь за семь десятилетий. Здесь нет никакого чуда: страна более половины этого срока находилась на революционном подъеме, который продолжался до прихода Н.Хрущева. Затем явилось то, что стало провозвестницей перестройки и что с легкого пера И.Эренбурга назвали «оттепелью». И положило начало распаду — как партийной верхушки, так и всего общества.

После победы в Великой Отечественной войне, после 27 миллионов жертв, к которым она привела, необходимо было терпеливой, долговременной работой и спокойной жизнью постараться заживить кровоточащие раны и души наших соотечественников. Необходимо было тонко разобраться с личностью вдохновителя и символа нашей победы И.Сталина. И тем самым пощадить чувства миллионов сограждан, которые с именем Сталина прошли войну и победили. А после войны в считанные годы восстановили страну и превзошли уровень довоенной экономики.

Вместо этого Н.Хрущев с товарищами обрушили на советский народ всю «правду» о недавнем руководителе государства — своем непосредственном начальнике. И занялись трупоедством. Я, 16-летний юнец, помню, в какой растерянности, обиде, недоумении пребывали мои родители, родствен-

ники и соседи по дому, в котором я жил. Одни сразу поверили в «культ» Сталина, другие сомневались, третьи с гневом отвергали то, что им открыли новые ниспровергатели. Нашлись и те, кто сразу бросились обслуживать Хрущева и его единомышленников. Потом они себя назовут шестидесятниками, хотя на самом деле никакие они не шестидесятники, а самозванцы. Шестидесятники — Королев и Сухой, Гагарин и Терешкова, Ландау и Гинзбург, Власов и Брумель, Василь Быков и Федор Абрамов, Юрий Бондарев и Василий Шукшин. То есть те, кто крепил становую ось державы, берег ее могущество и объединяющее наши народы русское слово.

Это был первый в советской истории массовый раскол, который затронул все сферы жизни, и, прежде всего, культуру. Второй же, и более драматичный, явится с началом перестройки. Но литература, театр, кино предприняли многочисленные попытки художественно осмыслить вдруг открывшуюся правду, воплотить ее в образы и характеры новой действительности. К слову сказать, и здесь наши художники оказались на высоте, явив миру немало выдающихся произведений.

Подняли «железный занавес». Наше искусство постепенно стало проникать на Запад. К нам пошли книги и фильмы западных писателей, кинематографистов. Нужно отдать должное людям, которые тщательно отбирали лучшее — то, что потом издавалось и показывалось у нас. Перевели западных классиков: Хемингуэя, Фолкнера, Фицджеральда, Ремарка, Белля, Камю, Сартра... Показали французское, итальянское, английское кино. И многое другое, что позволило нам создать представление об уровне искусства и литературы на Западе, а в чем-то обогатило и наше искусство. Мы поняли, что с настоящими художниками Запада можно иметь дело. Мы тогда еще не догадывались, что наряду с выдающимися деятелями западной культуры там существует, поощряется и пропагандируется полная безвкусица и пошлость. А в перестроечные годы вся эта жуть с кольцом и голыми ляжками гигантским грязевым потоком хлынет к нам. И для многих наших сограждан — прежде всего молодых — утопит в себе то, чем могла и должна была гордиться Америка.

И те, кто утверждает, что мы задышали воздухом истинной свободы, услышав Элвиса Пресли и «Биттлз», не понимают, что тем самым выказывают собственный уровень восприятия «истинных ценностей» западного мира. Ведь черепашка, в силу своих возможностей, может оценить лишь скорость другой ползущей черепашки, но никак не бегущего

оленя. И попсовые кумиры так же далеки от истинного искусства, как шоу «Ледниковый период» от настоящего фигурного катания на коньках.

Так что определенная польза от «железного занавеса» была. И от нашего «деревянного» рубля тоже. Хотя бы потому, что он не позволял ввозить и распространять у нас наркотики.

Сегодня, когда мы, наконец, ясно ощутили, чего мы лишились, не сумев сберечь социализм, первостепенная творческая задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы с наибольшей полнотой воплотить в нашем молодом современнике черты думающего, совестливого человека. Человека, свободного от меркантильных интересов и глубоко понимающего, что его собственная жизнь, его судьба неотделимы от жизни и судьбы Родины. Но Родина ныне тяжело больна. Время покажет, как будет развиваться ее недуг. Однако никому из нас не придет в голову заявить, что мы сдались, что наши ученые, писатели, художники, деятели кино и театра, и в целом наша культура опустили руки. Да, нам сейчас намного труднее. Мы поставлены в ужасающую экономическую зависимость. И нам придется разобраться в собственной боли и в болезни нашего общества. И начать лечить.

Именно сейчас, в морально несостоятельную эпоху рыночных отношений, когда мы разобрались, что при социализме было хорошо, а что плохо, должен быть соблюден принцип: «Не клеветать на прошлое великой страны!» Этого принципа должны придерживаться и руководители государства. На попрании нашей истории, на унижении нашей культуры невозможно построить Великую Россию. Тем более что сами они родом из Советского Союза, где получили образование и воспитание, позволившие им стать теми, кем они стали. Судьба предоставила им уникальную, но краткосрочную возможность послужить российским народам и тем самым остаться в истории Отечества. Торопитесь, господа. Начните с культуры. России необходим Закон, осуждающий клеветнические выпады против героического, созидательного прошлого народов Советского Союза. Равно как нужна политика утверждения приоритета нравственных принципов над рыночными. Чего можно ждать от страны, в которой все ветви законной власти встали на колени перед властью денег? А коррупция, как ржа, разъедает и без того хилое тело государства.

Чего можно ждать от кинематографа, если на экраны выходят ублюдочные «Школы», созданные недорослями и для недорослей — как учителей, так и учеников? В них экранный негодяй кричит девочке: «Телка, я хочу с тобой переспать!» И

ему это сходит с рук. А я знаю случай из незакавыченной, а настоящей школы, когда десятиклассник-пошляк за это был многократно бит одноклассниками, так что пришлось ему переместиться в другой учебный коллектив. Почему же этого не показывают? Да потому, что не может черепаха показать полет птицы!..

Наверное, шадят себя главные власти страны — не смотрят телевизор. А посмотрели бы — и ужаснулись, увидев, какие недоноски заполняют экран, если нет литературной основы.

Сегодня главная обязанность общества — сделать все необходимое, чтобы в нем появился не приспособленец, не вульгарный рыночник, не бездумный потребитель телесивухи, а творец. А это семья, школа, воспитание, просвещение. Это пристальное внимание к способностям и даже просто к наклонностям юных граждан страны, их максимальная поддержка. Хорошо известно: великую мысль рождает великое чувство. Безнравственным, если не коррупционным, следует назвать нынешнее положение, при котором премиями награждаются заведомо слабые, но удивительно точно нацеленные против русской культуры произведения.

Ныне, когда крайне ужесточились условия жизни честных, духовно богатых граждан (а известно, что все выдающиеся открытия в науке, все гениальные произведения литературы, искусства и архитектуры создавались людьми трудолюбивыми, высоконравственными), почти невозможно себе представить, чтобы вдруг возникший класс так называемых «новых русских» мог воспитать в своей среде талантливого творца. Не получится. Не та мораль! Да и не выживут они при том уровне культуры, который мы с их помощью имеем сейчас в стране.

Однако вернусь к рисунку, с которого я начал свои заметки. Точнее, к его третьему, наиболее впечатляющему плану. Если внимательно присмотреться, то за этой валяжной парочкой, чуть в отдалении, стоит некто без лица и, вскинув карабин с глушителем, целится в одного, а возможно, сразу в обоих господ. И можно легко догадаться, что произойдет через несколько мгновений...

Все в нашем мире взаимосвязано. И чем меньше в стране книг и театров, тем больше тюрем и гробов.

ПАКТ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы.

Иезекиль. 2; 6-7

«Отвратительным» пактом от 23 августа 1939 года по стовору двух «мерзких злодеев» миролюбивая Польша была разорвана, как юная курочка матерыми крокодилами. Сделано это было якобы очень подло и очень тайно...

Но все тайное становится явным, и по окончании Второй мировой войны — в разгар холодной — в англо-американской прессе секретные приложения к пакту Молотова–Риббентропа были опубликованы. Мол, в мае 1945 года копали англо-американские люди землю возле замка Шенберг в Тюрингии и нашли секретные приложения. Разумеется, нашли копии, поскольку оригиналы Гитлер унес с собой в могилу. Причем унес, собака, не только немецкие экземпляры, но и советские.

Зачем нужно было уничтожать именно эти приложения, понять невозможно. Если для



сокрытия милитаристских намерений Германии в 1939 году, то в 1945 году иллюзий по этому поводу как-то не осталось. Если же с целью «отмазать» от нехорошей истории Советский Союз и лично товарища Сталина, дружка и единомышленника по мировой агрессии, то к 1945 году Сталин Гитлеру далеко уже не друг.

Так что, если приложения уничтожили, то сделали это су-етно, не задумываясь, в жуткой неразберихе. Однако, несмотря на неразбериху, некий советник германского МИДа (Карл фон Леш) улучил среди толкотни секундочку и в уголке отснял микрофильмы с 9725 страницами документов. Отсняв же, поехал Карл в Тюрингию, где все и закопал возле замка. Потом туда пришли англо-американцы и стали копать землю. Копали они, копали, копали-копали, ух ты: мешок.

Таким сказочно-романтическим путем тайное стало явным. И если б не полный натурализм земляных работ возле замка, можно было предположить, что находка эта является прямым следствием мартовской доктрины Черчилля, согласно которой боеприпасы и немецкое вооружение уничтожать запрещалось, а пленные немецкие солдаты должны были содержаться в боеспособном состоянии — для возможной войны с СССР. Свои настроения Черчилль озвучил еще раз через год и более широко — в Фултоне 5 марта 1946 г.

Так или иначе, тайное стало явным — и через пятьдесят лет «секретные протоколы» к «пакту Молотова—Риббентропа» всплыли. Всплыли мощно, всплыли по всей поверхности: в июне 1989 года «секретные протоколы» были продемонстрированы Первому съезду народных депутатов СССР. А представили эту историческую правду самые добросовестные и объективные — депутаты от прибалтийских республик.

Хоть и оказалось, что нашли они те самые англо-американские копии, Александр Николаевич Яковлев засучил рукава и возглавил комиссию по расследованию, поскольку был он непримиримым борцом с советской системой. А уж доверять Александру Николаевичу можно: за что бы ни брался Александр Николаевич, все у него получалось. Член КПСС с 20 лет, успешно защищал диссертации, в которых от американской буржуазии камня на камне не оставлял, успешно работал в отделе пропаганды ЦК Партии, успешно выдворял из страны Солженицына, потом был успешным идеологом КПСС, был не менее успешным «архитектором» перестройки, а 18 августа 1991 года — за день до ГКЧП — очень успешно из КПСС вышел, о чем и сообщил остальным лохам в прямом телеэфире. Кому, как не ему — стойкому капээсэ-совцу, специалисту-социалисту, автору знаменитой статьи

«Против антиисторизма» и крылатого выражения про патриотизм, который не требует шума, — возглавлять комиссию по таким принципиальным вопросам?

Михаил Сергеевич, который тоже был борцом с советской системой и который тоже считал патриотизм делом интимным, все же указывал Александру Николаевичу на лавку, под которой найдены эти протоколы: «...все документы, в том числе и секретное приложение к этому договору, опубликованы везде. И пресса Прибалтики все это опубликовала. Но все попытки найти подлинник секретного договора не увенчались успехом...» («Знамя», № 10, 1989 г., стр. 65). И особенно Михаила Сергеевича смущало то, что подписался Молотов немецкими буквами.

Тогда Александр Николаевич находит вполне подлинный акт передачи подлинных секретных протоколов помощнику министра иностранных дел (Б.Ф. Подчеробу) — с тремя подлинными копиями протоколов на русском и немецком языках, — о чем Александр Николаевич честно информировал Второй съезд народных депутатов СССР в декабре 1989 года. Но тут получалась следующая загогулина: при страшно секретных документах акт по передаче не был секретным. И главное: везде упоминается «пакт Молотова—Риббентропа», а если обратиться к первоисточнику, то 23 августа 1939 года между Германией и СССР был заключен не пакт, а договор. В общем-то, пустяк, но пустяк, надо сказать, досадный.

Что ж, бывает. Главное — не унывать. И очень скоро, в 1992-м году нашелся ну самый подлинный «секретный протокол», в котором все уже было по-настоящему, в котором уже и «договор», и никаких тебе «пактов», и все аккуратно, и все чин чинарем. Неприятный осадочек оставляет только то, что Иоахим этот фон Риббентроп, всегда подписывавший документы чернильным «паркером», не удержался и сей злощастный договор подписал зачем-то шариковой ручкой. Просто беда с ними, с баронами с этими.

А вот Павел Судоплатов, один из руководителей советской разведки, так тот вообще ничего не знал о «секретных протоколах», хотя обычно разведка зондирует почву для дипломатических договоренностей. В конце концов, ликвидация Троцкого или материалы по атомному проекту, ныне хрестоматийные, вряд ли считались менее секретными. Да и сам Вячеслав Михайлович Молотов, доживший до перестройки, отрицал наличие «секретных протоколов»: при этом вовсе не скрывал иные трогательные нюансы советской политики.

И секрета из советско-германского Договора о границе не делали. Подписан он 28 сентября, а не 23 августа (что, конеч-

но, было бы желательней для доктрины о «секретных приложениях») и о нем было сообщено в самой широкой прессе, даже с иллюстрациями. Итак, в чем же интрига, почему столько шума?

Потому что Ялтинской и Потсдамской конференциями и всеми последующими международными договорами итоги Второй мировой войны, включая все европейские границы и «территориальные приобретения Советского Союза», были официально признаны. А наличие «вновь открывшихся обстоятельств» все эти договоры делали бы нелегитимными. И кому-то этого очень хочется. Между прочим, на всемирный саммит в мае 1995 года, посвященный 50-летию окончания Второй мировой войны, Россия даже не была приглашена — видимо, как не участвовавшая.

А теперь о самой Польше — чуть издалека и чуть подробней.

После октябрьского переворота 1917 года большевики захватили власть в стране, которая до этого называлась Российской империей. И правопреемником Российской империи Советы назвали тоже себя. Именно в этом качестве Советы дали народам России на самоопределение. Но, похоже, Польша, сначала воспользовавшись этим правом, тут же решила, что правопреемником Российской империи является именно она. По крайней мере, советская западная армия, в задачу которой входил контроль над границами, вступив на территорию (не отделившейся от России) Белоруссии, наткнулась на некие польские войска — «Комитет защиты восточных окраин». Начальник Польши Пилсудский, как раз освобожденный немцами из-под ареста и прибывший в Варшаву спецпоездом из Берлина в сопровождении представителя германского правительства, признает эти комитеты польской армией, тем более что большая часть польских сил была уже задействована в войне с самоопределившейся Украиной. А боевые действия против Западно-Украинской Народной Республики начаты аккурат через два дня после провозглашения независимости Польши. Та же ситуация и с Прибалтикой: как только немецкие войска вышли из Вильно, город был взят поляками.

Боевые действия 1919 года между польской армией и РККА сначала шли с переменным успехом, но после вмешательства Антанты был заключен договор с немцами о непротиводействии полякам. В результате началось успешное продвижение поляков на восток: и по независимой Украине, и по Белоруссии, которая прочно вошла уже в федерацию с Россией — были взяты и Минск, и Киев. Совет министров иностранных дел Великобритании, Франции, США, Италии

уполномочивает Польшу на оккупацию восточной Галиции; администрация Западно-Украинской Народной Республики ликвидирована.

Тут уместно вспомнить помощь полякам американской и французской военных миссий, полное обеспечение военным снаряжением, а также целые воинские части в виде авиационных эскадрилий. Надо вспомнить и блокирование Лондонском счетов генерала Юденича, и «военные поставки» Колчаку — это когда французы забрали деньги за 500 самолетов, но ничего не вернули. В это же время на Парижской мирной конференции Совета десяти (в январе 1919-го) Польша требует признания границ 1772 года, то есть к Польше должны отойти вся Литва, часть Латвии, большие части Белоруссии и Украины. Летом 1920-го Великобритания предложила Советской России заключить перемирие с Польшей, исходя из того, что восточная граница Польши будет установлена по ее этнической границе: так называемая «линия Керзона». Но Советам такой расклад показался несправедливым, отчего к моменту подписания окончательного договора в Париже граница с Польшей была еще отодвинута на восток. Таким образом, и население Польши увеличилось на 6 миллионов украинцев—белорусов—русских.

В том же 1920 году Польша оформляет присоединение части Силезии, Литвы и пытается решить вопрос с полным присоединением Белоруссии. Поскольку польские свобода и независимость имели очень большие планы, все последующее десятилетие с территории Польши в Союз забрасываются диверсионные группы, а польская разведка получает негласный статус филиала английской и особенно французской. Еще бы: ведь именно на французские деньги Польша и начала войну против России в 1918 году.

Заметное оживление внешнеполитической жизни Польши начинается с появлением в 1933 году на международной арене Гитлера. В 1934 году, после подписания польско-германского соглашения, в Польшу прибывает некто Геринг, известный как рейхсмаршал Германии, который обсуждает с Пилсудским «особую заинтересованность» Польши в Украине, а Германии, соответственно, — в Прибалтике.

На советско-французскую инициативу по созданию Восточного пакта Польша отвечает принципиальным меморандумом, в котором отказывается от обязательств в вопросах безопасности Литвы и Чехословакии. Присоединиться же к пакту Польша согласна, но только совместно с Германией. Когда на следующий год были подписаны советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимопомо-

щи, польское правительство восприняло это как личное оскорбление. Зато в 1937 году на переговорах Геринга с министром иностранных дел Польши очень даже бодро обсуждается «право Польши иметь выход к Черному морю». То есть территории, захваченных у России в 1918—1921 годах, к 1937 году Польше было уже маловато. Через год на польско-германских переговорах тема заинтересованности Польши в территории советской Украины поднимается снова. Еще через месяц польское правительство спешит довести до сведения Гитлера свою поддержку венгерских претензий на Прикарпатскую Русь, в ответ на это Гитлер спешит довести до сведения польского правительства, что в случае военного конфликта Польши и Чехословакии Германия искренне и без остатка будет на стороне Польши. Как видим, любовь Польши и Германии взаимная, глубокая и в чем-то даже страстная.

В сентябре 1938-го «Мюнхенским договором» — между Германией, Италией, Великобританией и Францией — судьба Чехословакии была-таки решена. Сначала в Судетскую область, а весной 1939-го и на всю территорию Чехословакии вводятся немецкие войска. Советский Союз, наивно размахивая договором о взаимопомощи с Чехословакией, просит Польшу дать коридор для осуществления миротворческой миссии. Ага: накось, выкуси. Польшу в Мюнхен хоть и не позвали, но это формальности, Польша и так чувствует себя царицей морской: уже через два дня после заключения Мюнхенского договора Польша грозным голосом потребовала от Чехословакии Тешинскую область, да и оккупировала тут же, под шумок.

В январе 1939 года на польско-германских переговорах в Варшаве Польша уже в лоб просит поддержки своих планов по реализации выхода к Черному морю и овладении Украиной в обмен на вступление в антикоминтерновский блок. Фашистский Риббентроп дает «добро». В марте, раскатав имперскую губу, Польша заявляет о заинтересованности в получении колоний и, улучив момент — после оккупации немецкими войсками Клайпеды, — предлагает Литве присоединиться к Польше по-хорошему. А в апреле — на всякий пожарный, — заключает еще соглашение о гарантиях с Англией. Но дальше — как в сказке про золотую рыбку: тут же, в апреле, сделав обиженное личико, Германия денонсирует польско-немецкую декларацию о ненападении. После стольких лет сладкого флирта и ожиданий законного брака вдруг оказывается, что поляки — это раса неполноценных славян, и вообще, тысячелетнему рейху какие-то прихлебатели не нужны, тем более такие вертлявые.

Польша еще пытается доказать свою верность идеям фашизма: ведь только русских с 1921 года в Польше уничтожено 120 000, но ни этот геноцид, ни срыв антигитлеровских англо-советско-французских переговоров в августе 1939-го Гитлера уже не трогают. Он, конечно, благодарен Польше за очередную международную подлянку, но его взор устремлен вдаль. Теперь он сам заключает договор о ненападении с Советским Союзом. Советский Союз тоже доволен, поскольку такой ход перечеркивает идею единого антисоветского фронта. То есть объединение Германии, Англии и Франции против СССР тоже не состоялось.

С этого момента Советский Союз становится агрессивным чудовищем, а Польша становится многострадальной. Став многострадальной, Польша сразу забывает о недавнем визите министра иностранных дел Юзефа Бека (5 января) к Адольфу Гитлеру, который заявил о единстве интересов Германии и Польши в отношении СССР. Забывает Польша и о восточном визите (26 января) в Варшаву министра иностранных дел Германии Риббентропа к Беку, который пообещал распрекрасный альянс, если Германия поддержит Польшу в ее намерениях овладеть Украиной. А чтобы Польша так уж все не забывала, 1 сентября Черчилль возвестил во всеуслышание, то есть по радио: «Осуществление нацистских планов по отношению к прибалтийским странам и Украине должно быть окончательно остановлено».

Лишь одна страна восприняла советско-германский договор бурно и гневно — Япония, союзник Германии по коалиции. Правительство Японии даже ушло в отставку. Из либеральнолюбивых стран никто ничего криминального в пакте Молотова—Риббентропа не увидел, и документ сей не осудил. Но впоследствии именно этот документ стал доказательством истинной сути Сталина: он оказался ничуть не лучше Гитлера. Даже хуже.

А с другой стороны, почему Сталин должен обо всех заботиться? Советскому Союзу хватает своих официальных обязательств, которые он исправно выполняет: и на озере Хасан, и на реке Халхин-Гол, и по отношению к Чехословакии, и даже по отношению к Австрии, с которой, впрочем, договоров не подписывал. Но единственной страной, забывшей тревогу при самых первых симптомах — после введения немецких войск в Австрию 12 марта 1938 года, — был Советский Союз. Именно он инициировал созыв международной конференции на предмет «практических мер против развития агрессии». Но разве не Англия пресекла эту инициативу, мол, нечего тут волну гнать? Разве не Англия—Франция на-

стоятельно порекомендовали Чехословакии расторгнуть договор о взаимопомощи с СССР, когда туда направились все те же немецкие войска? А перед Польшей никаких обязательств у СССР нет (Польша знать не желает Советский Союз), зато есть такие обязательства у Англии и Франции, вот пусть у них голова и болит.

Впоследствии Польша будет настаивать на том, что именно договор Сталина с Гитлером в конце лета и стал основанием для гитлеровского нападения на Польшу. Но разработка плана гитлеровского нападения на Польшу (план «Weis») была завершена 3 апреля 1939 года, то есть уже в начале весны. Через две недели (17 апреля 1939 года) британскому послу в Москве вручено предложение о создании единого фронта с Англией и Францией — на предмет все тех же «практических мер против развития германской агрессии». Но англичане и французы ничего не ответили. Зато Финляндия и Эстония заявили в Лиге Наций, что расценивают советскую миротворческую инициативу как угрозу. В самой Польше вообще раздалась голоса: лучше германская агрессия, чем советская помощь, и никаких коридоров для советских войск не будет. После нескольких попыток переговоров, которые носили бутафорский характер, в это же время в Лондоне по инициативе англичан проходили переговоры с нацистами — идея военного альянса СССР—Англия—Франция была похоронена. Вывод напрашивался простой: если Сталин действительно хочет мира, он может договариваться об этом только с Гитлером.

Почему-то именно сговором (Сталина с Гитлером) стали называть вполне шаблонный договор. А ведь в сентябре 1939 года Советский Союз никаких геополитических преференций не получил, всего лишь возвратил свои территории. И территории не дремучего века, а вчерашние, еще тепленькие, захваченные Польшей в революционном шабаше. И граница прошла как раз по «линии Керзона», как и рекомендовала комиссия Камбона, лоббировавшая интересы Польши в 1920 году. Большие надежды возлагались, конечно, на «секретные приложения» к пакту, на их человеконенавистническую природу, но именно они-то, вот беда, и не были найдены: все про них слышали, но никто не видел — ни в Германии, ни в Советском Союзе. Да и вел себя Советский Союз как-то странно: с полным ощущением безнаказанности, с развязанными руками и т.д. Советский Союз предлагает Финляндии... заключить договор о взаимопомощи (5.10.1939).

Тут должно прозвучать негодующее «о!» плюс развернутые комментарии о цинизме, ведь Советский Союз на Финлян-

дию все-таки напал. Да, напал, но уместным будет хотя бы упоминание о тех долгих — год и восемь месяцев, — переговорах, в течение которых Советский Союз безрезультатно торговался с Финляндией, предлагая и вариант аренды четырех необитаемых островков, и территориальную компенсацию, и двукратную территориальную компенсацию за приграничную полосу. И только потом, уже во время начавшейся мировой войны и в условиях цейтнота, когда в Финляндии уже находился германский военный контингент, Советский Союз ценой больших потерь — 50 000 убитых и 250 000 раненых — лишь отодвинул эту чертову границу в среднем на полсотни километров, подальше от Ленинграда. То есть в 8 раз меньше, чем территория, что предлагалась Финляндии в качестве компенсации. А ведь если верить слухам о «секретных приложениях», Финляндия была в «советской зоне» полностью. А если верить сообщению французского агентства «Гавас» от 29 ноября 1939 года со ссылкой на «достоверный источник», то в эту же зону попадали Румыния, Болгария и Венгрия. Их, судя по всему, Советский Союз брезгливо игнорировал: о, этот непредсказуемый Сталин.

Кстати, изумительный нюанс: после Зимней войны, то есть войны с Финляндией, злосчастные островки Советским Союзом были-таки взяты в аренду. Взяты — в аренду.

Надо бы мельком упомянуть, что и на «территорию Польши» (то есть на территорию Украины и Белоруссии) советские войска были введены, когда Польша как государство не существовала. Полмесяца германские войска с боями продвигались по Польше на восток, а 17 сентября 1939 года, когда польское правительство уже уехало в дружественный Лондон, к линии Керзона без всяких там боев поспешили и советские войска. Вполне возможно, впрочем, что в такой ситуации полякам милее была бы кровь до самой восточной границы.

Въедливости ради отметим, что на кошмарное соглашение с милитаристской Германией Советский Союз пошел не в первых рядах.

В 1933 году с Германией заключают пакт Великобритания, Франция, Италия (пакт четырех). Далее.

1934 год: с Германией заключает договор Польша.

1935 год: с Германией заключает договор Франция.

1936 год: с Германией заключает договор Япония.

1936 год: морской договор с Германией заключает Англия.

1938 год: сентябрьская англо-германская и декабрьская франко-германская декларации носят уже антисоветский характер.

В марте 1939 года Румыния заключает договор с Германией.

В мае 1939 года Италия заключает договор с Германией.

В мае 1939 года Литва заключает соглашение с Германией.

В июне 1939 года Эстония и Латвия заключают договоры с Германией.

И только в августе 1939 года договор с Германией заключает Советский Союз.

Почему же память о договоре Советского Союза с Германией не дает спокойно спать мировому сообществу, почему этот договор считается подлостью, если договор о ненападении?

Да потому, что политика — дело витиеватое и многоходовое. И Сталин 23 августа своим длинным изощренным пальцем нажал на спусковой крючок мировой войны. Вот кто главный поджигатель. Гитлер, он как дитя, всего лишь поддался на провокацию. По крайней мере, так любят размышлять западные и некоторые российские историки. А зачем нажимать на крючок? Так чтобы мировую революцию распространить.

Западные историки — ладно, они историю партии не проходили, а вот для российских историков аргумент с мировой революцией странен. Ведь от этой идеи Сталин отказался сразу, как пришел к власти. Еще в 1923 году Троцкий обвинял Сталина в трусости, когда тот не поддержал проект революции в Германии. Позднее политические оппоненты даже пытались инкриминировать Сталину отклонение от ленинского курса, так он им какую-то ленинскую цитатку привел, то есть подготовился, а не с бухты-баракты революцию отверг. Более того, чтоб никакой другой советский лидер не смог эту идею реанимировать, Сталин — когда силу почувствовал, — сначала ликвидировал военную комиссию Коминтерна (1925), затем распустил Общество старых большевиков и пресек финансирование иностранных компартий (1935), через несколько лет (1941) высказал аккуратные сомнения в целесообразности этого Коминтерна вообще, а еще через пару лет Коминтерн похоронил. Международную, между прочим, организацию, через которую мировая революция как раз и осуществлялась. Так что революционер из Сталина еще тот, одних только проверенных большевиков сколько положил. И Церковь легализовал. Причем так же мягко, поэтапно.

По поводу традиционного визга Запада на предмет большевистской угрозы надо бы отметить, что визг этот всегда подозрительно отчаянный, но с фальшивыми нотками: ведь российский большевизм — это детище исключительно западных финансовых групп.

И мировые войны просто так не происходят, кому-то они действительно нужны.

Конечно, Сталин был заинтересован в том, чтобы Англия—Франция и Германия повоевали между собой. Гитлер полагал, что нападение на Советский Союз улучшит его отношения с Англией—США. А сенатор Трумэн, будущий президент, с американской простотой заявил 24 июня 1941 года в своем Конгрессе: «Если выигрывает будет Германия, мы будем помогать России, если выигрывает будет Россия, мы станем помогать Германии». Чтоб повоевали подольше, поразрушительней, чтобы поглубже влезли в долги: только 30.04.1942 г. из Мурманского порта было вывезено в США 5,5 тонны золота.

При этом позиция Сталина, в общем-то, понятна: пусть воюют страны, еще вчера пытавшиеся объединиться в «антикоминтерновский», то есть, в антисоветский блок с явно военными намерениями. Но что за странную позицию озвучил Трумэн? И кто же, действительно, больше всего был заинтересован в этой войне? Кто раскручивал и подталкивал Гитлера, ведь одного сталинского пальца — изошренного и длинного — для мировой-то войны маловато будет.

...Перед Первой мировой США были самым крупным должником, а после — оказались самым крупным кредитором. Аналогично и со Второй мировой. (В этом смысле астрономические долги США должны и сегодня очень настораживать). И вообще, как так получилось, что еще в 1937 году по всем военно-техническим параметрам Германия уступала Советскому Союзу, а уже через пять лет имела лучший тяжелый танк в мире и лучшую авиацию?

Тихая и нейтральная Швейцария, которая политикой ни капельки не интересуется, 1 августа 1934 года принимает уникальный закон о тайне банковских вкладов — таким образом, международные финансовые потоки становятся невидимыми, — и происходит это ровно в тот день, когда в Германии издан закон о совмещении функций рейхсканцлера и президента. То есть закон о полноте власти Гитлера. Но тайна банковских вкладов может запутать лишь грядущих историков, поскольку современникам-то все видно и так: американская компания «Стандарт ойл» строит в Гамбурге завод по производству авиатоплива, «Дженерал моторс» вкладывает 30 млн. долларов в предприятие германского ВПК «ИГ Фарбен-индустри», Состенес Бенн (компания «Лоренс») приобретает 28% акций «Фокке-Вульфа», Морган финансирует строительство авиазаводов. А всего американский бизнес в 1936—1938 годах построил в Германии 288 промышленных предприятий.

И несмотря на «ночь длинных ножей» (1934 г.), когда хором скончались тысячи политических конкурентов Гитлера, несмотря на Нюрнбергские законы (1935 г.), ограничивающие права евреев, ни один иностранный журналист не усомнился в гуманизме гитлеровских реформ, и ни британские, ни американские банки из-за таких пустяков Германию в кредитах не ограничивают. Несмотря на расовые законы и уже действующий Бухенвальд, Олимпийские игры в Берлине никто не бойкотирует; более того, на открытии игр французская делегация марширует с характерным жестом «хайль!», а чуть позже, с 1940-го по 1944-й — то есть во время войны, — на фашистов работают крупнейшие французские заводы, при том что военная промышленность Франции перед Второй мировой была второй в Европе. Британская же газета «Дейли мейл» захлебывается от восторга: «Выдающаяся личность нашего времени — Адольф Гитлер (...) стоит в ряду тех великих вождей человечества, которые редко появляются в истории». На обложке первого номера за 1939 год журнала «Fogbs» «выдающаяся личность» того времени красуется с великолепными усиками, а **нобелевский комитет рассматривает эту кандидатуру в номинации «Премия мира»**. И кто только не числился — вполне официально — в германских войсках периода Второй мировой: и голландцы с фламандцами, и венгры с румынами, и даже чехи, и, понятное дело, французы, и многие, многие, многие.

Совершенно конкретные события — связанные с Чехословакией, — дали отмашку Второй мировой. Ведь Чехословакия даже в одиночку смогла бы дать отпор Гитлеру, если бы не странный англо-французский-польский коллективизм. А если бы и Советский Союз смог подставить плечо, Германия ретировалась бы без разговоров, и наполеоновские амбиции Гитлера быстренько сдулись бы. Но Советский Союз плечо не подставил, поскольку Польша принципиально коридор не дала. Шлагбаум Второй мировой войны был поднят.

Что мешает мировому сообществу, не мудрствуя лукаво, извлечь из памяти все эти простые обстоятельства? Почему стандартный договор с Германией о ненападении перечеркивает в памяти пацифистов все прочие инициативы СССР накануне войны? А ведь СССР выступил в Лиге Наций с идеей создания системы коллективной безопасности, предложил заключить региональный оборонительный «Восточный пакт» с участием СССР, Франции, Польши, Чехословакии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы и Бельгии. А еще — «Тихоокеанский пакт», соглашение о ненападении с участием СССР, США, Великобритании, Франции, Японии

и Китая. И почему не вспомнят ноябрь 1940-го? Это когда Япония, успешно шуровавшая на Востоке, Италия, успешно шуровавшая в Африке, и Германия, подчинившая всю Европу, объединившись в так называемую «Ось», предложили примкнуть к этому непобедимому блоку и Сталину? Вот был бы триумф воли. Тогда бы уж никто не пикнул.

Присмотревшись же к хронологической таблице, заметим, что в длинном перечне стран, перед Второй мировой войной заключивших договор с Германией, СССР стоит последним. А возглавляет список многострадальная Польша. И договор Молотова—Риббентропа от договора Гитлера—Пилсудского отличает одно небольшое, но специфическое обстоятельство. Как известно, в 1933 году Гитлер начал антиеврейскую кампанию, что, надо сказать, ничуть не препятствовало заключению англо-франко-итало-германского пакта. А для последовательного проведения гитлеровских реформ создаются концлагеря. Известно также, что основная масса фашистских концлагерей находилась вовсе не в Германии. Так вот, одним из пунктов германо-польского соглашения, подписанного в Берлине 26 января 1934 года, было создание концентрационных лагерей на территории Польши.

Другой же пункт касался согласованных действий Германии и Польши в войне против Советского Союза.

Так что, прислушиваясь к причитаниям о судьбе несчастной Польши в связи с 70-летием «пакта Молотова—Риббентропа», согласимся, что дело тут не в пакте.

Который, как оказалось, и не пакт вовсе.



*Литературные страницы
Международного сообщества
писательских союзов*

Николай РАЧКОВ (г. Тосно Ленинградской обл.)

ЗАЖГИ СВЕЧУ

* * *

Перышко с небес, а может — слово.
Если умный — глянь да раскуси.
Сколько голубого-голубого,
Сколько золотого на Руси!

Сколько выгребали, вывозили,
Сколько вырубали — не сочтешь.
Ну а васильки все так же сини,
Глаз не отведешь — какая рожь.

И в лесу, и в поле столько меда —
Захмелеет на ветру любой.
Свет какой! Да это у народа
Светится душа сама собой.

И хулят, и хают, только снова
Лезут к нам... О Господи, спаси!
Сколько голубого-голубого,
Сколько золотого на Руси!

ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР

— Бабуля, здоровье-то как, ничего?
— Болят все суставы, все жилки.
— А где твой старик? Помню бравым его...
— В могилке, родимый, в могилке.

— Война виновата, конечно, война.
А дети, а внуки-то где же?
Поди, навещают? Совсем ведь одна.
— Все реже, родимый, все реже.

— Косила и жала, плела кружева,
А суп-то варила с крапивой.
Несчастной, несчастной ты жизнь прожила.
— Счастливой, родимый, счастливой.

— Бабуля, ты слышишь, гремят соловьи
Во мраке цветущего сада?
Ах, сбросить бы годы, — живи и живи!..
— Не надо, родимый, не надо.

* * *

Время вышло к тому, что на сердце все злей
То одна, то другая насечка.
Я поеду в деревню. В деревне теплей.
Где родительский дом, там и печка.

Вот он, старый мой дом. Вот знакомый порог.
Вот свернулась на стуле косынка.
«Это ты ли вернулся, мой младший сынок,
Мой болезный,
Моя сиротинка?..»

Печь не топлена.
В инее стены давно.
А на стеклах зальдели березы.
«Это ты ли сынок?..»
И рванул я окно —
Вымерзайте, последние слезы!

ЛЮБКА

До войны она была Любушкой, Любавой.
Только муж ее сгорел в танке под Варшавой.

Любушкой была вчера, нынче стала Любкой.
Вон как улицу метет расклешенной юбкой!

Вот пройдет она селом, жаркая, как печка.
Крякнет не один мужик, аж привстав с крылечка.

А уж если подмигнет, подпоет немножко —
И пойдет за ней, пойдет, бросив всех, гармошка.

Знает только ночь темна, знают незабудки,
Отчего всех веселей кофточка у Любки.

Сев ли, жатва, сенокос — только бы жива бы:
Все горит в ее руках — догоняйте, бабы!

Не один ей говорил во широком поле:
«Любка, замуж за меня выходи ты, что ли...»

Но она качнется вдруг тоненьким росточком:
«Ну вас всех...» — и вслед махнет ситцевым платочком.

Так одна, всю жизнь одна... Прочь поди, досада!
Хоть красива, хоть бедна — никого не надо.

Помирала, никому Любка не мешала,
К сердцу мужа своего карточку прижала.

Был он всеми позабыт, молодой, в шинели,
И его из мертвых рук вынуть не сумели.

Пальцев худеньких никак не пораспрямили...
Ветер, ветер, ты поплачь на ее могиле.

ОТ ЛЮБАНИ ДО МГИ

От Любани до Мги все леса да болота
И суровый, до блеска стальной небосвод.
От Любани до Мги погибала пехота,
Понимая, что помощь уже не придет.

«Где шестой батальон?.. Где четвертая рота?..»
За спиной — Ленинград. Невозможен отход.

«Только насмерть стоять! Только насмерть, пехота!..» —
И стоит. И уже с рубежа не сойдет.

Гимнастерка намокла от крови и пота,
Израсходован в схватке последний патрон.
Но стоять, лейтенант! Не сдаваться, пехота!
Ты не станешь, не станешь добычей ворон.

Кто-то тонет, не сбросив с плеча пулемета,
Кто-то легкие выхаркнул с тиной гнилой.
Вот она, сорок первого года пехота
Меж Любанью и Мгой, меж Любанью и Мгой.

В День Победы ты тихо пойдешь за ворота,
Ты услышь, как вдали раздаются шаги.
Это без вести павшая наша пехота
От Любани до Мги, от Любани до Мги...

ПОСЛЕДНИЙ КУЛИК

Позабросив стихи и гармошку,
В отцветающем грустном селе
Вот опять я копаю картошку,
Чтобы выжить на этой земле.

На земле, где мои коростели
Отзвенели в покосах вчера,
Где такие сегодня метели
И такие шальные ветра.

Где рыдает родная долина,
Осыпается роща во сне...
Нет покоя теперь, все едино,
Ни в душе, ни в дому, ни в стране.

Здесь помрешь в безысходной простуде,
Упадешь среди картофельных гряд.
Здесь какие-то хмурые люди
Много умных речей говорят.

Сколько их, волевых, непохожих,
За удачею вдаль унесло.
Хорошо-то как, Господи Боже, —
Сытно там и тепло, и светло!

Я копаю картошку и внемлю
Только ветру, чей яростен крик.
Я продрог... Но люблю эту землю,
Как болото последний кулик.

* * *

Отсияли во ржи васильки
Отсинели веселые реки.
У твоей лебединой руки
Только я
Навсегда и навеки.

Пусть дела — словно сажа бела:
Мало ль сажи ты в жизни видала?
Лучше всех, краше всех ты была —
И за это за все отстрадала.

Отсмеялись, отплакали мы
И простили немало друг другу.
Вот и дожили мы до зимы,
Ну так встретим холодную выюгу!

Дорогая,
Всему вопреки
Мы вдвоем в этом бешеном веке.
У твоей лебединой руки
Только я навсегда и навеки.

* * *

Все мы — летящие в пламени
Листья над стылым ручьем...
Милые, вечные, дальние,
Я не прошу ни о чем.

Испепеляются грамоты,
Плавятся камни в огне.
Если вы мною помянуты,
Значит, вы живы во мне.

Ветер холодный забвения
Да не касается вас.
...Мыслей упорных биение,
Чувств неизбывный запас —

Все это вы передали мне,
Встав навсегда за плечом.
Милые, вечные, дальние,
Я не прошу ни о чем...

Андрей ГРУНТОВСКИЙ (*Санкт-Петербург*)

Я ДОЛГО СЛУШАЛ ВЕЧЕР

* * *

Россия-матушка живет,
А вы-то думали, а мы-то...
Она и нас переживет,
Сто раз отпета и омыта.
Сто раз за нас погребена
Сто раз палима и распята...
Она с полей Бородина,
С полей Германской встанет свято.
Потом порушен был Саров
И крест повсюду был украден...
Но не изъяли из дворов
Кресты оконных перекладин.
Потом Великая Война
Волною смертной накатила...
Россия-матушка жива
И никуда не уходила.
Россия-матушка живет,
А вы-то думали, а мы-то...
Она и нас переживет,
Слезую Божию омыта.

ДЕРЕВНИ

Деревни, деревни, деревни, деревни...
Деревья, деревья, деревья, деревья...
А вот и погост и река под обрывом,
И боль вековечная стынет нарывом...

Изба заколочена, поле не сжато,
И воткнута в грядку навечно лопата...
И лес обступал, в нем балуют тетерки,
А он — в довоенной своей гимнастерке
Под пыльным стеклом, возле самого Спаса...
А прах погребен на углу Фридрих-штрассе...
Европу спасавший, ты видишь ли, как
Деревню твою оккупирует враг..
Где пели веками светло и беспечно,
Последний сверчок заморился за печкой...
Последняя мышка ушла из подвала
И ласточка больше гнезда не свивала...
Деревни, деревни, деревни, деревни,
Сомкнулись над вами деревья, деревья...
И Русь зарастает быльем, как когда-то
В эпоху татарщины и каганата...
Но Слово пребудет стоять нерушимо,
Его не задушит полынь и крушина,
И длится незримая эта работа —
Святые в окладах, святые на фото...
В избе заколоченной, в рухнувшем храме...
Меж ними и нами, меж ними и нами...

БУРЯ

Осины знают все на свете.
О, как они шумят, шумят...
Мотает рошу буйный ветер
И если рухнут рохли эти,
То будет мой домишко смят.
Мотает ветер кроны елей.
Молюсь Николе: упаси!
Враскачку небо... Еле-еле
Земля покуда на оси.
Вот наклонились. Сцепились
Вершины — сучьев треск и стон...
Еще порыв — и повалились,
И покачнулся небосклон.
Земля подпрыгнула, и древо
Упало — дол свой вздох исторг!
А ребятишкам — что за дело! —
Орут: «Ура!» — Какой восторг!

* * *

Я долго, долго слушал вечер,
Пока не смерклося окрест,
Дерев таинственное вече,
Воздетых сучьев скрип и треск.
А ветер, ветер над долиной
Все гнал куда-то облака...
Закатные наполовину
Они светилися пока...
И мрак настал... И тихо, грозно
Взирало око с небеси.
И проступили в небе звезды,
И повернулись вдоль оси.
И свет их, осиявший души,
Шел от пределов бытия...
А я все слушал, слушал, слушал,
Как длилась эта лития.

РАДУНИЦА

На кладбище горят костры —
Венки и листья прошлогодние,
А над кострищами — кресты,
Вороны прыгают голодные.
У каждой в клюве по яйцу:
«Христос воскрес!» — клюют и каркают...
А слезы, слезы по лицу...
Обсохли и уже не капают.
А там, в согревшейся земле,
Опять, наверно, предки ожили
И в этом пепле и в золе,
Наверно, скрыта Правда Божия.
И мы с тобою побредём,
Оставив ветхое пристанище,
За вечным Словом, за огнем,
За этим дымом, в небе тающем.

* * *

Рано зимою смеркается,
Крестик в снегах над рекой.
Кладбище с небом сливается...
Мертвые любят покой.

Пламя над свечечкой тающей
Ангел колышет крылом.
Снова пришел я на кладбище,
Снова душою в былом...
Слышится: «Разве мы мертвые?
Мы лишь до срока молчим.
Прошлое наше бессмертное
Всходит свечами в ночи».
Падаю, падаю, падаю...
Снова всплываю со дна.
Неугасимой лампадою
Всходит над миром луна.
Кладбище с небом смыкается,
Сходит на душу покой...
Рано зимою смеркается
Над благодатной рекой.

* * *

Я был почти что не живой
На край родной во мгле взирая...
А там точилась под горой
Из родника вода живая...
Что пульс, когда мой стих затих,
Что сердце, если строки встали...
А в небесах от сих до сих —
Тянулись птицы, сбившись в стаи.
Как тыщи лет тому назад,
Они трубили в вышних Богу..
Им виден рай, и что им ад,
В который мы мостим дорогу?..

* * *

В Сарове праздник. На Руси
Такое славное волнение.
Рифмуется: «...на небеси»,
Рифмуется: «...до воскресенья».
И воздух легкий, как в раю,
И все свершается отныне...
И скоро Пасху запоют
Средь лета, отче Серафиме!

Иван ЩЁЛОКОВ (г. Воронеж)

ОСЯЗАНИЕ ЗВУКА

* * *

О чем ты, скрипка, плачешь на бульваре?
Листвой опавшей плавится заря.
Твой музыкант подобен сталевару:
Смычком вздувает пламя сентября.

Приткнуться негде звуку на манеже:
Оркестр бульвара — домны жаркий гул,
Твоей струны отточенную нежность
Он языком пылающим слизнул.

Ты, скрипка, плачь, не оставляя муки,
Сентябрьской сценой зрителей конфуз!
Все переплавит осязание звука,
Кипящей сталью влившегося в пульс.

* * *

Здесь покоится Валюха —
Забубенная деваха,
Городских окраин шлюха
И невинных скромниц сваха.

Лет прошло!.. — а помнят Вальку.
Кто осудит, кто поплачет:
— Непутевая, а жалко!
Не могла, видать, иначе...

Над могилой — черный мрамор,
А на нем — точеный профиль.
— И не пьется, вот, ни грамма,
И не любитя дурехе!

Черный мрамор, словно плаха,
Для души, спаленной в жажде...
Мрамор тот последний хахаль
Притащил сюда однажды.

* * *

Вот и зима неожиданно рано
Каплет рябиной в открытую рану
С веток на снежную марлю оврага
После проявленной выюгой отваги.

Вот и любовь неожиданно поздно
Следом сгребает морозные гроздьи
Старой лопатой из тонкой фанеры
В час пробужденья священной Венеры.

Все неожиданно: счастье, разлука,
Теплые губы, холодные руки,
Слава до звезд и забвеньи до мрака...
...Жалостно лает от стужи собака.

* * *

Неужели снится?
Страшно, хоть кричи.
Над погостом птицы —
Черные грачи.

За оградой память —
Бабка, дед, отец...
Хватит душу маять:
Есть всему конец!

У крестов начала
Не было и нет.
Птицы зря кричали,
Всполошили свет.

На весенней льдине
Сплавлен груз сердец:
Хата у плотины,
Бабка, дед, отец...

И ничто не снится.
И не страшно, нет.
Просто криком птицы
Всполошили свет.

* * *

В три петельки — роспись,
В пять крючков — судьба...

Над избой — как роскошь
В завитках труба.

Жестяное чудо,
Волшебство души...
Мы всегда — отсюда,
Из родной глуши.

В веке несчастливом
В кровь разбиты лбы.
Вылетели дымом
Судьбы из трубы!

* * *

Не к месту дождь. Не вовремя гроза.
Жестокий ветер. Спутанные космы
Берез и кленов. Женские глаза
О чем-то с грустью вопрошают космос.

Зал ожидания. Кофе. Леденцы.
Тут север с югом — поневоле братья.
И лайнеры — небесные птенцы —
Полощут крылья в лужах на асфальте.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА (г. Москва)

НЕПРИКАЯННОСТЬ

Рассказ

От города на автобусе нужно ехать километров двадцать до большого села. А там еще через лес и болото километров пять пешком. И вот, наконец, Речные Котцы. Смысл названия неясен даже старожилам — ни реки, ни каких бы то ни было котцов, в деревне отродясь не бывало. Хотя, по здравому размышлению, название не могло появиться на голом месте. Текла, наверное, когда-то река, ловили в ней рыбу, для чего и ставили котцы. Но лет пятнадцать назад ничего похожего здесь не было, как не было уже и лесхоза, кормившего деревню при советской власти. Зато было два десятка дворов

и небольшая церковь на въезде. Пять домов давно стояли заколоченными, один купили какие-то чудаки-дачники, внезапно появляющиеся летом, рыщущие самозабвенно по лесам и так же внезапно исчезающие. В остальных домах жили старухи — несколько вдовых, несколько со стариками и одна со взрослым дурачком-сыном. Кроме старух имелся в деревне пожилой вдовый священник. А с некоторых пор — средних лет бобыль, недавно возвернувшийся из мест заключения, где отбывал за драку; да еще молодой «грузин», как прозвали его старухи, в действительности же — неизвестно откуда взявшийся переселенец с Кавказа.

Как-то пошел по деревне слух, что будто бы приезжает с Урала группа старообрядцев и что будут они по-своему молиться и всех в свою веру обращать. Кто пустил этот слух, сейчас уже неизвестно. Может быть, почтальон, пробиравшийся иногда в деревню с письмами и очередным номером «Журнала Московской Патриархии», а, может быть, фельдшерица из села у тракта, навещавшая изредка старинных своих пациентов. Но как бы то ни было, в Котцах заволновались.

После смерти Сталина церковь в деревне закрыли. Но не взорвали. Пришло время, церковь открыли и стали служить. Кое-что, конечно, было утрачено: пропали несколько икон, стены пошли трещинами, росписи поблекли и местами облетели. Но в целом церковь оказалась пригодной для службы даже зимой. Вскоре прислали священника, и потекла приходская жизнь. Костяк прихода составили старухи, свои и сельские, и Вася-дурачок, голосом и манерами очень похожий на старух. Священник приходу понравился. С первых же дней он выказал себя рьяным пастырем — внимательно и серьезно выслушивал старушечьи грехи, каждого умел утешить и ободрить, а для проповеди находил такие простые, но сердечные слова, что заставлял старух шмыгать носами и отирать морщинистые лица. Борода и голос батюшки тоже пришлись всем по вкусу. Ленька, вчерашний уголовник, шатаясь по деревне пьяным и натыкаясь на отца Алексея, сгребал всякий раз его в объятия и со слезой в голосе уверял, что и он, Ленька, «не какой-нибудь там» и что тоже в Бога верует. На вопрос же отца Алексея, почему в таком случае он не приходит в церковь, Ленька поднимал брови, искренне хохотал и, удивляясь наивности батюшки, восклицал: «Да чего ж я там со старухами делать буду?»

Как-то в Петров пост в Котцах появились двое. Выйдя из лесу, они остановились, огляделись и цугом проследовали к заколоченному дому Петраковых, несколько лет назад схо-

ронивших стариков и перебравшихся в город. Петраковский дом стоял последним на деревенской улице, так что вся деревня могла рассмотреть, что двое — это молодые мужчины в куртках и брюках защитного цвета, в кепках с длинными, жесткими козырьками, похожими на утиный нос, и с большущими брезентовыми рюкзаками. С Петраковского дома они сбили ржавый замок и исчезли внутри. Приходская староста Ильинична хотела было снарядить к ним на разведку свою помощницу. Но отец Алексей, знавший о брожениях, вызванных слухами и ожиданием «группы с Урала», опередил старостиных присных и, чтобы разобраться самому и успокоить паству, лично отправился к приезжим.

Обиженно скрипнула покривившаяся дверь, и батюшка взошел на крытое крыльцо. Пересек душную, раскаленную террасу, засыпанную разным хламом, оказался в прохладных сенцах. Дверь в горницу была открыта, и отец Алексей увидел, как приезжие, сбросив на пыльный пол рюкзаки и обнажив головы, оглядывают свое новое пристанище.

— Настоящая изба, Санек! — говорил тот, что курносый и поменьше ростом. — Как тебе?

— Да! — улыбался мечтательно Санек и похлопывал ладонью печную кладку, точно проверяя ее на прочность.

Потом он скинул куртку и остался в одной майке — потный, сильный, по-мужски красивый. И улыбка, и заголенные руки, и расставленные широко ноги в тяжелых ботинках — весь облик его почему-то вдруг навел батюшку на мысль, что Санек этот надолго в Котцах не задержится.

— Здравствуйте, — прикашливая, произнес отец Алексей.

Оба повернулись, напряженно и недоверчиво уставились на батюшку. Но, сообразив, что перед ними старик да к тому же еще священник, обмякли и в первую секунду даже обрадовались. Но тут же отцу Алексею показалось, что Санек ухмыльнулся, и что-то нехорошее, высокомерное промелькнуло в этой ухмылке. Точно досадовал Санек, что испугался, а испугал его всего лишь старый заштатный поп.

— Здравствуйте, молодые люди, — повторил отец Алексей. — Простите, что беспокоил... С приездом вас...

— Здравсьте. Проходите, — кивнул отцу Алексею приятель Санька.

Батюшка переступил высокий порог и оказался в комнате — довольно большой, с русской печью посередине, без мебели, с кучками осыпавшегося из стен мха на полу.

— Зашел, понимаете, познакомиться с новыми людьми... кхе-кхе... Здесь в деревне все на виду... Звать меня отцом Алексеем, а вы... стало быть...

— Александр Симанский, — протянул руку Санек.

— Виктор Чудомех...

— Ага... ага... — отец Алексей хихикнул про себя над диковинной фамилией. — И что же, вы... Петраковых друзья? Или как?..

— Этот дом мы купили, — объявил Симанский. — Будем здесь жить, вести хозяйство и... и молиться... Вроде как скит думаем устроить...

— Так вы... стало быть... и впрямь... староверы с Урала? — забормотал отец Алексей, у которого даже ноги подкосились.

Но в ответ Симанский и Чудомех переглянулись и расхохотались так, что в доме что-то затрещало и заскрипело.

— Почему с Урала? Мы из Москвы! Не староверы мы...

— И не плотники!.. — прибавил Чудомех, и они опять расхохотались.

— Обижать никого не собираемся. Надеемся, и нас беспокоить не будут, — последние слова Симанский проговорил твердо и даже, как снова показалось отцу Алексею, с вызовом.

— Ага... ага... — забормотал отец Алексей, и густые седые брови его зашевелились как два живых существа.

А про себя отец Алексей еще раз подумал, что Санек этот долго здесь не задержится.

За несколько лет до своего появления в Котцах Симанский и Чудомех получили дипломы Московского университета.

Прадед Симанского был дьяконом сельской церкви Тамбовской губернии. Дед преподавал научный коммунизм, отец посвятил себя изучению экономических отношений Советского Союза со странами Магриба. Отношения эти складывались неплохо, и отец то и дело осчастливливал потомков тамбовского дьякона марокканскими джинсами и алжирской жвачкой.

Жил Александр интересно и разнообразно. Еще студентом вошел в круг людей, буквально изнемогавших в борьбе за что-то не вполне определенное, но, безусловно, по их мнению, прекрасное. И это не могло не восхищать. И, опьяненный двойной жизнью между повсеместно нарушаемыми запретами и хитроумно избегаемыми наказаниями, Симанский стучал на пишущей машинке, множа самиздатовские листки, носился по Москве, собирая подписи под протестами, спорил на прокуренных кухнях с бородатыми диссидентами и гладковыбритыми ретроградами, доказывая последним необходимость свободы слова и каких-то прав, которые есть

за границей. И чувствовал себя вовлеченным в исторические процессы. А как он любил эти споры! Этот, могущий показаться бессмысленным и бесполезным треп, без которого никто решительно не мог обойтись вокруг. Треп, позволяющий одним скрашивать пустоту и скуку, другим — упиваться самоутверждением, третьим — отыскивать в словесном сору жемчужные зерна.

— Да пойми же, болван, — горячо внушал Симанский одному своему приятелю, увлекавшемуся поздними славянофилами. — Пойми, что славянофильство отжило свое! Мода — о, да! Это понятно. Но чтобы принимать это всерьез?.. Скучнейшее, нуднейшее учение о несуществующих вещах!

— Врешь, брат! — откликнулся славянофил. — Врешь! Время славянофильствует! А вот ты так коснеешь в глупости и заблуждениях. Кому-то очень нужно все раскачать. И для этого набирается целая армия дурачков, в общем и целом безопасных, хотя и кусающих за ноги. А каждая реакция на такой укус — гол в собственные ворота и повод к обвинению в генетическом тоталитаризме!..

— Вот сам и соврал! — радовался Симанский. — Соврал, брат! Эти люди жертвуют собой для целой страны, для огромного, бессмысленного народа. Чтобы добиться прав для этого народа, небольшая в сущности кучка людей... лучших людей!.. готова гнить в тюрьмах!..

— Да ты сам врешь! Вот гнить-то вы как раз и не готовы! У вас это игра, вы уверены, что ничего вам за нее не будет. И никакие такие права, о которых ты тут рассуждаешь, не изменят никого из вас! И вообще никого! И неужели ты думаешь, что где-то есть рай на земле? Глупцы! Ведь вы от лени пялитесь на Запад! От лени! Вы не хотите и не можете создать своего, вам проще, как в лавке, выбрать готовое. И чтобы оправдать свою лень, вы сами себя убеждаете, что выбранное вами совершенно!..

— Как ты можешь говорить это, когда вчера только у Фридландов был обыск! И Яшку забрали. Яшка Фридланд в Лефортово! Понимаешь ты это? Яшка в Лефортово!

— Ха-ха-ха! У Фридландов, говоришь?.. Вся эта ваша диссидентская чехарда с борьбой за права есть борьба за право уехать на жительство в Израиль. И попомни мое слово: когда все твои Яшки переедут в Израиль, диссиденты переведутся сами собой! И о правах для «этого народа» никто больше не вспомнит!

— А вот в этом ты прав! Единственное, в чем ты прав — вот в этом! Только евреи и способны бороться...

— За права «этого народа»? И ты в это веришь?..

И странным образом случилось по предсказанному славянофилом: евреи уехали, диссиденты перевелись, все вокруг перевернулось. Появились одни права, исчезли другие, за которые бороться стало некому. А если и находились борцы, то ни подать себя, ни заявить о себе они не умели. И оттого слыли злодеями. И больше не было диссидентского флера, не было скромного обаяния и сытого трепачества. И зарубежные радиостанции больше не надрывались и не заходились плачем над несчастным народом. О правах стало говорить немодным, и все заговорили о духовности.

И вскоре в комнате Симанского рядом со старинными иконами, дошедшими от тамбовского дьякона, и фотографией Елены Боннэр появились изображения Блаватской, Саи-Бабы и Раджнеша. Вошли в повсеместный обиход слова «абсолют», «энергия», «космический разум». И Симанский, хоть и носил на шее крест из Загорска, уже отстаивал на кухнях равновеликость всех религий и утверждал, что «Бог в душе». Но вместе с тем, Симанский заскучал. Агни-йога на время развлекла его, но хандра вернулась, и он оказался не в силах противостоять ей. Вокруг, отчасти благодаря усилиям самого Симанского, все трещало и рушилось, а Симанский хандрил, злился и чувствовал, что теряет вкус к жизни.

Еще недавно ему казалось, что лучшие люди изнемогают в борьбе. Но если бы только его попросили остановиться, перестать думать и говорить чужими фразами, а вместо этого здраво осмыслить все, что происходит вокруг: самиздаты, кочегарки и прочий революционный пафос, а затем ответить на простой вопрос: «Ради чего это нужно?», едва ли он подыскал бы вразумительный ответ. Именно эта привычка думать и говорить чужое, впитывать сентиментальные истины, захлебываться в информации и никогда не оставаться наедине с собой — именно эта привычка не позволяла ему остановиться в суестьи и кутерьме борьбы. Сладкое это слово — борьба! Красота и необременительность, иллюзия собственной занятости и незаменимости, переполняющее самодовольство и надрыв. Этот вечный надрыв, эта поза, самолюбование, доводящее до умопомрачения!

А теперь все казалось ложью, фальшью, подделкой. И это было ужасно. Это отбивало охоту жить.

Симанский усомнился в диссидентстве, потому что и сам теперь видел, что похоже оно на игру. Усомнился в своей работе, потому что не знал, зачем выполнял ее. Усомнился даже в диссертации, потому что это было перепеванием в сотый раз одного и того же мотива. О, фальшивая, ненастоящая жизнь! Есть ли в тебе хоть что-нибудь истинное, подлинное, чистопробное!

Демократия, бизнес и прочие штуковины заткнули собой все прорехи прежнего строя. Но было ли это новое подлинным? Ни одной секунды! Ни помпа, ни болезненное восхищение собой — ничто не могло заслонить подделки. Но хуже всего, что все вокруг так приспособились к этой подделке, так полюбили ее, что всякий протест воспринимался большинством как глупость или зависть. Все, и особенно те, у кого получалось фальшивить ловчее, приучились считать эту фальшь за настоящую жизнь. Но и тот, кто возвышал голос, отлично знал: комфорт, престиж и самоуважение — три источника, три составные части, а лучше сказать, три кита, на которых покоится современный Homo Sapiens, — невозможно добыть вне фальши.

За рассуждениями Симанского по традиции потянуло в народ. Ему предложили купить дом, и он ухватился за это предложение. Семьи у него не было. В институте, где он работал, шло сокращение, и, не дожидаясь увольнения, Симанский уволился сам. Одному ехать в деревню было боязно и несподручно, и Симанский увлек Чудомеха, потерявшего работу и вдобавок брошенного женой.

Выражение «уйти в народ» значит, как известно, проникнуться сознанием пагубы цивилизации и бежать туда, где привыкли обходиться без ее благ и соблазнов. Бежать к людям, трудящимся ради насущного, но не излишнего. На фоне этого благостного идеала сам собой рисуется образ народный: крестьянки с крынками, мужики с косами, тучные коровы, заливные луга, Алеша Карамазов, монахи-старцы, заснеженные избышки и церковки. Труд и молитва — веками устоявшийся уклад, дающий каждому участнику покой и довольство. Образ этот, сотканный интеллигентским воображением, не mnoho, думается, отличается от образа, намалеванного воображением какого-нибудь европейского интеллектуала, который ну никак не хочет обойтись без медведей.

Деревенька Речные Котцы произвела на Симанского самое благоприятное впечатление — все здесь было настоящим. Даже поп оказался всамделишным. Правда, не таким колоритным, как представлял себе Симанский — без брюшка, без румянца во всю щеку, к тому же, и это было видно с первого взгляда, без высшего образования. Зато вечером к ним пожаловал настоящий деревенский пьяница, в сапогах, в тельняшке с обрезанными рукавами и с двумя бутылками под мышками. Отрекомендовался гость «соседом Леонидом» и предложил угоститься водкой. Чудомех приглашение тотчас принял, но Симанский какое-то время колебался, памя-

туя, что приехал в деревню «жить настоящей жизнью», что означало для него на тот момент проводить дни в трудах и молитвах. С одной стороны, распитие водки нельзя было отнести ни к трудам, ни к молитвам. Но, с другой стороны, оно — это распитие — являлось неотъемлемой частью народного времяпрепровождения. А потому Симанский недолго сопротивлялся соблазну соседа Леонида.

Когда же они выпили, Леонид стал выказывать любопытство.

— Скажи... Ну скажи мне... — уговаривал он Симанского. — Вот зачем вы сюда приехали?

Симанский начинал про труды и молитвы, но сосед возражал:

— Это мне все понятно. Ты мне объясни, зачем вы сюда-то приехали!..

И они долго ходили по кругу: Симанский все рассуждал про «настоящую жизнь» и про то, что они тоже русские мужики, а Ленька все выпытывал, при чем тут Речные Котцы. А Чудомех слушал и все не мог уяснить: кто из них кого не понимает.

— Сгинете вы, — сказал, наконец, Ленька. — Сгинете оба. Чего вы зимой станете делать? Дров у вас нет, огорода нет, скотины тоже нет — сгинете!

Но Симанский возразил, что дрова они купят, а еще купят корову.

— Какую тебе корову! — хохотал в ответ Ленька. — Где ты коров-то видел? В зоопарке, что ли, в Москве? Тут уж забыли, какие они из себя — козы у всех.

— Ну, козу купим, — нашелся Чудомех. — И дешевле, и ест меньше.

— Ну, положим, козу вы купите, — рассуждал Ленька. — Вона, у Семеновны, цельное стадо! Положим, Семеновна вам продаст. Дык она сдохнет скоро!

— Семеновна?!

— Ась... Дождешься ты от Семеновны... Коза у вас сдохнет — жрать-то ей нечего будет. Чем кормить-то ее станете?

— Чем все, тем и мы...

— Все... У всех сеновалы, сено... А у вас чего? У вас — шиш! — и Ленька для пушей убедительности подставлял волосатый кулак с уродливо вылезавшим грязным большим пальцем под нос то Симанскому, то Чудомеху.

На другой день, отдохнув с дороги и придя в себя после Леньки и водки, Симанский и Чудомех уселись строить планы на будущее. Ленька был прав: чтобы не пропасть зимой, нужно было запастись дровами и набить сеновал сеном. А,

кроме того, решили запастись грибами. Но для грибов было рано, с дровами можно было подождать, а, в крайнем случае, топнуть штакетником или притащить из лесу сухостоя. Первоначально решили заняться косьбой, для чего прикупили в селе две косы и там же отбили их у какого-то умельца. Но снова явился сосед Леонид и объяснил, что до Петрова дня не косят — не принято и стал сманивать на рыбалку.

— Где ее ловить, твою рыбу? — смеялся над Ленькой Чудомех. — В болоте, что ли?

— Зачем в болоте? — обиделся Ленька. — В лесу, километрах в десяти озеро есть. Там рыбы!.. — Он растопырил руки и скрючил пальцы, давая таким образом понять, что озеро кишит рыбами. — Да там... ведрами ловят!..

Симанский и Чудомех привезли с собой снасти и, подумав, решили, что не пропадать же добру, да и рыбу можно на зиму заготовить. А потому вместо сенокоса отправились на другой же день на рыбалку.

Для уточнения времени можно было бы прибавить «на рассвете» или «чуть рассвело», но это оказалось бы ложью, потому что в то время года в тех краях слово «рассвет» исчезает из обихода за ненужностью. Ночное небо остается светлым, точно солнце не уснуло, как зимой, а слегка задремало, готовое в любую секунду подняться. И на востоке розовый край солнечного одеяла всю ночь трепещет под легким дыханием светила.

Ленька завел их в лес, где за сонными еще березами плескалось небольшое, остекленевшее под солнечным светом озерцо с прозрачной водой и песчаным дном, по которому шныряла разная рыба мелюзга. В стороне Симанский заметил старое кострище. Пока шли по лесу, Симанскому все очень нравилось: и воздух, такой душистый, что казалось, кто-то разлил флакон дорогих духов, и шум, производимый птицами, и предвкушение неизвестного лесного озера, кишашего рыбами. И хотелось, чтобы приходили красивые, умные мысли, запечатлевающие чувства. Но в голову лезло что-то нелепое: «Вот где все настоящее... настоящие русские мужики...» Симанский почему-то стеснялся этой мысли. Но ничего лучше выдумать не удавалось. Наконец он сдался и отчетливо проговорил про себя: «Вот где все настоящее, и Россия, и... вообще!» Но тут же устыдился и скосил глаза на Чудомеха, точно опасаясь, не услышал ли тот его сентиментальной думки. Но Чудомех ничего не слышал. Симанский успокоился и стал думать о «настоящей жизни» и о том, что ему, кажется, удалось-таки вкусить от нее. А Чудомех ни о чем не думал.

Выстроились на мостках — Чудомех и Симанский со спиннингами, Ленька с удочкой. Приладили садок. Первым ис-

чез под водой Ленькин поплавок. Ленька на радостях выругался, засуетился, подсек и вытянул щуренка. Под зубами маленького хищника леска лопнула, но щуренок уже бился о покатые бока березовых чурбашек.

— Ты гляди, — радовался и ругался Ленька, — ты гляди-тко! На удочку... и такого зверя! Экой ты, брат!.. Ну, врешь, не уйдешь!..

И щуренка пустили в садок.

Пока Ленька возился со своим уловом, клюнуло у Симанского. И снова щуренок. Потом Ленька достал подлещика. Были еще щурята, окуньки и даже здоровенный, килограмма на полтора, судак. Потом рыба ушла, и стали то, что называется, сматывать удочки. Но когда достали садок, ахнули. Сбоку зияла дыра, и рваные мокрые нити садка, как черви, извивались и шевелились, точно стремясь расползтись в разные стороны.

Тут же на мостках все трое присели рядком на корточки и задумались. Ленька предложил покурить. Чудомех угостился, Симанский поморщился.

— Может, мы одних и тех же рыб по три раза тянули, — задумчиво изрек Чудомех. — Вот они над нами посмеялись...

— Может, наоборот... приятное хотели сделать, — возразил Ленька, выпуская дым.

— Приятное они бы нам сделали, если бы из садка не уплывали...

— Ну, ты их из воды тянул, приятно тебе было?..

— Да вы о ком говорите-то? — досадливо спросил вдруг Симанский.

И все замолчали.

— Ну что, дачники... По домам? — спросил Ленька, поднявшись и растирая сапогом окурки о березовые мостки.

Не разговаривая друг с другом, собрались и поплелись в деревню...

— Делом надо заниматься. Делом... — ворчал Симанский дома. — Мы не по рыбалкам приехали бегать... Нам хозяйство нужно поднимать. А Ленька этот... баламутит он нас...

И Чудомех как всегда соглашался с ним.

На другой день умерла в Котцах одинокая старуха. Говорили, что умерла она «хорошо», то есть до последнего почти дня была на ногах. Явившись помочь, Симанский и Чудомех еще с улицы увидели обтянутую красным атласом крышку гроба, прислоненную к стене дома справа от крылечка. Возле крышки, как на посту, стоял «грузин». В доме толпились и сновали старухи да несколько дедов, один из кото-

рых — ветеран войны — надел зачем-то пиджак с медалями. Покойная лежала в гробу на столе посреди комнаты. Лицо ее было обращено к иконам, под которыми горела лампадка. В противоположном по диагонали от красного угла стоял табурет, а на нем — еще одна лампадка и стакан прозрачной жидкости с куском хлеба поверх. Три свечи горели в головах усопшей, связанной по рукам и ногам белыми платками. Под столом с домовиной лежал зачем-то топор. Симанский разглядел, что у покойной круглое морщинистое лицо, даже по смерти сохранившее добродушие.

— Ну что же ты, Сергеевна, — вдруг пронзительным, визгливым голосом затянула одна из старух, стоявших у гроба, — отмучилась, отбегалась, сердешная...

Тотчас все в комнате затихли, и Симанский догадался, что церемония началась.

— Кто же мне теперь подскажет, соседushко, — подхватила другая старуха рядом, — кто надоумит...

— Самая ты у нас была мудрая, — пропела третья, — уж на что у нас все... а ты-то самая... была...

Старухи у гроба оказались как на подбор высокими и плечистыми, точно гренадеры, и причитали похожими визгливыми голосами, которые как-то не вязались с их фигурами. Тут же стоял Вася-дурачок, раскачивался и всхлипывал постарушечьи. Покойная никем не доводилась ему, но он привык вести себя сообразно минуте.

— А справный гроб-то, Ильинична, — услышал Симанский где-то рядом.

— Дык... Хушь самой ложись, — раздалось в ответ.

— И почем взяли?

Ответа Симанский не расслышал, потому что Ильинична, называя цену, понизила голос.

В комнату вошел отец Алексей, и старухи у гроба перестали причитать. Затих и перестал качаться Вася. Чья-то сморщенная рука сунула Симанскому свечу, и только тут он заметил, что все вокруг держат свечи и зажигают их по цепочке. Чудомех, которого оттеснили в сторону, держал свечу зажженной.

— Благословен Бог наш... — возгласил батюшка.

Началось отпевание.

После чтения Евангелия свечи задули, и комната наполнилась дымом и церковным запахом. Отец Алексей прочитал разрешительную молитву, и несколько старух бросились снимать с усопшей белые платки, которыми были перевиты ее руки и ноги. Платки и листок с молитвой опустили в гроб, как вдруг поднялась в комнате какая-то неизъяснимая су-

матуха. Точно набежавший вдруг ветер поднял волну на жнивьё. Но в следующее мгновение суматоха персонифицировалась, и все вокруг успокоилось. У гроба возникла маленькая старушонка, до смешного контрастировавшая телосложением с плакальщицами.

— Батюшки... батюшки, — испуганно лепетала она и суетливо поворачивалась то направо, то налево, — забыли-то... забыли... Господи, помилуй!.. Погоди-тко...

Приговаривая так, она показывала соседям какой-то небольшой предмет. Симанский разглядел его. Это была вставная челюсть. Вокруг заохали, сокрушаясь, о чуть было не допущенной оплошности, а маленькая старушонка пристроила челюсть в гроб и поправила что-то на усопшей.

Стали прощаться с покойницей, после чего Симанский, Чудомех, Ленька и «грузин» отнесли гроб на погост. А когда первые комья земли с глухим стуком упали в могилу, все вдруг стали бросать туда же монеты, веселый, жизнелюбивый перезвон которых никак не вязался с настроением, приличным обряду.

— Вот сколько раз говорил, — посетовал отец Алексей, оказавшийся рядом с Симанским. — Как в Древнем Египте — чего только не сунут в могилу.. Церковь сегодня, как кон... — он запнулся. — Кон... контистадоры... — должна обращать ко Христу из дикости.

Симанский только усмехнулся про себя на «контистадоров» и ничего не сказал.

После погребения все отправились на поминки, где, судя по тому, как на погосте переминался с ноги на ногу Ленька, как справлялся он то и дело о времени, как нетерпеливо озираясь вверх старушечьих голов, предполагалась обильная выпивка. Симанский, на сердце которого увиденное легло глубоким оттиском, не хотел ни думать о водке, ни являться домой вполздора.

Все казалось так странно, так необычно, что Симанский чувствовал себя как незванный гость, как человек, остановившийся в чужом доме и незнакомый с его порядками. И дело было не в мрачном обряде, но в ощущении огромного, почти непреодолимого расстояния между ним и людьми, которым он хотел стать своим и которые были ему собратьями лишь по названию.

Чудомех не пошел на поминки.

До Петрова дня оставалась еще неделя, а заняться по большому счету было нечем. Решили приступить к покосу, не дожидаясь праздника. Условились подняться в четыре утра,

потому что оба — и Симанский, и Чудомех — знали понаслышке, что косить ходят очень рано, по росе.

Косы то звенели, то взвизгивали, жаворонки журчали над головами. Изысканно-сдержанное северное лето напоминало юную свежую девушку, к волосам и цвету лица которой идет самое скромное, самое неброское платье, а кожа, пахнущая не то арбузом, не то фиалкой, не то еще чем-то нежным и свежим, не нуждается ни в каких самых сладких и чувственных духах.

С непривычки вставать рано гудело в голове, слегка подташнивало и тряслись руки. Но было приятно сознавать себя настоящими русскими мужиками, занятыми настоящим делом, польза от которого очевидна. К девяти часам вернулись домой, и занялись мелкими делами: готовили обед, чистили избу, окосили траву на участке.

И на другой, и на третий день поднимались спозаранку. Суета и перемены прогнали на время хандру. Но Симанский верил, что хождение в народ, старый, испытанный поколениями интеллигентов способ борьбы со скукой вновь не подвел. Если бы и тут он смог остановиться, спокойно подумать, а главное — заглянуть внутрь самого себя, он убедился бы, что в деревню его пригнало чувство, на языке отца Алексея называемое «самостью». Чувство коварное, толкающее на самые нелепые шаги ради испытания себя и ради последующего довольства собой.

В суете и безостановочном верчении проходила жизнь самого Симанского и окружавших его людей. Свое «я» в этом мире негласно считалось высшей ценностью и мерилем всех вещей. Людей было много, и «я» у каждого свое, а потому никто ни с кем не сближался, и все оставались одиноки в большой толпе.

Когда на утро четвертого дня у Чудомеха от непривычного тяжелого труда сдавило вдруг сердце, а перед глазами поплыли темные круги, и пришлось идти в село за фельдшерницей, Симанский поймал себя на том, что вместо сочувствия испытывает досаду, потому что из-за Чудомеха вынужден оставить интересное и приятное дело.

Фельдшерница оказалась дамой нестарой, к тому же одинокой — муж ее прошлым летом сгинул спяну в болоте. Чудомеху она прописала покой и обещала передать лекарство. Два дня Чудомех провел в постели, и Симанскому приходилось ухаживать за ним. Приходила фельдшерница, измеряла давление и поила Чудомеха отваром трав, который приготовляла и приносила сама в железном термосе, пахнущем кофе. От горького, зловонного отвара сводило мышцы лица, но

Чудомех пил и улыбался, потому что ему были приятны знаки внимания этой чужой симпатичной женщины, и хотелось, со своей стороны, сделать что-нибудь приятное для нее.

В праздник Петра и Павла Симанский предложил сходить в церковь. Они пошли, и Чудомех всю службу сидел на скамеечке в углу, а Симанский стоял среди старух. Некоторых из них он узнавал: вон гренадеры, вон маленькая старушонка, нашедшая вставную челюсть, вон Ильинична... Рядом с Чудомехом стояла фельдшерница.

Служба Симанскому не понравилась: старухи то и дело принимались петь дребезжащими голосами, в какой-то момент несколько человек вдруг повалились на колени и уткнулись лбами в пол, и на незнакомой старухе прямо перед собой Симанский невольно разглядел коричневые чулки в рубчик и гипюровый край белой комбинации, какие носила еще его бабушка. Мысли Симанского разлетелись, и он стал думать, откуда у деревенской старухи комбинация; должно быть, много лет назад одарили городские родственники, и, оставаясь по сей день предметом роскоши, комбинация покидает сундук только по большим праздникам. Когда отец Алексей стал говорить проповедь, Симанскому показалось, что обращается батюшка к нему лично. Симанскому это не понравилось, и слушал он проповедь с раздражением.

— ...Апостол Петр, — говорил отец Алексей, — повел себя самонадеянно, сказав Господу: «Аще и вси соблазнятся о Тебе, аз никогдаже соблазнюся». Но не пропел петух дважды, как трижды отрекся Апостол. Так бывает со всеми, надеющимися на себя, но не уповающими на Господа... Каждый из нас, братья и сестры, создан по образу Божию, но не все решаются, преступив чрез собственные похоти, встать на путь богоуподобления. И хоть мы знаем: ничто вне этого пути не может успокоить нас, мы часто влачимся стезей удовольствий, выгод и самолюбования...

Чудомеху было все равно, он вышел из церкви и забыл, зачем входил в нее. Но Симанский все думал, как может этот отец Алексей — необразованный, пропахший кухней, с торчащей во все стороны бородой, как у лешего, — как может он научить чему-то или подсказать. Что он знает такого, чего не знает или не может узнать Симанский, чего нет в книгах, доступных образованным людям. И выходило, что надобность в отце Алексее может быть, единственное, у старух — созданий еще более темных и невежественных. А если Церковь прямо не говорит об этом, то стоит она на лжи. Да и не может стоять ни на чем другом, поскольку даже первокласснику известно, что все эти батюшки не так давно служили палачам, против которых боролись товарищи Симанского.

Через два дня после праздника Симанский один отправился косить. Но, придя на прежнее место, увидел, что всю скошенную ими траву кто-то собрал и вывез. Это обстоятельство так поразило Симанского, что он тотчас вернулся домой и во весь оставшийся день не мог приняться ни за какое дело.

А Чудомех был даже против обыкновения весел и чувствовал себя значительно лучше...

Лето подходило к концу, и отец Алексей освятил яблоки в храме. В садах цвели астры. Небо стало высоким, а дожди — холодными. И делалось почему-то грустно от нового запаха, пропитавшего воздух. Зима, наступлением которой пугал Ленька, еще только приближалась, а Симанский уже выдохся. С хозяйством не ладилось, кто-то унес со двора пару алюминиевых ведер, кроме дров никаких запасов сделать не удалось. Как зимовать и чем жить в деревне, Симанский не знал. В последнее время он снова хандрил и чувствовал себя обманутым. Народ оказался не тот, и церковь тоже не та. Народ — груб и темен, церковь — бестолкова и лжива. И, как ни странно, думы о хозяйстве нагоняли скуку, и лишь при мысли об отце Алексее Симанского переполюняло жгучее, сотрясающее чувство, которое сам он определял как гнев праведный.

Как-то, не глядя Чудомеху в глаза, он сказал:

— Поеду-ка я... домой съезжу. Своих повидать. Да и так... Вещи надо теплые... зима близко.

— Да, зима близко, — вздохнул Чудомех.

— Поедешь со мной? — разглядывая носки своих сапог, спросил Симанский.

— Нет... я уж здесь... Чего мне там?..

Симанский уехал. И больше в Речные Котцы не возвращался.

С тех пор минул год. На Святках почил отец Алексей, и на его место прислали из епархии молодого священника. Ильинична стала хворать, и церковной старостой избрали Семеновну, у которой, как говаривал Ленька, «цельное стадо коз».

Несколько раз молодой батюшка, снедаемый ревностью по дому Божию, а потому подмечавший и всякий раз пересчитывавший немногочисленных прихожан своих, обращал внимание на одну пару не из деревенских — невысокого роста, застенчиво-улыбчивого мужчину и худенькую строгую женщину в модных очках. Что ни делал мужчина в храме — осенял ли себя крестом, подходил ли к иконе — делал он по примеру, а то и по указке своей спутницы.

Батюшка поинтересовался у Семеновны, и та поведала, что это «фершалица со своим мужем-москвичом».

— Фамилие у него еще такое... — наморщила нос Семеновна, — усмарное... Мех, что ли, какой...

— Мех?... — удивился батюшка.

— Ну да... Ну да... — закивала Семеновна. — Мех. Вроде как... хороший.

— Кто хороший?

— Дык... Мех... Фамилие такое: Хороший мех...

Но батюшка не стал вдаваться в подробности оноματοлогии. Ему захотелось перекинуться словечком с земляком — батюшка и сам был москвич, но пересечься вне храмовой службы не удавалось. Наконец они встретились у сельского магазина. Был обеденный перерыв, и, поджидая продавщицу, они разговорились. Батюшка первым представился, и в ответ услышал:

— Виктор Чудомех...

Усмехнувшись про себя над диковинной фамилией, батюшка поинтересовался, правда ли, что собеседник его приехал из Москвы. Собеседник оказался словоохотливым и подтвердил, что в прошлом году, имея перед собой неясные цели, перебрался вместе с товарищем в Речные Котцы. Но после женился и обосновался в селе. Товарищ же вернулся домой и теперь, слышно, издает в столице свою газету.

— Газета оппозиционная, — улыбнулся Чудомех.

— И кому же он себя противопоставляет? — улыбнулся в ответ батюшка.

— Власти. И... церковному официозу.

Но, заметив, как насторожился батюшка, Чудомех пояснил:

— Это он сам так определяет. Сошелся с какими-то людьми и вот... увлекся.

— А как называется? — любопытствовал батюшка.

Чудомех назвал, и батюшка ахнул — газета и редактор хорошо были ему известны. На страницах газеты вчерашние диссиденты обвиняли Патриархию в экуменизме и одержимости. В Церкви газету считали еретической и не раз обращались к главному редактору с призывом перестать баламутить людей. Но редактор не унимался, и все последующие публикации были злее и дерзостнее предыдущих.

— Неймется людям, — вздохнул батюшка.

— Он все искал чего-то... — попробовал вступиться Чудомех. — Я вот тоже... не сказать, чтобы шибко верующий... так... за женой больше...

Вернулась с обеда продавщица. Поправила полной рукой

мохеровый берет, из-под которого выбивалась крашенная челка, облизнула красные напмаженные губы и принялась отпирать дверь. К магазину стали стекаться люди.

— Да, — снова вздохнул батюшка. И ни к кому не обращаясь, прибавил: — Лишь бы себя выше всех выставить...

Веселин ГЕОРГИЕВ (*г. Москва*)

ВЫСОКИЙ ВЯЗ

Одно тоненькое облачко, оторвавшись от глубокого неба, крылышком ласкает горизонт. Осень. Она погружает в прохладные объятия золотистой листвы. Перелетные птицы тянутся стаями на юг. Стада разбрелись по полям и ущельям. Лишь высокий вяз раскинул мощные ветви, будто руки великана, стоит гордо, незыблемо и, как хозяин, возвышается над селом.

Будильник у нас давно перестал тикать, а бабушка позабыла разбудить, и я опаздываю. Поэтому, даже не умывшись, схватил сумку с книжками — и бегом. Добежав до площади села, смотрю — глашатай дядя Сандо, высокий, худощавый, двумя палками бьет в барабан, его окружают крестьяне, выскочившие послушать новые распоряжения власти. Кому-то от них становится не по себе. «Распоряжение номер 103, — читал дядя Сандо. — Власть сообщает населению к сведению и исполнению, что завтра в наше село приезжает немецкая команда, которая будет расквартирована в школе. Управа наша в обязательном порядке призывает всех сельчан относиться уважительно и почтительно к немецким офицерам и солдатам. Они, как говорят, наши друзья, союзники и защитники от красной чумы. Второе, не менее важное. Объявляется дополнительный сбор крепких лошадей и жирных свиней в помощь немецкой армии, которая (а тут уже не читая, от себя, кажется, добавляет, еще громче крича) с неременным успехом воюет с дедом Иваном. (А все знают — «дед Иван» — это Россия, освободившая Болгарию из-под турецкого рабства.) Ладно, проживем — увидим, кто кого. Будем надеяться, что победа за нами...» В конце сообщения всегда крикнет: «Во имя Гитлера и его величества царя Бориса!»

Странным человеком был этот дядя Сандо. Отец рассказывал, что он — переселенец из белгородских сел. Крепко

ему досталось за участие в Сентябрьском антифашистском восстании 1923 года, в тюрьме сидел, потом в шахтах работал, где-то еще скитался, годы шли, а он — бездомный холостяк, неприкаянный — ни кола, ни двора.

Несколько лет спустя дядя Сандо приехал с группой жнецов в наше село. Жал, копал, еще что-то делал, собирался уже обратно, откуда пришел, но неожиданно влюбился в девушку, ответившую не менее горячо. Все как в сказке! Злая мачеха прогнала девушку из отцовского дома, ведь к ней сватался богач. Молодожены стали обрабатывать чужие земли, через год построили себе домик на краю села. Мало что доставалось им от заработанного: хозяину — всю муку, им остаток — отруби. Но дяде Сандо повезло устроиться подручным в имении старосты села. Через год пришла и в их домик большая радость: жена родила мальчика. Крестили Борисом по имени дедушки, который, все же вопреки злой мачехе, выделил внуку кусок земли вместо приданого дочери. Но добро не остается без ударов зла. Змея укусила мать Бориса, змея — из самых ядовитых. Дядя Сандо козьем молоком кормил малыша, нянчил как мог, брал с собой, когда пахал или пас скотину, не оставляя одного. Из сверстников только сын старосты, прозванный нами Шишко, насмеялся над ним, а иногда беспричинно и колотил. Мы с Борисом были не разлей вода, сидели ни много ни мало три года за одной партой.

Вижу издали: директор — на ступеньках школы, а ученики, скопившиеся в скверике, притихли и слушают. До ушей долетают последние слова: «Я сказал все, повторю самое главное: снимать шапку при встрече с немецким офицером или солдатом, не шляться возле школы без дел, строго соблюдать вечерний час, за нарушение распоряжения — строгое наказание!. А теперь за работу! Под руководством учителей школа должна приобрести совершенно новый вид!»

Откуда-то приволокли два портрета Гитлера — один повесили в кабинете директора, другой красовался в коридоре наряду с болгарскими писателями и просветителями. Работали допоздна. Директор добился своего, конечно, с участием старосты. Школа засверкала со всех сторон. Теперь можно было принимать «дорогих гостей» и заслужить похвалу от высших городских чинов. Пускай так думает управа, а нам даже хорошо — лишние денечки погуляем.

Назавтра слышим рев мотоциклетных моторов, грохот грузовиков. И страшно, и любопытно увидеть, как выглядят «фрицы» (так звал их Борька), узнать, что делается на школьном дворе, в классных комнатах? Учитель говорил нам, что немцы — люди как люди, любезные, любящие болгарский

народ, что они борются за справедливость, скоро победят, и наступит мир и благоденствие на земле.

Было еще и другое, что разжигало наш интерес: слышали, что немецкие солдаты — щедрые, бросают детям пригоршнями конфеты.

Вот мы, мальчишки, не теряя времени, собрались на поляне за школой, где совсем рядом, за колючим забором возвышался наш любимый вяз, и, как обычно, стали играть в мяч. Вроде играем, но так, что один глаз — в мяч, другой — в школьный двор. Глазеем на немцев и скрыто наслаждаемся: верно, они, оказывается, хорошие люди — высокие, стройные, с желтыми пуговицами на кителях и погонах, с блестящими сапогами, и самое удивительное впечатление — переломленные кресты на рукавах и груди. Что бы это значило? А немцы гуляют себе по двору, как дома: одни смеются громко, другие топчутся возле машин, третьи — крутят ствол орудия, целясь в небо. (Потом узнали — зенитка. Американские самолеты бомбили не только Софию. Попадали бомбы и в другие города, и даже села). Как бы нас все ни забавляло, в то же время мы испытывали досаду — немцы не замечали нас, хотя мы пинали мяч чуть ли не под их носами. Увы — ни капли внимания, о конфетах и мечтать не приходится, а мы так надеялись — слухи-то шли... Тогда Перка, еле тянул на тройки, выдумщик и заводила, сказал заговорщицки: «Ребята, разве непонятно, что, играя в мяч, нам конфет не видать? Не попробовать ли Циркачу показать свой коронный номер — прыжок с вяза?» Циркачом был я. Так меня окрестили за мои акробатические номера. Я мог делать флик-флак, сальто, ходил на руках, а в последнее время с верхушки вяза стал опретью скользить вниз, перепрыгивая с ветки на ветку до самой земли. «Циркач, давай!» — закричали друзья в один голос. Видимо, всем хотелось сладкого. Недолго думая, я полез на дерево, не забывая, как два года назад упал с орехового дерева. У нас в поле рос большой орех. С малых лет я очень любил залезать на него. Родители, как волы, потеют под солнцем, а я сижу на ветке и созерцаю оттуда, что делается вокруг. Когда мне исполнилось девять лет, отец говорит мне: «Ванька, вот тебе шест, залезай на дерево, сам будешь сшибать орехи!» Сшибал я, сшибал, да ветка, на которой я стоял, вдруг хрустнула — я полетел вниз. Не разбился — земля была вспаханной, но ушибся до синяков.

Между тем я залез на самую верхушку вяза, уселся на последней ветке, как аист, собиравшийся вить гнездо. Снизу ребята кричат, свистят. Одни говорят: «Прыгай!» Другие: «Подожди малость, пока не привлечем внимание немцев!» Я

жду. Сверху мне лучше видно, что делается в школьном дворе. Вот немцы повернули головы, вот — смотрят... Я закричал: «Готов, готов прыгать!» Хватаюсь за тоненькие ветки, скользя по более крупным, я полетел вниз. Стоп — перед глазами пустота в три метра: от ветки — до земли! Прыгаю, и... все — ноги чувствуют твердь. Ребята умышленно громко поздравляют меня, словно я прыгнул с луны. Один немец, что был у зенитки, двинулся к нам. Остановившись у ограды, сделал знак, чтобы мы подошли к нему. «Это — тебя! — толкали меня ребята. — Иди, не упирайся, как осел на мосту!» Одолев страх, встал перед немцем, как провинившийся школьник, а он улыбается и бормочет: «Гут, гут, кинд!» Потом из-под проволочной сети сунул что-то в мою руку. Оказалось, большую шоколадку, которая мне и не снилась. Я разломал ее, разделил на ровные дольки, раздал друзьям — и стал сосать-жевать. Перка первым проглотил свою дольку и, облизываясь, произнес: «Я никогда не брал на зуб шоколад! Надо же — вкуснее конфет! Но... маловато! На каждого бы — по одной!.. Циркач, — обратился он ко мне, — прыгай еще раз!» — «Хорошо», — ответил я и снова полез на дерево. Смотрю — плац пустой. Но скоро из школы вышел солдат, подошел к забору, бросил небрежным жестом пригоршню конфет и тут же удалился. Мы, как маленькие воронята, не выдавшие брынзы, бросились собирать с земли конфеты. Перка покрикивал громко: «Надо же — правду говорят, что немцы хорошие люди: и шоколад дали, и конфет подбросили». На что Борька ответил задумчиво: «Не будь Ваньки со своим опасным прыжком, нам бы не видать сладостей, как своих ушей без зеркала».

С Борькой мы пошли в наш дом. Он любил ходить к нам после игр или школы, потому что на столе всегда было что поесть. Не оттого ли, что вырос без матери, он был угрюмым, неразговорчивым, нелюдимым. Мальчики из богатых семей приставали к нему, издевались, что, мол, ходит в заштопанных штанах и рваных ботинках, обзывали «глашатай», а он лишь отвернется и скажет: «И на нашей улице солнышко глянет, а на вашей — сядет.» Что хотел сказать этим, никто толком не задумывался, но, кажется, он вкладывал в них какой-то особый, тайный смысл. Иначе почему Борька учился отлично, что больше всего на свете радовало его отца, дядю Сандо? А вот когда мы учились в четвертом классе, на перемене играли в «перепрыг-лошадь», в игру впервые включился Шишко, но так как он был толстяк и неуклюжий, то, перепрыгивая через Борьку, споткнулся, упал и разбушевался: схватил деревянную дворничью лопату и врезал Борьке по

спине. Тот не остался в долгу и, выхватив лопату, ударил по ногам. Шишко взревел и, хромя, побежал жаловаться своему отцу, старосте. Вызвали дядю Сандо из имения, привели и Борьку. Староста приказал работнику наказать провинившегося сына — двадцать палок по голой спине. Отец отказался.

Старший полицейский Джомбол так старательно выполнил приказ вместо него, что Борька две недели стоял в классе на ногах, до того были посечены его ягодицы. А дядю Сандо выгнали из имения, не оплатив за труд последних месяцев. Стал маяться: как свести концы с концами, чем кормиться? Но тут старый глашатай скончался, и началась война. Новостей хоть отбавляй, а некому разглашать. Пробовали одного, другого — не годятся. Дядя Сандо вспомнил свою армейскую жизнь — был барабанщиком в оркестре полка. Пойти ли — не пойти предложить себя, — очень колебался. И решил допытаться у людей: что посоветуют? Пошел он к старосте, сказал: «Я могу!» — «Марш отсюда! — закричал гневно тот. — Такого вшивого бунтаря, сидевшего в тюрьмах, на государственную работу не беру! Это тебе не пахать, не пасти стадо, и то еще не могу простить себе, что нанял тебя в имение!» Думали-думали и, не находя более желающих, все же назначили дядю Сандо глашатаем. Таким образом, он стал общинным служителем и, как заметил Борька, вошел в доверие властям. «И зачем ему это доверие?» — спросил я. — «О, дружок, — улыбаясь, сказал он, — мой отец — не случайный человек, ты ничего не знаешь о нем. А может, и слышал: отец был борцом против фашизма, но об этом теперь лучше не вспоминать — времена такие...» — А при чем тут времена?» — спросил я. — «Война — вот те и времена! Ты знаешь, кто наши настоящие враги — русские или немцы? Ничего не знаешь, но придет день, — говорит, — и ты, как и многие другие заблужденные, узнаешь истинную правду...»

Мы были увлечены играми, работой в поле, чтением книг. Немцы занимались своими делами: то исчезали из школы на несколько дней, то возвращались. Случалось, подбрасывали нам сладости, но все реже. Директор школы, конечно, из кожи лез вон, чтобы угождать гостям, каждое утро подвозя им в бидонах парного молока и освежеванного мяса. Двое полицейских крутились вокруг школы по ночам в придачу к немецкому часовому. Но фронт был далеко, и мы, мальчишки, мало что соображали — где, когда и что делается в мире? А вот болгарские партизаны были рядом — в ближних лесах, и нагоняли страх на фашистские власти и полицейских, которые гонялись за ними, считая их врагами народа.

Это было к вечеру — мы вернулись с поля, отец распряг волов, и я повел их поить к ближней речке. Из соседнего дома выскочил Перка, подошел ко мне и со слезами на глазах, весь дрожа, заговорил:

— Ванька, произошло самое страшное!..

— А что именно? — вздрогнул я.

— Не знаю, как тебе рассказать, как описать! — замялся он, вытирая слезы.

— Да говори же!

— Очень плохо, браток! Хуже не бывает! Борька свалился с высокого вяза и...

— И... что?

— Сломал себе шею... Умер на месте!.. Понимаешь?

— Да ты что? Этого быть не может! — не поверил я. — Что ты болтаешь? Брось эти шутки! — все еще не доходило до ума.

— Какие там шутки, правду говорю! Никто этого не ожидал, но случилось — нет больше Борьки! Жалко очень, жалко, был хорошим парнем и... вдруг — потеряли!

Для меня это было как гром с ясного неба, как нож в ребра, голова закружилась, сердце заколотилось, еле удержался на ногах, но успел спросить:

— Расскажи!

— Опять собрались сегодня к обеду и начали играть в мяч, надеясь, что немцы подбросят чего-нибудь сладкого. Играем мы, ноль внимания, они лишь тебя признают. Послали Гошку позвать тебя. Бабушка сказала, что ты в поле. В какой-то момент, смотрим, к нам идут двое солдат. Кажется, выпившие, потому что слегка покачивались, что-то болтали, громко смеялись. Остановились они недалеко от дерева и стали руками звать к себе. Подошла вся компания. Тот, кто повыше ростом, поднял руку, указывая на дерево, что-то сказал, а мы — ни слова по-немецки, только хлопали глазами — чего им от нас? Тогда тот, кто пониже, подошел вплотную к дереву, обнял его двумя руками, потом стал делать какие-то знаки, все еще непонятные нам. Другой немец вытащил из кармана большую шоколадку и стал махать перед нашими носами и опять указывать на верхушку дерева. У нас слюнки потекли, но стоим, не шевелясь. Первым догадался Гошка: «Кажется, они хотят, чтобы сделали коронный номер Циркача. Я, к примеру, пасую, потому что выше рогожи не лезу!» Не только Гошка, сам понимаешь, никто из нас не хотел рисковать. Перепуганные, мы потихонечку стали отступать, повторяя: «Мы не можем! Только Циркач, но его — нет!» Однако в этот момент высокий немец схватил Борьку за руку и стал тянуть его к вязу: «Лезь!» Мы подумали, что Борька со

страху наложит в штаны. Но ошиблись. Он надменно, с презрением посмотрел на немцев и обратился к нам: «Не бойтесь, ребята! Я прыгну. Покажем им, что мы — не трусы!» Ну, я не могу точно повторить, что он говорил, примерно так. И полез на самую вершину, как ты. Мы затаили дыхание, немцы отошли в сторону, чтобы лучше наблюдать. Борька уверенно спустился до опасного места: прыг! Потом мы увидели его летящим вниз головой, с веткой в руке. Упал и... все. Мы подбежали — ничем нельзя было помочь... Немец бросил шоколад, и оба быстрым шагом удалились. Завтра — похороны.

Густой туман залил мне глаза. Забыв волов и все на свете, как сумасшедший, побежал к дому друга.

Назавтра хоронили Борьку. За гробом, в черном трауре шли десятки сельчан и все ученики школы. Несчастный отец, убитый горем, не доходя до кладбища, упал в обморок — пришлось везти его на телеге.

А потом я и друзья Борьки в течение почти месяца каждое утро ходили на кладбище, окружали маленькую могилку, снимали шапки, зажигали свечки, а слезы лились, как из источника. Дядя Сандо всегда был тут... Он стоял, сгорбившись, неподвижный, безмолвный, небритый, с сухими, глубоко утопнувшими в орбитах глазами, словно памятник, высеченный из черного мрамора. Да и жилец ли он без сына? А меня терзала совесть из-за собственной вины, ведь будь я в тот злополучный день на поляне, мой друг не погиб бы! Это я виноват!

Староста многократно посылал полицейского призвать дядю Сандо к своим обязанностям: барабанить и сообщать новости, но он словно оглох, никого не хотел слушать.

Не прошло и месяца после смерти Борьки, село потрясло еще одно страшное событие. Ночью был убит ножом немецкий часовой, а на его груди нашли записку: «Смерть фашизму! Победа! Свобода! Сандо». Немцы расвирепели. Сельская управа во главе со старостой бесилась. Вся окружная полиция была мобилизована на поиски Сандо, но тщетно. От ярости и бессилия староста приказал сжечь его дом, но это ему не помогло. Из-за убитого немца начальство сняло его с работы и заставило заплатить большой штраф.

Вскоре немцы укатили неизвестно куда. Война была далеко, но мы, мальчишки, были связаны с ней невидимыми нитями и уже научились понимать, где друг, а где враг.

ДВА РАССКАЗА

НАСЛЕДНИКИ

Ивана разбудил телефонный звонок. Его звон разносился в пустой квартире особенно громко. Иван с неудовольствием поднял голову и, не открывая глаз, попытался дотянуться до телефона. Сегодня была суббота, и он хотел в этот день как следует выспаться. По тому, что на кухне не звякала посуда, он понял, что жены дома не было. Наверное, вышла в магазин. Иван надеялся, что телефон позвонит немного и отключится, но звонок, прервавшись на мгновение, зазвучал вновь.

Иван крикнул и раздраженно схватил трубку.

— Ваня, — услышал он слабый, тихий голос, — заболела я. Хочу тебя попросить привезти мне лекарства.

Он узнал сестру Зинаиду. Чего это она вздумала звонить? После смерти матери они почти не общались. Встречаются только в день памяти мамы на кладбище, да и то совсем не разговаривают. Так, легкий кивок и скользкий взгляд в сторону. Зина, правда, несколько раз пыталась заговорить, но Иван лишь молча качал головой. Не хотел он с сестрой общаться, и все тут. Да и было за что. Так он считал.

Ну, Зинка, ну змея. Мать так окрутила, что та только ей одной и подписала свою однокомнатную квартиру. Будто Иван и не сын был ей вовсе. А ведь знала, что ютятся они впятером на небольшой жилплощади. Иван, правда, сыном был не очень заботливым. Навещал родителей редко, а когда мать перебралась жить к Зинаиде в деревню, то и совсем перестал приезжать. Отца он потерял еще в детстве, рано стал самостоятельным, работал, потом женился, так что не до визитов ему было.

Сестра жила в деревне, замуж вышла поздно, за вдовца с ребенком. Вот эту девочку и воспитывала, своих не завели. Муж ее заболел вскоре после начала их совместной жизни, да помер. Мама тоже крепко перебаловала. Тяжело ей приходилось в городе. Квартира на шестом этаже, без лифта. Магазин, аптека — все далеко. Она и поехала к Зине. У Ивана к тому времени сын уже женился, привел невестку, та, как водится, вскоре родила. Вот и приходилось тесниться всем вместе в стандартной двушке, с крошечной кухней и прихожей. Бывало, обуви понаставят, не перелезешь.

Вот тогда Иван и рванул в деревню. Мать уже на ладан дышала, квартира нужна как воздух. Надеялся на мать Иван крепко. Ему она должна ее отписать, больше никому. Не бу-

дет же она приемной Зинкиной девчонке квартиру дарить. Ну, на худой конец, на двоих с Зинаидой дарственную оформит, а уж они по-родственному столкнутся. Не успел он тогда. Приехал, а Зинаида белугой ревет.

— Мамаля померла, — кинулась к брату, обхватила за плечи.

Полетели дни в хлопотах: похороны, поминки. А когда немного опомнились да с делами разобрались, Иван сразу решил брать быка за рога.

— Зин, мой Валерка будет в маминой квартире жить. Невестка только родила, кругом пеленки-распашонки, а у меня сама знаешь какая теснота.

— Да нет, Ваня, — Зина как-то странно на него посмотрела, — маманя ведь квартиру мне подписала, вернее Марусе. Она ведь инвалид с детства, зрение у нее плохое. А в прошлом году замуж вышла, тоже беременная. Вот мама ей квартиру и отписала. Они уж и вещи туда перевезли. Маруся маманю нашу очень любила. А как мама заболела, Маруся от нее ни на шаг не отходила. Я на работе, а она ее как малое дитя: и накормит, и постель перестелет, и воды подаст.

— Так пусть она у мужа и живет, — завелся Иван, — он откуда? Из деревни. Им, слепым, в деревне самое место. Нет, всё в Москву лезут.

— Так ведь учится она, а муж ее работает.

— Это что же такое получается, — вскипел Иван, — ты, выходит, матери дочь, а я никто? Тебе, значит, все, а мне фигу с маслом.

— Ты не сердись, Ваня, — Зина вскинула на него грустные глаза, — мама ведь считала, что ты крепко на ногах стоишь. Работаете с женой, квартира у вас неплохая. И Валерочка твой работает. А Маруся, она что? — она же убогая, больная. Вот маманя и хотела ее порадовать.

Кровь ударила Ивану в голову. Забыл, что давно уже не ездил к матери. Да что не ездил, простым разговором по телефону не больно-то радовал. Все некогда да недосуг. Но сейчас раскричался, аж побелел весь.

— По справедливости надо. Попролам. Я тоже сын законный. Ишь, вы за моей спиной спелись, ничего не сказали.

— Так как сказать-то, Ваня? — всхлипнула Зинаида. — К нам ты не ездил, а на телефонные звонки всегда жена твоя, Нина, отвечала. Нет, мол, его или занят. А маманя все время тебя ждала. Хотела поговорить с тобой, столковаться.

— Ну и змея ты, Зинка, — грохнул кулаком об стол Иван, — раз так, знать тебя больше не желаю.

— Да Господь с тобой, Ваня, — кинулась к нему Зина, — не хочу я, что б промеж нас обида сидела. Переоформим квар-

тиру, съедет Маруся. Будут тут со мной жить. От нас до Москвы недалеко, приспособятся как-никак. А там Валерочка пусть живет.

— Не надо мне от вас никаких подачек, — кричал Иван, — пошли вы все...

С тем и уехал. Уж Нина ругала его, на чем свет стоит.

— Ну и дурак ты, взял и отдал квартиру своими же руками. Зинка же предлагала тебе ее переоформить. А ты что?

— Да там квартира доброго слова не стоит, — отмахивался Иван, — однокомнатная, и район плохой. Валерка не захочет там жить. Они, молодые, сама знаешь, с какими претензиями.

— А тебе что за дело? Сдавали бы, всё деньги лишние в карман, — не унималась жена.

Иван, глядя на нее, тоже распаялся. Ругал и Зинаиду, и мамане доставалось. Но ехать к Зине наотрез отказался.

— Видеть ее не хочу, — сказал жене, как отрезал.

А тут, ишь, объявилась, да еще названивает.

— А что же Маруся твоя лекарства не привезет? — ехидно спросил он.

— Маруся в больнице лежит, — прошелестела Зина, — после операции совсем себя худо чувствует.

— Наказал вас Бог, — злорадно прокричал в трубку Иван, — за то, что так со мной поступили.

— Да мы тебе хоть сейчас квартиру отдадим. Я тебе и тогда об этом говорила, — Зинаида говорила через силу, видно было, что ей очень плохо.

Хлопнула входная дверь, пришла жена.

— С кем это ты? — с порога спросила она.

— Зинка звонит, — прикрыл ладонью трубку Иван, — плохо ей с сердцем, просит лекарства привезти.

— А ты что, «скорая помощь»? — рассердилась Нинка. — Перебьется.

— Да была у нее «скорая», лекарство выписали да уехали.

— Ну и дурак будешь, если поедешь, — громко крикнула жена, рассчитывая, наверное, чтобы Зинаида услышала.

Иван все-таки собрался. Под злое шипение жены надел теплую куртку, шерстяные носки, на шею намотал мохеровый шарф. До Зинкиной деревни от шоссе автобусы не ходили, и приходилось километра два топтать пешком.

По дороге на вокзал зашел в аптеку, купил нужные лекарства. Покупал, а сам пытался унять злобу, которая черными клубами поднималась внутри. Зачем он едет? Пускай бы лежала там одна, никому не нужная. Ладно, он поедет к ней, да только для того, чтобы еще раз в глаза высказать ей все. И

квартирку, конечно, заберет. Он, Иван, все права на нее имеет. У Зины есть дом в деревне, а Маруся ей не родная. Как ни крути, его это квартира.

От станции, как и предполагал, Иван шел пешком. И как назло, ни одной попутки не встретил. Погода, правда, была замечательная. Даже злость куда-то делась. В ярко-голубом небе светило зимнее солнце, освещая шапки снега на верхушках сосен. Иван попытался скатать снежок, но снег рассыпался в ладонях. Морозно.

Зинин дом стоял в середине деревни. Многие дома были заколочены, другие перестроены под дачи. Иван обмел сапоги веником, стоящим у порога, подивился, что дверь у Зинаиды не заперта, вошел в дом.

Зинаида лежала на кровати возле печки. Из высоких подушек виднелось только худое остроносое лицо.

— Ну и холодина у тебя, — крикнул Иван.

— Два дня не топлено, — прошептала Зинаида, — мочи нет встать.

— Что ж в больницу не поехала? — покачал головой Иван. Злость опять закипала в нем.

— Не взяли, говорят, мест нет. Лекарства прописали, да вот купить некому. В деревне-то, почитай, никого не осталось.

Промолчал Иван.

По-хорошему, надо было печку истопить, да поесть что-нибудь сварганить. Наверняка у сестры маковой росинки во рту не было, но Иваном управлял гнев.

Он огляделся, увидел полку с иконами, на цепочке перед полкой висела потухшая лампадка.

— Поняла теперь, что неправильно вы с маманей поступили? — недобро усмехнулся Иван. — Бог шельму метит. Понавешала икон, а сама обмануть брата захотела.

Зинаида с трудом встала, свесила с кровати ноги, потом размашисто перекрестилась.

— Видит Бог, не хотела я плохого. Маманина это воля. А квартиру ты забирай, Маруся не против. Только не сердись, я Бога за тебя молю. Нет ведь у меня никого. Ты да Маруся. Да и та заплوشала, — Зинаида засморкалась, низко опустив голову. Руки ее, сжимающие край одеяла мелко подрагивали.

Зинаида опять легла, закутавшись в одеяло, устало прикрыла глаза. Иван заметил, что по щеке у нее пролегла мокрая дорожка. Эти слезы и Зинино смирение совсем распалили его.

— И возьму, — закричал он, — что, думаешь, не возьму? Я тебя по гроб жизни не прощу. Я и приехал сегодня, чтобы

сказать тебе это. А так бы ни за что не поехал. Помирай здесь.

Сказав эти страшные слова, Иван швырнул пакет с лекарствами в угол, и громко хлопнув дверью, вышел. Он шагнул по стылрой зимней дороге и пытался оправдать свой поступок. «Подделом ей, — думал Иван, — пусть знает, что я о ней думаю».

Иван некстати вспомнил, как Зина в первый год его учебы частенько подбрасывала ему денег. Жили они бедновато, отца не было, а Зина к тому времени уже работала. Вот и баловала младшего брата. То рубашку ему купит, то ботинки. Ну а деньги всегда совала, жалела. Потом уже, когда он женился на Нине и появился Валерка, Зинаида нянчилась с мальчиком, давая молодым отдохнуть по вечерам и воскресеньям. Иван вспомнил вкусные Зинины пироги, которые она привозила им из деревни, когда уже переехала туда жить, и банки с вареньем и соленьем, и ее ласковые взгляды и слова. Он, считай, до самой своей женитьбы делился с сестрой всеми своими сокровенными мыслями. Знал, что всегда поддержит, утешит.

Зря, наверное, он так. Ведь худо ей совсем. Лежит одна в холодной хате, и некому даже воды подать. Иван остановился, поглядел на спускавшееся к горизонту солнце, потом повернулся и пошел назад.

Зинаида стояла на коленях перед иконами, низко уронив голову. Она что-то шептала, и на стук двери даже не обернулась. Глядя на худенькие сестрины плечи, на ее совсем седые волосы, прикрытые теплым платком, дрогнуло сердце Ивана, заныло, заболело. Да что же это он? Зверь, что ли? Ведь родные они, кровь-то у них одна. Иван почувствовал, что он совсем не злитя на Зину.

— Где дрова у тебя? — громко спросил Иван. — Я что-то не нашел.

Зинаида радостно вскинулась, и бледное ее лицо немного порозовело.

— Так ты больше не сердись на меня? — Зинаида немного задыхалась. — Видно, дошла моя молитва до Господа.

— А чего сердиться? — пожал плечами Иван. — Да и не нужна мне квартира. Валерка скоро себе свою купит, а нам с Ниной и нашей хватит.

Он подхватил сестру под руку, помог ей дойти до кровати. Когда печка уже разгорелась и в кастрюльке аппетитно булькал куриный бульон, Иван увидел, что Зинаида спит. Он прикрыл ее поверх одеяла старой шалью и стал стелить себе постель. Затем немного подумал и зажег лампадку.

Дождь лил не переставая. Туча опустилась низко над землей, и крупные капли щедро поливали кусты, низко опустившие свои ветви к самой земле, пригорки с пожухлой травой на вершинках, пыльную дорогу, в один миг ставшую грязной и непроходимой. Дождь упруго хлестал по плечам сидевшего на корточках старика, стекая за шиворот холодными каплями.

Он, казалось, не замечал ничего вокруг: ни дождя, ни порывистого ветра, ни ледяных струек, текущих по его спине. Не отрываясь, он смотрел на свеженасыпанный холмик земли, на одинокую ветку сирени у подножия могилы, вбитую хлесткими струями в глину, и по его щекам, смешиваясь с дождем, текли слезы.

Наконец старик тяжело поднялся и, не оглядываясь, побрел прочь, машинально обходя заросшие травой и мелким кустарником могилы, покосившиеся кресты, памятники, проржавевшие оградки.

Кладбище было старым и заброшенным. Когда-то здесь хоронили умерших со всей округи, но постепенно местность безлюдела, теперь уже в соседней деревне остался всего один жилой дом, а разъехавшиеся в разные концы родственники не спешили к своим похороненным здесь когда-то предкам.

В избе старик, скинув сапоги у порога, прошел на кухню, тяжело опустился на стул, уронив голову на большие заскорузлые ладони. Никогда не думал он, что придется хоронить ему жену, всегда гнал от себя эти мысли и хотел, что если уж придется помереть, то пусть он будет первым.

Он привык к тому, что Клавдия всегда рядом, близко, возится во дворе, созывает кур, кормит пса Листика, хлопочет по дому. Старик привык просыпаться под тихое позвякивание посуды: знал — Клавдия уже встала и готовит немудреный завтрак: яйца, чай, блины с творогом. Вечером, укладываясь спать, старик слышал, как жена шептала молитвы, стоя перед иконами в углу комнаты. Он привычно беззлобно ворчал: «Ну, опять завела свою Аллилуйю». Клавдия молча оборачивалась, глядя на него грустными, полными укоризны глазами. Старик кричал и отворачивался к стене.

И вот теперь Клавдии не стало. Сгорела в одночасье. Однажды утром не встала с постели. Лежала бледная, тихонько постанывая.

— Ты что это, мать? — спросил старик.

— Да в груди жар сильный, уж так жжет, сил нет.

Старик принес жене кружку воды. Пошел на двор, надо насадить деревянные черенки на лопаты. Весна, хоть и по-

здняя в этом году, требовала каждодневных забот: вскопать грядки, посеять, посадить овощи. Третьего дня, просматривая инструмент, старик заметил, что ручки лопат уже слабы, пришла пора заменить. Заготовки для ручек дед еще вчера принес из лесу. Срубил несколько тонких молодых елочек, ошкурил и вот теперь старался приладить черенок к лопате. За жену особенно не беспокоился. У нее и раньше случались такие приступы. Отлежится денек-другой и опять за дела.

Солнце припекало все сильнее, становилось жарковато. Старик решил выпить квасу, Клавдия несколько дней назад поставила, наверное, созрел уж. Зашел в избу, прислушался. Тишина. Налил квасу. Ядреный. Всегда у Клавдии хороший квасок бывает. Уж как Андреевна, соседка бывшая, ни старалась, все равно такой не получался.

— Ты, наверное, Клав, слово знаешь? — с обидой спрашивала она, — вроде бы все так делаю, а вкус все равно не тот.

— Конечно, знаю, — смеялась в ответ Клавдия, — у меня одно слово «Отче наш...»

Андреевна в сердцах махала рукой и уходила.

— Постой, — кричала в след Клавдия, — возьми баночку на крошку.

Теперь уж некого угощать, в прошлом году перебралась Андреевна в город к сыну, да слышно было, живет теперь в доме престарелых, не нужны сейчас старики детям — лишняя обуза. Из всей деревни один их с Клавдией дом и остался. Хотели и они было двинуть в город, все легче: и магазины, и аптека рядом, да посчитали и махнули рукой. Свою избу не продашь, придется заколачивать, а в городе квартиру купить тоже не на что. Так и остались здесь доживать век.

Старик набрал кружку квасу для Клавдии, заглянул в комнату. Клавдия лежала высоко на подушках, лицо как мел, рука откинута. Что-то показалось ему странным, старик подошел поближе, наклонился и кружка, выпав из разом ослабевших рук, покатила по полу.

Сердце будто зажали в стальные тиски, и такая тоска вдруг скрутила, что почти два часа просидел старик неподвижно, неотрывно глядя на жену. Как же это? Что же теперь? Как жить-то? Он перевел взгляд на темные лики икон.

— Ну вот, — прошептал он скорбно, — молилась, молилась вам, а вы и не помогли.

И слезы впервые полились из глаз. Старик плакал, плакал по-настоящему, плакал так, как не плакал уже давно, с послевоенных лет, когда, будучи подростком, узнал о том, что пропавший без вести отец на самом деле погиб под Киевом еще в самом начале войны.

С трудом поднявшись, старик отправился в соседнюю деревню, где еще теплилась жизнь, проживало семей двадцать. Там находилась местная власть, еще дышал на ладан перестроенный в годы перестройки колхоз, и трактористы в перерывах между пьянками кое-как пахали, засевая маленькие заплатки земли, оставшиеся от былых плодородных полей. Остальная земля пустовала, зарастая мелким кустарником. Скотины народ почти не держал, и земляца крестьянину оказалась не нужна. А ведь были времена, когда ругались на чем свет стоит, а то и дрались за каждую межу, за ближний удобный покос.

В сельской администрации помогли с телеграммами дочерям, пообещали дать людей, и вправду не обманули, наутро пришли трое мужиков. Выкопали могилу, сколотили гроб.

— Давай, дед, ставь литруху. Помянем твою хозяйку.

Пока мужики пили во дворе, дед обмыл, как мог, Клавдию, достал узелок с одеждой. Как-то, развешивая белье для просушки, жена сказала:

— Как помру, вот это мне одень, а то, случись что, похоромишь, в чем была.

— Ну, замолола, — рассердился старик, — сказать, что ли, нечего.

Не думал, а вот и пришлось обряжать Клавдию, неумело, трясущимися руками, без конца сглатывая слезы. Мужики отправились домой, пообещав прийти завтра, помочь с похоронами.

Старик всю ночь просидел около гроба, ждал — может, приедут дочери. Хоть и далеко забралась, так уж, поди, получили телеграммы, а доехать теперь быстро можно, это не то, что раньше, — все больше на подводах да пешком.

Старик вспомнил, как родилась первенькая — долгожданная Олюшка. Как они радовались, наглядеться не могли на девчонку. А она росла крепкая, трудолюбивая, уж, почитай, с пяти лет бегала к матери на ферму, помогать с дойкой. А уж такая ласковая, от Клавдии ни на шаг не отходила, уж всю обцелует, обласкает и на просьбы отзывчивая.

— Ну, Клав, — скажет, бывало, Андреевна, — тебе-то уж есть с кем век доживать. Уж больно твоя Ольга улизливая, мать-то не бросит, подаст на старости лет стакан воды.

Через пять лет родилась Танюшка. С ней-то пришлось намаяться. Болела часто, слабенькая была. Клавдия не раз с дочерью в больнице в районе лежала, да дома без конца лечила: травами да растирками.

Бог дал, выросли дочери, уехали учиться, замуж повышли да разъехались кто куда. Ольга в Сибири, а Танюшка аж в

самой Москве живет. Первое время домой часто ездили, а потом не дозовешься. Да и то сказать, в деревне ведь отдохнуть некогда. С самой ранней весны страда за страдой. Не успеешь с посадкой управиться, как сенокос подошел, да и огород каждодневной заботы требует. Почитай, одну картошку за лето надо несколько раз прополоть да подрыхлить. Вот дети в один голос: «Зачем вам это надо, что мы вам картошки да капусты не купим?». Клавдия, бывало, аж руками всплеснет:

— Да разве ж виданное это дело, чтоб земля пустовала?

— Да кому она нужна — эта ваша земля? Сейчас в магазинах всего завалишь.

Вот и весь сказ. Можно понять, если б зятья это говорили: они городские, деревню, поди, только на картинках да в кино видели. Но ведь девки с малых лет к труду приучены, знают, как вкусна рассыпчатая молодая картошечка, только что выкопанная из грядки, и как до одури пахнет свежескошенная трава на лугу. И за какие деньги можно купить духмяную, всю в маленьких каплях росы землянику, принесенную рано утром из лесу? Дочки любили ее есть прямо с веточки, запивая парным молоком.

Так нет, теперь все в Турцию да в Египет к басурманам ездят. Писали как-то, уж так там хорошо, так красиво. А разве для русского человека может быть что-то лучше, чем лес, начинающийся сразу за порогом родного дома, чем прозрачная, холодная речка с обрывистыми берегами, да ромашковое поле, светящееся в полдень белым маревом.

Поди, и на похороны не придут, они и к живой матери не больно-то стремились, а уж к мертвой и подавно. Помнится, заболела Клавдия, сердце уже тогда давало о себе знать: одышка мучила, голова болела, слабость. А рано утром надо было на ферму сбежать коров подоить, да свою скотинку обиходить — тогда и поросят, и корову держали, птицы полный двор. Он-то с утра в лесхозе, жене не помощник. Говорил, правда:

— Вызови ты девок, пусть месяцок поживут, все полечче тебе будет.

Клавдия отмахивалась:

— У них свои семьи да работа, обойдусь как-нибудь.

Старик, однако, написал Ольге: «Так и так, приезжай, мать болеет, поможешь, да и скучает она сильно». В ответ почтальон принес денежный перевод. Клавдия тогда сильно радовалась: «Смотри, Николай, видно, чувствует дочь, что мне плохо». Не стал он ничего говорить Клавдии, пушай порадуется.

Так и доживали вдвоем, никого в гости не дожидаясь. Питались в основном с огорода: картошка своя, капусты вдоль. Клава и огурцы на зиму засолит, грибов, варенья полно, благо лес рядом. Хлеб в печке пекла. Ну а за лекарствами да

еще за чем старик в район ходил, километров восемь — путь хоть и не близкий, да все леском — красота. Ну а скотинку уже, почитай, годков пять как не держат. Тяжело стало, да и то сказать, в деревне одни они остались — сено привезти, картошку с поля — все на себе. Только курочек и оставили.

За окном брезжил рассвет, в сиреневых кустах, мокрых от росы, заливались соловьи. Так же пели они в тот год, когда поженились Николай с Клавдией. Жили в одной деревне, вместе войну перебыли, а по-настоящему обратил на нее внимание Николай, как пришел из армии в начале пятидесятых. Невысокая, худенькая, с лица вроде бы неброская, а лучше ее не было для Николая никого. Поженились весной, в конце апреля, и весь месяц пели для них соловьи, и Николай охাপками носил молодой жене сирень. Уж ее-то особенно любила покойница.

Старик как-то по-детски всхлипнул, изо всех сил желая продлить этот весенний рассвет, чтобы подольше побыть рядом с теперь уже умершей женой. Но в сенях застучали сапогами, загомонили пришедшие вчерашние мужики.

— Ты что ж, Петрович, и не ложился? — спросил один из них. Старик знал его еще по работе в лесхозе, работал он на пилораме, а потом перешел в колхоз. — Ты не горюй, все там будем. Дочери не приехали? Ну ладно, сами управимся. Только это... похмелиться бы...

Старик выставил бутылку, сходил за молодым лучком. Ровные грядки радовали глаз ранней зеленью. Все успела Клавдия: вот и морковка пробивается, зимовой чеснок вымахал — загляденье, в теплице подрастают огурцы. Зарастет теперь огород без хозяйки.

— Петрович, — окликнул его тот же мужик, — ты что же, теперь здесь останешься или к дочерям в город пойдешь? Наш председатель тебе просил передать, если какая неустойка у тебя выйдет, то он может похлопотать в районе и устроить тебя в дом для одиноких. Думай...

Старик только крикнул в ответ, прошел в избу. Остановился около гроба, взглядываясь в лицо жены, как бы спрашивая у нее совета. Словно почувствовав что-то, он поднял голову. На него со стены смотрели скорбные глаза Клавиного Бога.

— Что глядишь, — потерянно прошептал старик, — знаю, что не нужен теперь никому, придется идти в казенный дом. Что же Ты Клавдию не уберет? Лучше бы уж я помер, — опять обратился он к изображенному на иконе Спасителю. Бог с иконы смотрел на него грустно, как бы сочувственно, и впервые старик не почувствовал привычного раздражения, глядя на иконы, а, наоборот, ему становилось легче, казалось, что Бог слышит его горе и хочет помочь. Только чем ему теперь

поможешь, Клаву-то не вернешь. Неужели ему одна дорога теперь — в дом престарелых? Как же так — при живых детях. Правильно ли это? Да и дом жалко. Неужели все бросить? Яблоневый сад. Корявые старые деревья еще помнят отца, да несколько вишенки они с Клавдией посадили. В урожайный год яблок не знали куда девать, из вишен Клава компот варила да варенье. У крыльца две рябинки: одну он принес из леса в год рождения Ольги, другую — Танюшки. В последние годы разрослись, полыхали осенью оранжевыми ягодами на радость птицам. В сараюшке полно березовых дров. Сухие, стукнешь полено об полено — звон стоит. Зимой потрескивают в печи — запах лесной на всю избу. Да и куда он поедет от Клавдии, от матери с сестрой, все могилки теперь рядом. Приедут и дочери, не может быть, чтоб не приехали.

Тоска железной рукой схватила старика за горло. Плакать не мог, дыхания не хватало. Руки дрожали, в голове шум, ныла раненая нога — в детстве попал осколок при бомбежке. До последней минуты ждал, что приедут Ольга с Татьяной. Понапрасну. Не приехали.

Так вот и вышло, что провожать Клавдию в последний путь было некому. Подвыпившие мужики скорым шагом понесли гроб на кладбище, старик еле поспевал за ними, по пути успел только сломать одну ветку сирени с куста, что растет у калитки. Туча налетела неожиданно, мужики наскоро забросали могилу землей, старик толком и проститься с женой не смог, и ушли. Расчет получили заранее и теперь спешили укрыться от дождя, да и выпить не мешало. Уж больно дело это хлопотное и не совсем приятное.

Дома старик долго сидел у стола, пока не затекла нога да не захотелось пить. Встал, шагнул к ведру с водой. Под ноги метнулась кошка. Хотел было поддать ей как следует, да вспомнил, как любила Клавдия кошек, все, бывало, разговаривает с ними, поглаживает ласково.

— Зачем обижаешь животных? — сердилась она на мужа, когда тот скидывал кошку со стула, а то и поддавал ногой.

Кошка забилась под стол, боясь выйти. Старик вытащил из кастрюли сваренную накануне картошку, положил в миску, залил молоком и поставил перед кошкой. Пусть поест, может, нескоро придется полакомиться.

Он нащупал в кармане пачку папирос, потянулся за спичками. Клавдия, правда, гоняла его за курево. Выпивал старик редко, не любил, а вот курить пристрастился еще во время войны — мальцом был, да и догляда никакого: отец на фронте сгинул, мать — день и ночь в колхозе работала, и с тех пор дымил нещадно.

— Бросил бы ты эту гадость, — не раз просила его Клавдия, — нехорошо это, грех, да и для здоровья вредно.

— Выдумаешь тоже, — ворчал старик, — с каких пор курю и ничего.

Сейчас он по привычке помял папироску в руках, поднес зажженную спичку, и будто увидев перед собой укоризненные глаза жены, быстро смял, и выбросил ее в печку.

Нога ныла и ныла. Всегда вот так неожиданно начиналась его болезнь. Кажется, Клавдия в таких случаях давала ему какие-то таблетки и мази, да где теперь это все отыскать, где она держала лекарства, он не знал. Обычно неделю, а то и две приходилось лежать ему в кровати, нога не давала ничего делать, поднималась температура, и только жена травами да компрессами смягчала боль. Не дай Бог, и на этот раз нога разболится, тогда уж придется ему лежать как колчушке без движения, помирать заживо.

— Ну вот, — поднял он опять глаза на иконы, — наверное, и правда пора мне собираться. Видать, без больницы не обойтись, а там что Бог даст.

Волоча ногу, достал рюкзак, сложил туда рубашку, майку, вытащил из амбарного ящика кусок сала. Подумал немного, потом снял с полки икону, бережно завернул в белый Клавдин платок и тоже положил в рюкзак.

Внезапно закружилась голова, старик сел, а затем и прилег на кровать и сразу провалился в глубокий сон. Он увидел себя: будто стоит он на главной улице деревни. Народу кругом, как в давние времена, когда всей деревней справляли Троицу. Высыпали из домов и стар, и млад. Все нарядные, веселые. Поет, заливаются гармошка, в кругу пляшут бабы. Вот и Клава вышла, взмахнула рукой, закружилась в танце. Платье на ней нарядное: по белому полю рассыпаны красивые желтые цветочки, на плечах шаль с кистями. Улыбается ему ласково, зовет, тащит в круг. Вдруг солнце скрылось, потемнело кругом, громыхнул гром. Бабы, ребяташки — все врассыпную. Не успел старик оглянуться, остался один на пустой пыльной дороге, и только вдали за поворотом мелькнул подол белого Клавиного платья...

Через два месяца старик умер в районной больнице.

*Материалы рубрики «Писательское братство»
подготовила Марина ПЕРЕЯСЛОВА*

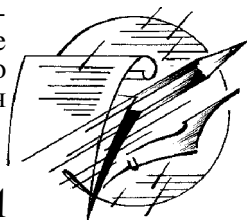
НЕ СОГЛАСЕН!

Поскольку все прогнило (включая мозги), то диктатуре придется быть щедрой на розги. Иногда лучше выпороть прилюдно, чем в тюрьму сажать. Впрочем, стадо останется стадом. Только научится знать границы дозволенного. А страну и нацию всегда держит «ведущий слой» — аналог дворянства, аристократии. Образование этого слоя и должно быть результатом диктатуры.

Андрей Савельев («МГ» №9, 2010)

Андрей Савельев — умный и талантливый человек, это видно по его статье «Где выход из либерального тупика?», опубликованной в порядке дискуссии в девятом номере журнала «Молодая гвардия» за 2010 год. Но, как говорится, на всякого мудреца довольно простоты. Закралась она, на мой взгляд, и в эту его статью. Об этой «простоте» и пойдет далее речь.

Начну с его рассуждений о равенстве и неравенстве людей. Он пишет, что люди не равны по своим способностям, и это на самом деле так. Они не равны и по своей физической силе, и в умственном, и в нравственном отношении, и во многих других отношениях. Но разве можно поставить после этого точку? Или, вернее, разве можно исходить только из этого, осмысливая должный характер их отношений?



ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Из неравенства людей по их способностям никак не следует их неравенство по их ценности. Младенец, еще не способный ни накормить себя, ни обмыться, не равен по своим способностям своим родителям. Но по своей ценности он нисколько не меньше их. Ради его спасения родители нередко жертвуют собою, т.е. оценивают его жизнь дороже своей собственной.

Вот тебе и способности. Они решают далеко не все. Есть в человеке нечто такое, что выше всех его способностей.

Главная ценность человека в том, что в нем запечатлен образ Божий. И этот образ известен во всей его полноте лишь самому Творцу. А насколько он раскрывается в том или ином человеке в ходе его земной жизни — зависит от многих причин, силу которых мы не в состоянии измерить. И даже перечислить их полностью мы не можем. А потому для нас всякий человек, не только самый высокий духовно, но даже божж, опустившийся до скотского состояния, есть тайна, проникнуть в которую нам не дано. Проникнуть в нее нам не дано, но знать о том, что она в нем есть, мы обязаны. Иначе — какие мы христиане?

Если до евангельского взгляда на человека дорастает обещество, то оно оценивает каждого своего члена не только по его способностям, но и по той его ценности, которую он представляет для Бога. А если для Бога, то, следовательно, и для нас. Хотя мы сами, повторю еще раз, понимаем ее, в лучшем случае, лишь близоруко. Но, тем не менее, знаем, что она есть.

Поэтому члены действительно христианского общества не мелочны, они не завидуют никому и не заботятся о том, чтобы не прогадать при обмене с другими людьми плодами своих трудов. Они великодушны в своих отношениях не только потому, что знают, что Бог возвратит им сторицей в вечной жизни все недоданное им людьми на этой земле. Но, главным образом, потому, что уже здесь, на этой грешной земле, они познали радость высших отношений между Богом и людьми, радость высших отношений людей между собою.

Можно считать, что ничего высшего в человеке на самом деле нет. Что Бог и вечная жизнь — это лишь иллюзии человека. Но в этом случае он, если он мыслитель, сознает бессмысленность своей жизни. Своей и всякой чужой. И все его лучшие способности оказываются ненужными. А они у него есть. Но откуда они, если в мире действительно нет ничего высшего? Это внутреннее противоречие мыслителя подталкивает его к вере в Бога.

Если же человек не мыслитель, то он, утратив веру в Бога и вечную жизнь, сосредотачивается на выгодах своей земной

жизни и старается не упустить из них ничего. Он становится эгоистом, по-своему умным, старающимся высчитать в любой ситуации свою выгоду и действовать в соответствии с нею.

Если таких эгоистов немного, то они не меняют характера общества. А если процесс их умножения, в силу каких-то причин, закрепляется в обществе, то оно начинает рушиться изнутри, оставаясь по внешности до времени как бы благополучным. Или, что одно и то же, оно скользит в нравственном отношении все ниже. При этом умы его членов становятся все более приземленными, все более плоскими. Жить в таком разлагающемся обществе становится, в конце концов, тяжело не только тем, кто сохраняет в себе высокий строй души, но даже самим эгоистам. И это еще одно свидетельство в пользу того, что Бог есть. Если с угасанием веры в Бога общество начинает гнить и превращается в подобие зловонной помойной ямы, то о чем-то это, конечно, говорит.

Но оценить по достоинству ни первое свидетельство в пользу того, что Бог есть, ни второе эгоист не способен. А почему? Потому что его высшие мыслительные способности скованы его эгоизмом. Он может лишь чувствовать низость мира, в котором живет, но не может понять ни причин этой низости, ни, тем более, способа выхода из нее в мир высокий. Если сам Бог не откроет ему глаза.

Ошибка Савельева в том, что он в своем рассуждении об обществе проигнорировал, вопреки своей православной вере, богообразную природу человека. Сказал о людях лишь половину правды, а вторую половину не заметил в гневе на пассивность русского большинства, не откликающегося на призывы своей национальной элиты. Или не захотел заметить.

А в результате его мысль оказалась ложной и тем опасной для русского национального движения. Она создает ложное представление о нации. Если оно закрепится в русских головах, то сделает невозможным русское национальное единство. Русское население останется расколотым на бессильное его меньшинство и не способное его понять русское большинство.

Чтобы создать основу для взаимопонимания между русскими людьми в вопросе об их равенстве и неравенстве, нужна формула более емкая.

Сочетание внутреннего равенства людей с их внешним неравенством — вот условие их гармонии.

Не будет внешнего их неравенства — не будет иерархии, а без иерархии не будет согласия между людьми. Каждый будет, как говорится, тянуть одеяло на себя. Без иерархии невозможны ни брак, ни семья, ни община, ни нация, ни государство. Без иерархии невозможно никакое общество, даже самое низкое и преступное.

Но если в отношениях между людьми будет только зависимость низших членов иерархии от высших — исчезнет их свобода, исчезнет их разум, исчезнет их нравственность. Исчезнет их достоинство. Исчезнет сам человек. Или, точнее, он станет подобием робота, выполняющего безупречно указы, идущие сверху.

Сама вершина иерархии при таком уподоблении людей роботам заболит, потому что полнота ее жизни возможна лишь при полноте жизни всего целого, которое она возглавляет. Не будет полноты обратных связей, идущих снизу вверх, и голова обезумит. А ее безумие довершит катастрофу общества.

Сама по себе иерархия недостаточна. Она будет ложной, во-первых, в том случае, если не будет подчинена источнику всякой правды — Богу. И, во-вторых, если не будет учитывать реальности образа Божия в людях, равняющего мужчину и женщину, взрослого и ребенка, царя и крестьянина, вождя и ведомого вождем.

Стремление упростить общество, учитывать в нем лишь те закономерности, которые приятны оценщику, и не учитывать другие, ему неприятные, это причина возникновения ложных учений об обществе. Правильное учение может вырабатываться людьми лишь постепенно, по мере их духовного взросления, и лишь сообща, при оценке общества со всех сторон, чтобы не было обиженных ни в одной их категории. Чтобы каждый голос был услышан и оценен соборно.

Вторая ошибка Савельева связана с первой и является ее развитием. Она в его противопоставлении элиты народа его большинству, которое он называет даже «стадом» и советует воспитывать посредством розог.

Без элиты, как и без иерархии, общество невозможно. Все дело в том, какая это элита, хорошая или плохая. Если плохая, то это не настоящая элита.

Подлинная элита народа сознает свое духовное родство с его большинством. Она не идеализирует его, но и не бросается в противоположную крайность. Она знает его недостатки и пороки, но знает и его достоинства, которые исчезают с поверхности его жизни в условиях его геноцида. С поверхности исчезают, но сохраняются в его глубинах.

Подлинная элита народа не надмевается над его большинством с его приземленными знаниями и неразвитым мышлением. Она ценит не только лучших в своем народе, но и худших. Или, точнее, тех, кто ограблен духовно ложной организацией общества и потому неотличим по внешности от действительно худших.

Подлинная элита не идеализирует и себя. Она сознает не только вину своего народа за его нынешнее состояние, но и свою собственную вину.

А в чем она, эта вина?

Кому, как не нашей элите, было возможно распознавать и распознать причины вымывания из русского народа его национального сознания? Причины скольжения русского народа к его нынешнему состоянию? А она до сих пор их не распознала.

Кому, как не ей, было возможно выработать понятные и сильные для русского большинства способы его самоорганизации — и на личном уровне, и на уровне брака и семьи, и на уровне национальной общины, и на уровне всей нации в целом?

Кому, как не ей, было возможно разъяснять русскому большинству необходимость стягивания русских в русские собрания по месту их жительства с целью взаимоподдержки и совместного самообразования? Такие собрания стали бы школой не только для русских умов, но и для русских характеров, ныне тоже разрушенных безбожием и космополитизмом. Такие собрания стали бы следующей ступенью, после возрождения русской семьи, в самоорганизации русского народа. Они стали бы зародышами будущих русских национальных общин.

Кому, как не нашей национальной элите, следовало разъяснять русскому большинству способы создания таких русских собраний? И самой давать пример, организуя их в своей среде?

Если же наша элита не додумалась до такой простой вещи, как необходимость самоорганизации русского народа снизу, то какая же она элита? И как она может жаловаться на то, что русское большинство ее не понимает?

Без самоорганизации русского народа снизу никакое действительное его возрождение невозможно. Без развития в самых простых русских людях самостоятельной русской мысли и навыков русской самоорганизации не спасет их даже самый прекрасный вождь. Потому что они останутся в его руках простым строительным материалом. А когда прекрасный вождь умрет или его убьют, то они опять обнаружат свое полное бессилие.

Третья ошибка Савельева — отрицание им социализма. Он отвергает всякую социалистическую идею как совершенно чуждую якобы христианству. Но это как посмотреть. В Евангелии сказано: «Не судите по наружности, но судите судом праведным» (Иоан. 7, 24).

Если судить по внешности, то в христианстве нет ничего не только о социализме, но и о национализме, сторонником которого Савельев является. А если судить судом праведным, то окажется, что национализм, т.е. любовь к своему народу,

не противоречит ни любви ко всему человечеству, ни, тем более, любви к самому Богу.

Если апостол Павел хотел быть отлученным от Христа, т.е. оказаться в аду ради спасения своих братьев по плоти, т.е. израильтян (Рим. 9, 3), то, значит, любовь к своему народу не противоречила нисколько его любви к Богу. Но он был правильным еврейским националистом, потому что Бога любил больше своего народа. И был послушен до смерти своему Богу, а не своему хоть и любимому, но спятившему с ума народу.

Как известно, бывает правильный национализм, но бывает и неправильный. И точно так же обстоит дело с социализмом. Здесь тоже надо судить не по внешности, а судом праведным. И тоже отличать правильный социализм от его искажений.

Главной мыслью едва ли не всех разновидностей социализма является мысль о недопустимости эксплуатации человека человеком. А из этой мысли следует необходимость правильного общества, в котором такая эксплуатация невозможна.

Но что же в этой мысли принципиально нехристианского? Наоборот, это самая что ни на есть христианская мысль.

Правда, христианство смотрит на задачу искоренения в обществе эксплуатации более широко и более реалистично, нежели многие социалисты. Оно признает эксплуатацию человека человеком следствием их грехопадения, а потому считает, что до тех пор, пока люди не исцелятся полностью от греха, это зло до конца неискоренимо. Но поскольку оно есть зло, то ограничивать его необходимо, насколько это в человеческих силах.

А насколько это в человеческих силах? Это куда более трудный вопрос. Историческое христианство смотрело сквозь пальцы и на рабство, и на крепостное право, и на многие другие виды формальной и неформальной эксплуатации людей. И не только потому, что забывало о том, что эксплуатация есть грех. Но главным образом потому, что были другие проблемы, не менее важные, решать которые одновременно невозможно.

Можно ли, например, обновлять ветхие крепостные стены города во время его осады? Нельзя. А можно ли настаивать на отмене крепостного права ценою конфликта Церкви и государства? При неравенстве материальных сил Церковь в этом случае не добилась бы ничего, но зато очередной погром ее государством был бы обеспечен. Вот тут и думай.

Но то же самое было и в обществах нехристианских. В других несколько формах, но по существу то же самое. То же

самое было и в советском атеистическом обществе, которое было, как думают его апологеты, вполне социалистическим.

Справиться с несправедливостью в отношении между людьми оказалось не так легко, как думали когда-то социалисты. Гладко было, как говорится, лишь на бумаге...

И, тем не менее, никакая практика не могла угасить мысль, выраженную сильнее всего именно в социалистических учениях. Необходимо справедливое общество. И не только справедливое, но, как стало понятно потом, способное совершенствоваться быстрее, чем совершенствуется материально и организационно альтернативный ему мир — мир денег, царство маммоны, капитализм. Если справедливое общество отстанет в соревновании с капитализмом в научном и техническом отношении, то последний разрушит его и создаст на его месте такое бесчеловечное псевдообщество, какого не было еще никогда в истории. А почему?

Начавшись с чисто экономической эксплуатации людей, капитализм должен, по логике своего развития, закончить перестройкой самой человеческой природы — упразднением в ней образа Божия и выращиванием в человеке образа более или менее бесовского. Только-то и всего. И тогда царство маммоны будет обеспечено на все времена.

Вот до каких размеров выросла тема капитализма. Не говоря уж о том, что вырос масштаб создаваемой социалистами эксплуатации. Если первые социалисты думали только об эксплуатации одних сословий другими, то теперь стало понятно, что при капитализме неизбежна эксплуатация большинства народов их меньшинством. А для удобства и надежности этой эксплуатации руководителям капиталистической системы нужно лишить народы национального их сознания. Т.е. разрушить эти народы. Разрушить частично даже паразитическое их меньшинство, а эксплуатируемое их большинство разрушить до самого основания. Чтобы оно, рассыпанное на человеческие атомы, не связанные между собою ничем, кроме материальных выгод, стало бессильным и не способным сопротивляться власти этих руководителей.

Если раскрыть тему капитализма по-настоящему, то окажется, что интересы не только правильных националистов и правильных социалистов, но и правильных христиан совпадают. И не только в том отношении, что капитализм уничтожит их всех, если дать ему волю. Но и в том еще отношении, что все они невозможны друг без друга.

Подлинный националист не может не быть подлинным социалистом, потому что угнетение одной части народа дру-

гой его частью есть явное отрицание идеала всякого подлинного национализма — духовного единства нации, гармонического сочетания всех ее частей.

Не может и настоящий социалист не стать настоящим националистом, потому что социалистическое общество, из которого вымыты ценности нации, национальной общины и семьи (а они взаимосвязаны органически и потому разрушаются друг без друга) — это социализм каких-то инопланетян, имеющих совсем другую природу, нежели наша человеческая. Наша природа связана неразрывно с ценностями семьи, своей национальной общины и своего народа. Таковую ее создал Бог.

А из сказанного о маммоне, этом непримиримом противнике Бога, следует, что людям, для спасения их человеческой природы, нужен Бог, нужна правильная религия, связывающая их с Ним и дающая им главные ориентиры в их жизни. Без которых они не могут правильно созидать себя на всех уровнях своей жизни, от лично-семейного до национального и государственного. Без этих главных ориентиров они не способны понимать правильно даже саму идею справедливости, этот идеал социалистов.

Но не только правильным социалистам и правильным националистам нужна правильная религия. Самой религии, чтобы исцелиться от ее исторических немощей, нужны истины правильных националистов и правильных социалистов. Эти истины не посторонние для нашей Церкви. Они в ее глубинах, из которых и следует их извести. Как пошедшее в рост семя изводит из себя заключенные в нем возможности.

Чтобы созидать правильное общество на земле, надо знать его врагов и его главного врага. Это знание помогает его создателям правильно ориентироваться. Но Савельев не называет капитализм по имени в качестве строя жизни, противоположного праведному строю. А почему?

Может быть, он догадывается, что его анафемы социализму (и даже христианскому социализму) существенно обесценились бы для людей, если бы они знали подлинную природу капитализма?

Если бы Савельев назвал капитализм по имени, то ему пришлось бы рано или поздно дать и его определение. Пришлось бы сказать, что капитализм — это такой социальный строй, при котором частная собственность господствует над общественной и, следовательно, определяет характер общества. Пришлось бы и уточнить, что в обществе господствует в этом случае не мелкий лавочник и даже не владелец громадных промышленных предприятий, а монополизированный бан-

ковский капитал. Он-то и делает погоду сегодня на современном Западе. Как и в любой стране, если она оказалась в зависимости от него. Этот мировой капитал может, если захочет, разорить не только любого лавочника, но и любого промышленного магната. Как он разорил в свое время автомобильного короля Генри Форда.

Но и это еще не полная правда о капитализме. Чтобы она приблизилась к полной, пришлось бы сказать, что мировой капитал, получивший господство в обществе, определяет не только его хозяйственный строй, но и культурный, а вслед за культурным и политический строй.

Вот такая это опасная тема. Заговоришь о капитализме — и у читателя возникнет вопрос: Если капитализм так страшен, то как же нам с ним бороться? Какой социальный строй нам нужен, чтобы капитализм нас не разрушил? Монархический?

Но монархический строй — это политический строй, а не социальный. Монархия была и в рабовладельческом обществе, и в феодальном. Некоторые монархии сохранились и в капиталистическом мире. Возможна монархия и при социализме. Поэтому, сама по себе, она не спасительна. Свидетельством чему тот факт, что все христианские монархии были разрушены капитализмом или превращены им в простые декорации, лишенные собственного содержания.

Спасительно общество более совершенное по сравнению со всеми бывшими в истории. Поэтому оглядываться назад нужно не в поисках идеала, а лишь для того, чтобы лучше понять те ценности прошлого, без которых правильное общество будущего невозможно. Оглядываться назад нужно еще и для того, чтобы разглядеть внимательнее те социальные болезни, которыми извращались общества прошлого и которые использовал капитализм для разрушения этих обществ. Знать эти болезни нужно, чтобы не допустить их в свое правильное будущее.

Но нужно не только брать все лучшее из нашего прошлого. Нужны новые ценные мысли, каких не было в нашем прошлом и нет у нас в настоящее время. Необходимо постоянное совершенствование нашей мысли о человеке и обществе. Но новые мысли нужны не ради их новизны, а ради того, чтобы победить капитализм и закрепить навсегда эту победу.

Наша сила в правильности наших идей и в нашей способности выражать их понятно для большинства наших соотечественников.

Народ должен знать, какими базовыми чертами должно обладать правильное общество. Если он их не знает, то и бо-

роться за него он не может. А если не может, то делай с ним что хочешь. Он будет, в лучшем случае, протестовать, не зная, ради чего он, в конечном счете, протестует. Но такие протесты бессильны.

Сколько раньше было святых. Однако при всем их множестве они не спасли христианскую цивилизацию от загнивания и гибели. А христианская цивилизация — это не Церковь и не собрания верующих в Иисуса Христа. Христианская цивилизация — это бывший некогда политический материк, на котором располагались государства, признававшие своей высшей ценностью истины Евангелия. Признававшие их искренне или формально, но признававшие. Теперь таких государств нет. Теперь на их месте выросли мнимо либеральные государства, тоталитарные по своей сути, обнаруживающие, чем дальше, тем откровеннее свою ненависть к Христу.

Значит, дело не только в личной святости людей. Личная святость и стремление к ней — это основа общества. Это его фундамент. Но при всей его важности фундамент еще не дом. Чтобы дом стал домом, должны быть и крепкие стены, и крепкая крыша. Нужны двери и окна. Нужно и многое другое.

Так и общество. Чтобы оно стало полноценным обществом (хотя бы, как говорится, в первом приближении), недостаточно не одного только религиозного вероучения, ни одной только социальной идеологии и не одной только национальной идеологии. Нужно соединение их всех. Но соединение не всякое, а только такое, когда каждая правильная идея находится на своем месте и работает на все остальные. А все остальные работают на нее.

Как назовут эту более совершенную идеологию наши потомки — мы не знаем. Сам я ее называю зрелой русской национальной идеологией. Хотя можно назвать и зрелой православной идеологией. Или зрелой социальной идеологией. Или, может быть, как-то иначе.

Важно, чтобы ее суть была правильно понята, по возможности, всеми, и чтобы эта зрелая идеология распространялась русскими и не русскими людьми, помогая им всем правильно соединяться с учетом их религиозной и национальной принадлежности в правильные народы, противостоящие сообщу мировому капитализму.

ВОЗВРАТИТЬСЯ К СЕБЕ

(О книге М.Я. Лемешева «К воскрешению России»)

Россия создавалась государственниками, а рушилась либералами. Либерал всегда будет за «свободу для всех», достигая сразу двух целей: ослабления ненавистного ему русского народа и свободы движения капитала, так что, вынув деньги из сельского хозяйства и перебросив их в более выгодное дело — ну, хоть разведение крокодилов в Анголе, останется при барыше; а вы там хоть помирайте. В итоге, либерал сумеет воспользоваться «свободой для всех» себе на пользу и ослабит тех, кому она во вред, т.е. добьется *преимущества*. Ибо истинной целью либералов никогда не бывало равенство, а были и будут преимущества и привилегии. Но именно по всему этому умный русский будет за запрет вывоза капитала, т.е. *не* за свободу. Империя для русского есть основа его существования и поэтому русский будет за империю.

Вышеприведенных слов в книге нет, но именно с этой внятной русской позиции написана книга крупнейшего экономиста и эколога, эксперта ООН по окружающей среде, академика РАЕН, доктора экономических наук М.Я. Лемешева «К воскрешению России» (М., 2009 г.).

Чтение ее историко-аналитических глав оставляет впечатление поневоле тяжелое. При уже серьезной припухлости всех чувств от зрелища



КРУГ ЧТЕНИЯ

«побед демократии» в стране и в мире это впечатление объясняется суровостью фактов и цифр, характеризующих процесс саморазрушения исполинской страны на очень коротком временном интервале. Ряд ее страниц, посвященных как будто «созиданию», читать даже тяжелее, чем другие. Таковы страницы об «освоении» Астраханского газоконденсатного месторождения и о других подобных проектах в Нижнем Поволжье. Экономические и экологические оценки перспектив создания нефтехимических комплексов на территории Тюменской области не менее удручающи. Оценка М.Я. Лемешевым деградации природы как следствия *целенаправленных* усилий может показаться предвзятой; но как иначе оценить множественные примеры злостного хищничества западных и отечественных дельцов по отношению к ресурсам страны — вполне конкретных и поименованных политиков, финансистов, фирм — нимало не озабоченных завтрашним днем нашей земли и ее обитателей?

Таково было время наивных надежд многих людей на развертывание «народных инициатив». Таково оно и сегодня — за вычетом этих надежд. Если всему дать равную свободу, вырастет один бурьян...

Можно многое добавить по теме, намеченной в небольшом разделе книги «Будет ли жить Москва?» — теме утраты жизнеспособности Москвы. Добавить хотя бы то, что поистине черная роль столицы проявляется в ее сегодняшнем качестве русской *духовной периферии*. Лидерство обозначено в худшем. Рыба тухнет с головы, а Россия — с Москвы: удивляться ли «школам стриптиза» где-нибудь в Омске? Миграционная политика, ночные клубы, газеты забиты объявлениями об абортах. Одной рукой растлевать и спаивать, другой — «лечить» и оперировать — ведь это налаженная индустрия.

Кому выгодно? — постоянный вопрос, возникающий на страницах книги М.Я. Лемешева. Горький ответ очевиден: выгодно внешним и внутренним хищникам, рвущим народное тело и терзающим нашу землю.

Но — наша ли она?

Поистине страшна государственная политика (или ее отсутствие) по отношению к самой нашей «почве» — в прямом и глубинно-духовном смысле слова. Этому посвящены самые страдальческие разделы книги о гибели русского села, разделы «Русский чернозем», «Русский лес — наша любовь и горе», «Сатанинская атака на деревню», «Атака на язык».

По вопросу о продаже земли — как и о смертной казни — у нас не проводят референдумов, ответ народного большинства слишком ясен — и этот ответ *не подходит* правительству: ему

важно заседать в Совете Европы, мы ему не важны. В самом деле, можно ли менять русскую землю на нарезанную бумагу? — ответ очевиден, не так ли? А между тем это делается, и земля продается. Ясно, что купят ее только те, кто *очень* много украл, т.е. люди без сердца и совести. В этом вся суть либерализма — *этим* людям нужна свобода хищничества. Вот для чего делалась революция 90-х и вот буквально все подлинное содержание ее либеральной риторики.

Об атаке на наш язык и другие ценности культуры автор пишет с глубокой болью, здесь многое ясно и без цифр. Конечно же, заражение русского литературного языка чужеродными новообразованиями и казарменным матом — существенный вклад в разложение нашей души и культуры, — вклад, несомненно, злонамеренный. Кто-то находит в этом развлечение — как, бывает, сдуру поджигают собственный дом, но те, кто поощряют, *проплачивают* это, несомненно знают, что делают. Подобное происходит не впервые, но всегда в периоды ослабления *национального* в государственной политике. В период реформ Александра II уже были энтузиасты латиницы, а в 20-е годы XX века уже сбрасывали Пушкина «с парохода современности». Нас периодически проверяют «на вшивость». В XX веке это было пресечено Сталиным, именно при нем была восстановлена высокая значимость наших национальных культур, русской прежде всего.

К надругательству над культурой можно опять-таки прибавить фактическое воспитание в народе средствами СМИ моральной глухоты по отношению к убийствам, проституции, наркомании, игривого отношения к педерастии, вообще всяческой патологии — воспитание терпимости, «толерантности» к явлениям, не просто чуждым, но враждебным русской нравственной традиции: нам предлагается «судебное» разрешение «конфликтов», которые не имеют юридической трактовки, поскольку не существовали в народном опыте, — идет океанский накат Зла на легковверную, внушаемую русскую душу. И душа эта должна *выстоять* — в этом главный пафос книги М.Я. Лемешева. Она должна посуроветь, должна быть опытнее, осмотрительнее, собраннее, учиться на примерах из прошлого.

«Красочны» и перспективы продовольственной безопасности страны: по данным, приводимым автором, объем импорта продовольствия составил в денежном выражении в 2008 году 36 млрд. долларов, а инвестиции в сельское хозяйство страны составили 0,5 млрд. — в 72 раза меньше. (Не нужно бомбы, достаточно прекратить поставки?) Ушли или отходят на заработки из деревни русские мужики — водят фуры с бананами, киви и отравленными польскими яблоками, сидят себе «секьюрити» в

банках или стоят теми же остолопами-секьюрити в сетевых магазинах: едва ли вернутся, не заманишь. Поля не паханы, не сеяны, а коровы остались только на дорожных знаках.

Что же, одно только черное? — скажет читатель. Конечно, мы, а не автор книги, ответственны за тональность этого очерка; компетентный читатель, надо полагать, оценит экономическую картину более корректно. Наше же впечатление таково: уже 20 лет в стране нет *национальной* экономики. Государство отреклось от нас. При самоустраненности «светского» государства идет, по сути, *отбор* антиправославного, протестантского (даже худшего из них — кальвинистского) толка (процветание как избранничество), увлекающий за собой сомневающихся, раздраженных, не видящих проку в честности, развращая молодость, стирая грань между Добром и Злом, а между делом уничтожая вообще планетарную жизнь и сами ее основания.

Кажется, где тут найти опору для веры в Россию и в будущее ее народа? Ведь сам народ уже далеко не тот, который сломал хребет соединенной «цивилизованной» Европе под штандартами фюрера. Но даже и такой — ослабленный, сбитый с толку наш народ еще страшен им — еще нужно ослаблять его, одурачивать, подрывать основы. Сегодняшний итог — на стр. 192 книги: потери за годы реформ к 2009 году коренного государствообразующего русского народа — 20 миллионов человек. Нет сомнения в целях врагов страны, — *развязывание внутренней войны*. (И она усиленно стимулируется антирусским телевидением: «убей русский русского» — подтекст его сериалов. А заодно пропаганда пьянства: пьют в каждой серии непременно.)

Суммирующая мысль этой части книги может быть сформулирована так: разрушаются не те или иные участки (формы, традиции) народной жизни, а целенаправленно разрушается русская *цивилизация* с тем, чтобы заместить ее *целиком* (как в 1917-м), и все это производится не только *на виду* у русского народа, но во многом его собственными руками (тоже как в 1917-м). В эту генеральную схему укладывается и сегодняшнее телевидение, разрушающее мораль (по существу являющееся *школой* преступности, на фоне оголтелой пропаганды «красивой жизни» при вопиющей невозможности ничего близкого к ней для 99 % людей), и разложение институтов образования, армии, юстиции, разорение деревни, и вовлечение Китая на территорию Сибири (истинно, не ведаем, что творим), и надругательство над искусством, и судебное покровительство педофилии, и т.д., и т.д. Естественно, никакого «экономического подъема» страны при настоящем положении дел не может быть, ибо народ — единственная опора такого подъема — не только

не вовлечен в прогнозирование собственной жизни, но вообще не воспринимает чуждого ему властного текста «реформ», не намерен ориентироваться в нем и не верит в завтрашний день. Это устраивает врагов России, так как это, хотя не разрушает ее разом, но эффективно тормозит ее подъем, задерживая ее на роли нефтегазового придатка и обнадеживая мир ее параличом.

В книге масса оригинальных и аргументированных авторских оценок — вскрытие «механизма Хаммера», вскрытие преступности нового Лесного кодекса РФ, подлинная значимость природной ренты; обоснование нелепости прямых выборов, определение кризиса в России как системного, не имеющего отношения к мировому финансовому и др. С авторским мнением, что Россия должна быть унитарным государством, а не ленинской «федерацией», трудно не согласиться. Сегодня только в Москве фактически три совета министров (считая аппарат президента с его департаментами и правительство Москвы), а сколько их в субъектах Федерации? Число министров по стране не поддается подсчету, в любом городке администрация набита управленцами — но каждый из нас знает, чем они заняты, и почему самого простого вопроса решить нельзя. Правды ради, нужно сказать, что похожее было и в унитарной империи: «Если бы чиновники в России не брали взятку, жизнь в России была бы невозможна» (А.И. Герцен). Но нынешний центр вообще самоустранился от государственного планирования, не имеет реальной власти и почти бессилён. Декларации президентов страны не остановили развала хозяйства. Анализ *структуры* бизнеса не публикуется, неясно, какую долю составляют в нем услуги, торговля, короткие деньги — посреднические, рекламные, и т.п. кровососы, «тату-пирсинги», жульнические лотереи и т.д. Государственной концепции нет, народ живет сегодняшним днем.

Последние главы книги «С чего начать?» и «О русском государстве» содержат наиболее важное: авторский взгляд на необходимые перемены в государственном устройстве. Эти главы могут вызвать ощущение какой-то исторической обреченности: сначала, по простоте (той, что хуже воровства), допустить (дважды за век) к власти убийц, потом — тихий ужас свершившегося, смирение, терпение и опять — поднятие (иносказательной) целины — любимое занятие русского народа?

Но люди устали, люди хотят *жить*, лживый коммунизм уже надорвал их своими трудовыми подвигами и нищетой, и нынешняя власть умна: живи. Хочешь — пей, алкогольного суррогата — полные магазины; хочешь — иди в бизнес, сиречь — воруй или ввози чужое (ибо производства нет), хочешь — протестуй или ройся в помойке. Европейское безбожие умело

действует через комфорт, *удобства*, через искусства «свободы»: живи в *материальном*. Управление опять элементарное, опять по-русски повезло с алгоритмом: раньше — *ничего нельзя*, сегодня — *все можно*, опять не нужно думать!

Но рухнувшее государство, так или иначе, придется восстанавливать заново. Мы слышим от высшей власти обтекаемые сентенции о «консерватизме» и «свободе слова» — вещах, совместимых, по-видимому, в геометрии Лобачевского. Так на каком же основании *воскрешать* Россию? О революционных переменах в книге речи нет, и речи этой не может быть. Опора перемен — Православие. Иной «национальной идеи» нет и не нужно ее выдумывать, автор совершенно прав. Путь тяжелый и долгий. Не нужно радикализма, нужно вернуться на пути *своей цивилизации*.

Но это не пассивное смирение, и в этом проблема. Естественен вопрос — уже не автору, а всем нам: говорят, «русские долго запрягают» — но все-таки не так долго, чтобы лошадь издохла?..

Если одни могут воспользоваться свободой себе на пользу, а другие — себе во вред, то провозглашенная «равная свобода для всех» есть уже свобода не для всех, а есть на самом деле даже нечто обратное. И если внутри *империи* определена свобода *именно и только в том, в чем она пойдет «сеятелю и хранителю» на пользу*, — то это и будет идеал, который объединит нацию. С этим прямо связан и запрет на продажу земли и аннулирование всех заключенных договоров такой продажи. С этим связана и необходимость госмонополии внешней торговли, и унитарное устройство государства, и восстановление нравственной *цензуры* и т.д. — все это в полном согласии с программными положениями М.Я. Лемешева. Ясно, что это потребует тягостного выравнивания временных уступок, сделанных Европе, и значительного времени. Но все иное будет продолжением двадцатилетнего топтания на месте с постепенной утратой Россией ее суверенитета в силу необратимого ослабления ее народа. Потому что русских нельзя заменить ни киргизами, ни таджиками, ни — паче того — либералами.

Прочсть книгу М.Я. Лемешева стоит уже для того, чтобы понять, как легко удушают народ, отрекшийся от себя, его же собственными руками.

Книгу можно приобрести в редакции журнала «Москва» (Арбат, 20).

Михаил ЖУТИКОВ

МОЙ ДЕД — КАЗАК

В новую книгу публициста и литературоведа, доктора филологических наук, многолетнего автора «Молодой гвардии» Владимира Александровича Юдина «Родина — всему начало» вошли статьи, очерки, эссе, написанные за последние годы. В.А. Юдин удостоен литературных премий им. В.С. Пикуля и М.А. Шолохова. Публикуем отрывок из книги.

Моя малая родина — звонко воспетая в стихах и песнях солнечная Кубань. А еще точнее — вольно раскинувшийся в широкой, гладкой, как бильярдный стол, луговой долине между двух быстрых горных речек Лабой и Ходзем поселок Мостовской, основанный больше ста лет назад казаками и пришлыми мужиками.

Окрест расположились многолюдные казачьи станицы: Засовская, Губская, Переправная, Отрадная, Преградная, Бесскорбная, в топонимике которых запечатлена непростая, драматическая история освоения кавказского предгорья нашими соотечественниками.

Как известно, некогда принадлежавшая турецкому султану и его угодливым сателлитам — горским князькам, в XVIII веке кубанская земля с любовью, великими трудами и героическими ратными делами была освоена, возделана и присоединена к Российской империи запорожскими казаками по высочайшему повелению матушки — императрицы Екатерины Великой, о чем живо напоминает возрожденный роскошный памятник, воздвигнутый в честь Ее Ве-



КРУГ ЧТЕНИЯ

личества в центре г.Краснодара до октябрьской революции 1917 года столицы кубанского казачества — Екатеринодара.

В ясную погоду с родины моего детства четко виден белоснежный Кавказский хребет, вонзивший в синее небо острую верхушку гордый Эльбрус, опозитизированный «золотыми перьями» Пушкина, Лермонтова, Толстого. Вся пестрая, многокрасочная природа предгорья Северного Кавказа дышит неумной, буйной жизнью, наложившей отпечаток на характер взрывных, темпераментных аборигенов — многочисленных кавказских народов и русских казаков, столь же горячих, удалых и стремительных, словно текущие в глубоких ущельях горные реки. Воздух здесь, как гениально воскликнул поэт, «чист и свеж, как поцелуй ребенка».

Любуюсь оживленными, густонаселенными городами, хуторами и станицами Кубани и не верю, что прошло всего-то каких-нибудь чуть больше двух столетий, как украинские казаки вместе с русским воинством пришли с берегов Днепра и на пустынных просторах основали по реке Кубань непреодолимый форпост южных рубежей России.

Не случайно до сих пор общеупотребительным разговорным языком у кубанцев служит «суржик» — удивительная смесь центрально-русского и украинского говоров, с характерным певуче-южным «аканьем», мягким фрекативным «г», а фамилии, как и украинские, преимущественно оканчиваются на о: Наливайко, Петренко, Фоменко, Сидоренко, Романенко...

Признаться, и сегодня, спустя тридцать лет после переезда с Кубани в Тверь, я так и не избавился от некоторых, генетически укоренившихся во мне «неграмотных» речевых нюансов южно-русской речи, о чем, впрочем, нисколько не жалею: южный говор, мне кажется, ласкает слух своими певучими интонациями, притягательно мягок, более приветлив, что ли, чем строго нормативный язык центральной России, в большей мере сохранил музыкально-слоговой принцип славянской речи

Припоминаю не лишенный комизма, но в сущности серьезный житейский случай. Беседуя после долгой разлуки со своим сверстником, школьным товарищем Васей Радушинским, я как-то нечаянно для себя употребил слово «город» со взрывным звуком «г» — так, как испокон веку говорят в Твери и центральной России. Каким же горяче-протестующим было возмущение моего друга!

— Если ты еще хоть раз «загогочешь», — Вася намеренно надавил на московско-взрывное «г», — знай, ты мне больше не друг!.. И внушительно пригрозил большим, как пивная кружка, кулаком.

Другой мой товарищ-земляк Витя с многоговорящей фамилией Гетьманов тоже очень не любит, когда вдруг уловит своим чутким музыкальным слухом (в ранней юности мы вместе играли в поселковом духовом оркестре) мои режущие ухо кубанцу тверские интонации.

— Друзе, — строго говорит в таких случаях Виктор. — Кончай свою тверскую мелодию! Где ты сейчас сидишь? Правильно, под родным кубанским небом. Вот и гутарь так, как гутарили казаки — наши деды и прадеды...

И я старательно «гутарю», хотя делать это с каждым годом становится труднее. Пребывая на родной кубанской стороне, тщательно слежу за собой, дабы, упаси Господь, не «гэкнуть» по-московски или по-тверски: строгое предупреждение друзей-земляков более чем серьезно, казаки зря шутить не любят...

Как потомственного казака, меня, естественно, с раннего детства глубоко интересовали этнические корни моих пращуров, полная драматизма и неразгаданных загадок история казачества, обжившего дикие степи Дона и Кубани по велению императрицы Екатерины Великой.

В детстве, хорошо помню, мне много и захватывающе повествовал о предках-казаках и своих боевых походах мой покойный ныне дед — Аким Иванович Юдин, получивший из рук самого Брусилова Георгиевский крест за пленение в Первую мировую войну австрийского офицера. Но о кровавой гражданской бойне и революции Аким Иванович говорил скупно, сдержанно и сильно волнуясь.

Повзрослев, я узнал причину: от первого брака у деда были два сына: один погиб, будучи командиром красной сотни, при ликвидации остатков белогвардейских «банд» (за него дед получал небольшую пенсию до тех пор, пока в станицу не пришли гитлеровцы, уничтожив все документы и архивы. После войны Аким Иванович претендовать на восстановление пенсии за погибшего сына не стал, считая это делом не христианским...), а второй сын служил у белых, имел казачье звание есаул.

— Митро сгинул в неизвестности. Поплыл, наверно, с казаками Врангеля в Турцию, может быть, аж в Америку. Кто теперича знает?.. — скорбно говаривал дед, смахивая слезу...

Будучи студентом-филологом института, вчитываясь в бессмертные строки шолоховского «Тихого Дона», в образе Григория Мелехова я представлял себе младшего сына моего деда — лихого чубатого белогвардейца Дмитрия, смуглого, усатого, крупоплечего, навеки пропавшего на далекой чужбине. Впрочем, почему бесследно пропавшего? Может быть, эмигрировав, стал он русским американцем, таковых были тысячи и тысячи после революции в России, благополучно прожил остаток жизни, сколько ему отпустил Господь, оставил потомков... Как знать, может, и у меня имеются родственники в сытой, богатой Америке. Да поди теперь, разыщи их...

Заявки на приобретение книги В.Юдина «Родина — всему начало» направлять по адресу: 170005, Тверь, а/я 529.

ДНЕВНИК РУССКОГО

1989 г.

13 декабря

Главной темой сегодняшней встречи было обсуждение доклада Председателя Совмина СССР Н.И. Рыжкова на Втором Съезде народных депутатов СССР, открывшемся вчера в Кремле. Леонов не скрывал своего критического отношения к действиям правительства, которое за пять лет, прошедших с начала перестройки, не только не стабилизировало положения в экономике, но и усугубило его. Главный дефицит, который испытывает сегодня страна, — на государственных деятелей. Где новые Столыпины, Менделеевы, Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы? Леонов, задавая этот вопрос, сам же на него и отвечал: политика партии привела к тому, что был истреблен генофонд нации. Нация и ее сословия, выполняющие основные функции живого организма, устроены так же, как человеческий индивидуум, у которого голова находится не на животе и не на коленке. Леонид Максимович повторил слова министра финансов Франции Жана Батиста Кольбера (1619—1683) о том, что солдата и пахаря надо кормить не конфетами и сладостями. Для них надобны щи в наваре и каша «в норме прочной». А у нас нарушен национальный рацион во всем, начиная от пищи и кончая нравственными потребностями — и во всем этом сказывается гнетущее давление партийной догмы. Сугубый догматизм решительно пресекает и продвижение нестандартно мыслящей личности. В ре-

Продолжение.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ



зультате сложившейся «селекции» у кормила государственной власти оказались в абсолютном большинстве своим посредственностью. К ним Леонов относит и нынешнего Председателя правительства Н.И. Рыжкова. Выступая сегодня со своей программой выхода страны из экономического кризиса, Рыжков не считал нужным обратить самое пристальное, первостепенное внимание на нравственное возрождение каждого гражданина и всего общества в целом, которое может возродиться только лишь через возрождение общенародных, и в частности, — наших национальных, святынь. Низкий духовный потенциал правительства, его бескультурие впрямую сказываются на политике, которую оно проводит. И действительно, что можно ожидать от руководства страны, большая часть которого во главе с президентом Горбачевым и премьером Рыжковым так и не удосужилось побывать ни в Троице-Сергиевой Лавре, ни на Соловках, ни в Кириллове, ни в Нило-Сорской пустыни.

Традиция эта идет с ленинских времен, ибо никто из последующих за Лениным руководителей государства — Сталин, Маленков, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко — так и не сподобился почитать наши национальные святыни. Казалось бы, какая связь между этим культурным актом и политикой, экономикой? Марксистско-ленинская догма напрочь отменяет возможную связь и взаимозависимость этих двух явлений, и в этом Леонов целиком и полностью расходится с догмой и видит неминуемое ее крушение. От внимания Леонова не ушло то, что Рыжков в своем докладе не уделил должного внимания науке. Он оперировал устаревшими формулировками, совершенно пренебрегая «открытиями», которые буквально витают в воздухе. Взять хотя бы многополюсность и разработки, которые ведутся в разных странах с использованием подобных перспективных идей. Наука, к которой апеллирует Рыжков, давно устарела и не сулит нам прорывов в будущее. Надо сказать, что гуманитарий Леонов в своих суждениях по этому поводу был намного осведомленней и нетрадиционней в суждениях, нежели инженер Рыжков.

Леонов сказал, что расклад политических сил в стране вызывает у него опасения, ибо рвущиеся к власти «левые» мало заботятся об интересах страны и народа. Для них главное — корыстные, шкурные интересы.

В заключение вечера Леонов поделился своими впечатлениями от беседы с писателями В. Распутиным и В. Крупиным, которые побывали у него в гостях сразу же после прошедшего в прошлом месяце Пленума СП РСФСР. Леонов считает, что писатели — Распутин, Крупин, Белов, Солоухин и их ближайšie единомышленники — взяли сейчас на свои плечи основной груз ответственности за нравственное, духовное возрождение народа. Я сказал Леониду Максимовичу: хотя он и не участвует сейчас в тех рукопашных баталиях, которые ведутся в СП, все писатели-патриоты знают, что он всегда с ними, в их рядах. Леонов отрицать этого не стал, ибо так оно и есть.

18 декабря

Шестьдесят три года тому назад, в декабре 1923 года, Л. М. Леонов вместе с агрономом Г.Я. Артюховым в течение трех-четырех дней гостил у картофелеводов Бутылицкого опытного поля, что в нескольких километрах от железнодорожной станции Бутылицы (32 километра от Мурома). Леонов в то время работал над романом «Барсуки». Бутылицы им были выбраны потому, что в окрестных деревнях и селах летом 1918 года произошло известное во Владимирской губернии крестьянское восстание, подавленное войсками. При поездке в Бутылицы зимой 1923 года, а затем и весной 1924 года Леонов не ставил перед собой цели сделать «кальку» с событий крестьянского бунта. Размышления и впечатления от этих двух поездок органично вошли в роман.

Восстание началось из-за поборов с крестьян. Под видом пресечения спекуляции у мужиков на рынках стали отбирать выращенный ими хлеб, гречневую крупу и пр. Мужики, вернувшись в села, стали проявлять недовольство властью. Пронесся слух, что воинские подразделения едут отбирать хлеб на корню. Поднялось крестьянское восстание. Было убито 10 — 12 красноармейцев и советских работников, двоих сожгли заживо. Восстание было быстро подавлено, хотя отголоски его долго еще потом «аукались». Центром восстания было село Меленковское, что рядом с железнодорожной станцией Бутылицы. Село было большое, богатое, насчитывало несколько сот домов. Церковь Николая Чудотворца в селе Бутылицы имела обширный приход — деревни Максимова, Вичкино, Кузьмино, Новониколаевское, Кошкино, Багоновка, жители которых также были среди восставших.

Хотя Леонов только проездом бывал в Муроме, я счел необходимым ознакомиться с достопримечательностями города, его музеями и выставками. В просторной церкви Космы и Дамиана (1804) на выставке местных фотографов (начиная с конца XIX века) я обнаружил две фотографии, на которых запечатлены похороны красноармейцев, убитых во время Бутылицкого восстания. На одной из фотографий на кресте, который несли впереди гроба, можно было отчетливо прочитать имя красноармейца — Янош, написанное латинскими буквами. Словом, как и водилось, умирляли русских крестьян всем Интернационалом — были среди умирителей и латыши, и венгры, и евреи. А вся суть в том, что у мужика отнимали, а он не хотел отдавать. В главе восьмой второй части «Барсуков» Леонов написал: «Воры разверстку так и не выплатили, по молчаливому соглашению между собою, ни в один из последующих дней. Нашлись некоторые, принесли в исполком по доброй воле по пуду за едока, — так в сигнибедовском амбаре и стояли только двадцать мешков, потому что уплатили только советские мужики да еще те, кто надеялся откупиться пудом. Ссылались мужики на неурожайность,

на мокроту, на сухость, на все тридцать три мужиковских бедствия, до которых уездному начальству как бы и невдомек. Этого исполкомщики и ждали, к этому и готовились. С утра вышел продовольственный отряд в обход по селу...». Чем закончился этот обход для обеих сторон, и свидетельствуют старые фотографии, которые я видел на выставке в Муроме. Похороны красноармейцев, судя по фотографиям, проходили организованно, при большом стечении народа. Запечатленные на фотографиях священники муромского кафедрального собора Рождества Богородицы, надо полагать, отслужили обрядом положенную панихиду. А вот как хоронить мужиков, погибших от рук поборщиков, сказать нельзя. Мне порекомендовали обратиться в архив КГБ, но времени было в обрез, и я не смог довести до конца свой поиск. Однако же на этой выставке увидел я другие фотографии муромского кафедрального собора. Когда власть укрепилась и отпала необходимость прикрываться освящением Церковью деяний новой власти, древний муромский собор, построенный в XVI веке по повелению Ивана Грозного, взорвали. Снесли и весь некрополь, находившийся у его стен. Древнюю соборную площадь засадили деревьями, на могилах сделали клумбы, дорожки посыпали песком и... присвоили новоделу звучное имя: «Парк культуры и отдыха имени В. И. Ленина». Самая большая святыня Мурома — мощи святых Петра и Февронии — с тех пор в течение нескольких десятилетий находились в подвале краеведческого музея как экспонат для ведения антирелигиозной пропаганды. Лишь нынешним летом мощи Петра и Февронии передали в действующий храм бывшего Благовещенского мужского монастыря, и, таким образом, после долгих и тяжких испытаний все вернулось на круги своя. Можно лишь добавить, что если бы сейчас Л. М. Леонов снова побывал в Муроме, он не узнал бы этого древнего и некогда богатого города. А что касается продовольственного снабжения жителей, то по сравнению с 1923 — 1924 годами без преувеличения можно сказать, что город близок к голоду. Продовольственные талоны не спасут дело, ибо продотряды, даже самые строгие, если они сейчас будут посланы в деревню, поживиться там смогут не многим. За семьдесят с лишним лет мужики-хозяева вывелись окончательно. Гениальным пророчеством читается в романе «Барсуки» притча «Про неистового Калафата» с его наукой «еометрией». Как показало время, Калафатова «еометрия» обернулась той самой догмой века, которая и поныне не сходит у нас с языка:

« — А вот есть наука еометрия, тебе по ней нужно жить. На каждую рыбину поставили номер, тоже и на звезду, тоже и на каждую травину, холостую и цветущую».

Продолжение следует